

P₅ $\frac{10}{3352}$

Alou

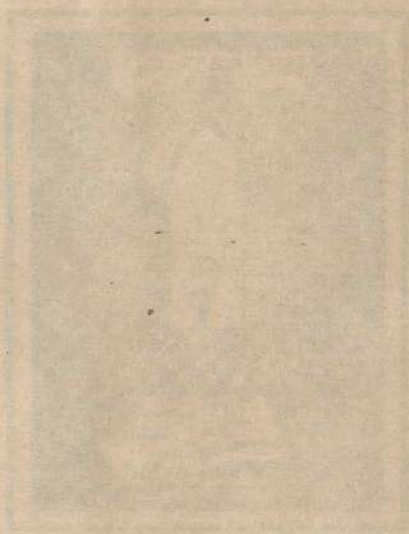
Рос ¹⁰/₃₃₅₂



+

✓

①







12 10 8352

45

Э Д У А Р Д БАГРИЦКИЙ

альманах

под редакцией
ВЛАД. НАРБУТА

ф 1-21
8468



50769

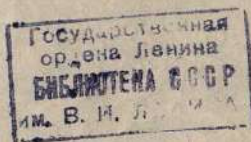
С



1936

Супер - обложка,
переплет и титул

Б. ТИТОВА



76334-48



Рy5-462.



2010480089

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ЭДУАРДА БАГРИЦКОГО

1

Валентин Катаев запомнил четверостишие Багрицкого, написанное в 1912 или 1913 году:

Нам с башен рыдали церковные звоны,
Для нас поднимали узорчатый флаг,
Но мы заряжали, смеясь, мушкетоны
И воздух чертили ударами шпаг.

Первое двустишие точно воспроизводит ритм, движение и декорацию «Города женщин» Брюсова, второе — столь же точно «Капитанов» Гумилева, тогда еще только начинавшего завоевывать сердца молодых поэтов. Но оба двустишия вместе — не Брюсов и не Гумилев. В них есть уже предчувствие позднейшей бунтарской тематики Багрицкого: матросы, смеясь заряжающие мушкетоны и шпагами чертящие воздух, невзирая на умоляющий звон церквей и на заискивающие флаги — разве это не предчувствие матросов восемнадцатого года, как оно могло бы преломиться в представлении воспитанного на символистах и акмеистах анархизирующего романтика? Но между этим ранним предчувствием будущего поэта революционной романтики и его осуществлением лежит полоса его стихов, напечатанных в Одессе в годы империалистической войны (в сборниках

«Серебряные трубы», «Авто в облаках» и др.), в которых это предчувствие разглядеть не легко.

Писатели-одесситы, вступавшие в жизнь и в литературу около 1917 года и потом с таким блеском вошедшие в советскую литературу, составляли социально очень однородную группу, — они были типичной богемой из городского плебейства. Но до революции молодые одесские богемцы были совершенно во власти расцветшего в те годы искусства молодой, но уже упадочной российской буржуазии. Одесса — самый крупный из ее провинциальных центров — имела своего буржуазного поэта со всероссийской, хотя и несколько специфической репутацией, — Изу Кремер, которая в числе своего потомства могла бы считать не только Вертинского, но и гораздо более признанных мэтров «высокой» литературы. Но Багрицкий и его товарищи учились не у Изы Кремер, а непосредственно у ведущих мастеров буржуазной поэзии.

Дореволюционные стихи Багрицкого целиком заключены в пределах буржуазного декадентства. Его тогдашние позиции особенно ярко иллюстрирует написанный в 1915 году «Гимн Маяковскому». «Гимн» кончается так:

Я, изнеженный на пуховиках столетий,
Протягиваю тебе свою выхоленную руку,
И ты пожимаешь ее уверенной ладонью
Так, что на белой коже остаются синие следы.
Я, ненавидящий Современность,
Ищущий забвения в математике и истории,
Ясно вижу своими все же вдохновенными глазами,
Что скоро, скоро мы сгинем, как дым.
И, почтительно сторонясь, я говорю:
«Привет тебе, Маяковский!»

Какой огромный обман был в этой власти буржуазного эстетизма над сыном бедных еврейских мещан, не имевших ни малейшего местечка на буржуазном пиру! Откуда взялось это представление о себе, как «изнеженном на пуховиках столетий», с «выхоленными руками» и «белой кожей»?

Впоследствии своей гениальной «Последней ночью» Багрицкий бросил яркий свет на весь тот мир эстетической нереальности, в котором он тогда жил. Но самая мысль воспеть Маяковского свидетельствовала о каком-то сознании противоречия между своим социальным бытием и литера-

турной позицией. Ибо Маяковский, вышедший из того же плебейства, что и Багрицкий, далеко опередил его в стихийном предчувствии революции, в смутном, но остром сознании своей связанности с нею. Явление Маяковского заставило Багрицкого ощутить, что буржуазный мир со всем его эстетизмом сгинет, «как дымы». Но отождествляя себя с этим миром, он говорит о нем в первом лице — «мы сгинем».

2

Революция разрушила нереальный, эстетский мир Багрицкого и повернула его творчество в совершенно другую сторону. Но если путь, по которому теперь пошел Багрицкий, был противоположен прежнему, оба пути уводили его от одного и того же страшного и ненавистного места. Этот отрицательный момент и определяет единство дореволюционного и послереволюционного Багрицкого. Главный враг у того и другого был один и тот же: то темное, душное и калечащее мещанство, которое было его первой жизненной средой, тот страшный в своей скудости и искаженности быт, о котором он с такой силой писал в «Происхождении», который заставил его перед смертью сказать: «Я вспоминаю свое детство и не могу вспомнить ни одного хорошего дня» (Ю. Олеша. «Об Эдуарде Багрицком»).

Из этого страшного мира он сперва бежал в воображаемый мир созданной буржуазией красоты, мир «белых рук» и «пуховиков столетий», к которому он силой своего воображения старался приобщиться. Революция смела этот мир и заставила Багрицкого увидеть его нереальность, бесплодность и чуждость. От этого первого убежища он сохранил только одно драгоценное сокровище — огромное, несравненное знание всей русской поэзии от Ломоносова до акмеистов. В новых условиях сокровище это изменило свое назначение. Оно перестало быть фантастической сферой, куда можно было спастись от мещанской дикости, стало арсеналом высокой художественной культуры для создания нового искусства, которое сделала возможным революция.

Багрицкий эпохи военного коммунизма и восстановительного периода, Багрицкий «Юго-Запада» — поэт «револю-

ционной романтики», поэт плебейской личности, выведенной пролетарской революцией из затхлого мещанского подполья и не менее затхлых картонных домиков декадентской эстетики на большие мировые дороги. Октябрь, «мимоходом» разрешивший все неразрешенные задачи буржуазной революции и разрешивший их с пролетарской последовательностью, был для очень широких слоев непролетарского плебейства освобождением одновременно от тяготеющего кошмара всяких «темных царств» и от чувства неполноценности по отношению к ликвидированным революцией прежним господам жизни. Для Багрицкого Октябрь был моментом рождения в нем новой, богатой, жаждущей «всей полноты жизни» личности. Октябрь родил в нем чувство права на жизнь, чувство обладания миром. И эта радость обретенной жизни наполняет собой «Юго-Запад». Совершенно не правы те критики, которые в таких стихах, как «Птицелов» и «Трясина», видели какой-то уход от революционной тематики, какую-то беспартийность и индивидуализм. Самую возможность этих «индивидуалистических» тем Багрицкому дала революция.

Багрицкий идет к природе, в леса и в «трясины» не для того, чтобы уйти от революционной борьбы, а чтобы сильней почувствовать и воспеть ту новую свободу, то новое чувство полноценности о б л а д а н и я жизнью, которое ему дала пролетарская революция. Багрицкий — самый лирический выразитель того огромного прилива творческих сил, который вызвала в широких демократических слоях разрушенной тюрьмы народов победа пролетариата.

«Юго-Запад» до сих пор остается наиболее известной книгой Багрицкого, по крайней мере для критиков. В этой книге есть два-три стихотворения, дающие исключительно выигрышный материал для характеристики Багрицкого, как «поэта промежуточной прослойки». И обыграны эти стихотворения нашей критикой, можно сказать, до дыр. Но Багрицкий не остановился на «Юго-Западе». Багрицкий «Победителей» и «Последней ночи» — поэт, далеко ушедший от социальных и творческих установок «Юго-Запада» и гораздо более крупный. Говорить о Багрицком только как об авторе «Юго-Запада» — значит игнорировать лучшее, что было создано советской поэзией после смерти Ма-

яковского. К сожалению, эту ошибку совершали не только такие своеобразные критики, как Рожков, но и Н. И. Бухарин, ухитрившийся в своем докладе о поэзии на Первом съезде советских писателей замолчать в с е написанное Багрицким в последние шесть лет его жизни!

За эти последние годы Багрицкий безмерно вырос и политически, и творчески. Политически переломным моментом и для него был «год великого перелома» — ликвидация кулачества и коллективизация. Поэт городского бездомного плебейства, Багрицкий ненавидел мелкого эксплуататора-кулака с меньшей силой, чем крупного. Крупная буржуазия, по крайней мере до революции, могла еще импонировать ему своей культурностью. Мелкий собственник был для него чистым воплощением ненавистной стихии собственности.

Политические колебания Багрицкого достигли своего предела в разгар нэпа. При естественном отсутствии пролетарской выдержки и пролетарской уверенности в партийном руководстве, Багрицкий воспринимал нэп как сугубо уродливое возрождение самого голого и самого чумазого капитализма. Переход к реконструктивному периоду и решительный удар по последнему эксплуататорскому классу — окончательно сблизил его с пролетариатом и партией. Его поэзия перестает быть промежуточным явлением. Вступлением в РАПП (одновременно с Маяковским) он организационно закрепляет свою перестройку. Специфически рапповским поэтом Багрицкий, конечно, никогда не сделался. Вместе с Шагиняном, Малышкиным, Луговским, Тихоновым, он принадлежал к новому типу беспартийного писателя, преданного партии и безоговорочно борющегося за социализм. Из поэтов этого типа, после смерти Маяковского, Багрицкий был, несомненно, самым крупным. Стихи его последних лет, составившие сборники «Победители» и «Последняя ночь», — не только огромный шаг вперед по сравнению с «Юго-Западом», но и новый этап в общем развитии советской поэзии.

Особенностью развития Багрицкого в эти годы была равномерность роста его политического сознания и роста его творческой силы. Параллельно все более полному переходу на позиции борьбы за социализм и все более правильному

пониманию ее задач Багрицкий все более овладевал своим искусством.

И слово, с которым мы
Боролись всю жизнь, оно теперь
Подвластно нашей руке —

так писал он в «Последней ночи» о своей новой власти над словом.

3

Багрицкий всегда причислял себя к акмеистической линии русской поэзии, противопоставляя ее футуристической.

Акмеизм был буржуазным течением, но в нем было здоровое ядро, продолжавшее одну сторону творчества Брюсова и отражавшее сознание наименее упадочной части буржуазии. Реакция против символизма, подход к предметам, как к реальным предметам, а не как к символам абстрактных идей, стремление видеть мир как бы «только что созданным», установка на сюжетность и на поэзию действия, а не «переживания», — во всем этом было так много здорового, что поэты русской буржуазии, начавшей загнивать прежде, чем она успела созреть, могли только выдвинуть, но не осуществить такую программу.

У акмеистов был резкий разрыв между теорией и практикой. Абстрактные, расплывчатые туманно-религиозные образы наводняют стихи Гумилева и Ахматовой. Мандельштам вместо конкретных предметов давал одни словесные сцепления ассоциаций. При всей своей узости (она исключала социальную тематику) программа акмеизма оказалась не по плечу упадочной российской буржуазии. Лучшие ее стороны оказались жизнеспособны только в руках поэтов-интеллигентов, нашедших новый источник сил в пролетарской революции.

Из старших акмеистов ближе других к осуществлению акмеистической программы подошли Нарбут и Зенкевич. И не случайно, что изо всего «Цеха поэтов» только эти двое оказались советскими поэтами. Нарбут имел большое влияние на Багрицкого. Нарбут помог ему стилистически оформить переворот, произведенный в нем революцией. Переход от эстетской ирреальности его ранних стихов к плебейскому

натурализму такой вещи, как «Трактир», был облегчен для Багрицкого примером Нарбута. Багрицкий впоследствии всегда признавал Нарбута одним из своих учителей.

Другим своим учителем, — из современников, — он считал Сельвинского.

Конструктивизм был тоже оживлением акмеистического наследства на советской почве. Социально конструктивисты и Багрицкий представляли разные прослойки. Багрицкий выражал гораздо более демократические, более низовые слои интеллигенции. Для него главным в пролетарской революции был ее плебейский характер. Конструктивистов привлекала к социализму прежде всего идея организации и рационализации. Поэтому связь Багрицкого с конструктивистами могла быть только преходящей. Но творческое влияние Сельвинского периода «Улялаевщины» на Багрицкого было глубоко и плодотворно.

Тем новым, что конструктивисты внесли в акмеистическую программу, был подход к поэтическому произведению как к некоему материальному единству, как к «вещи». Развертывание темы сопровождается целой системой словесных соответствий и переключек, которые укрепляют единство поэмы, как железные брусья бетонную массу. Словесное звучание поэмы приобретает значение, которого оно никогда не имело у акмеистов. Этот упор на слово сближает Сельвинского с футуристами, но в основном его стилистическая система остается акмеистической и резко противоположной системе Маяковского. Выдержанность и выразительность словесного звучания играют у Сельвинского подчиненную роль по отношению к сюжетной теме. У Маяковского основное — именно словесное, ритмическое развертывание стихотворения. Образ у Маяковского всегда метафоричен, всегда обозначает что-то другое. У Сельвинского, как и у Нарбута и у Багрицкого, в основе стихотворения всегда лежит образ, прямо отражающий объективную действительность, образ не метафорический.

Влияние Сельвинского на Багрицкого было влиянием одного мастера на другого самостоятельного и зрелого мастера. О подражании тут не может быть и речи. Влияние Сельвинского творчески перерабатывалось Багрицким, и то, что из этого получалось, не похоже на Сельвинского. Осо-

бенно плодотворно влияние это сказалось в «Думе про Опанаса». «Дума про Опанаса» конструктивистична тем, что она вся строго выдержана в определенном словесном «ключе» и в определенной системе образов. Но тогда как Сельвинский неизменно педалировал свои приемы, ни на минуту не давал забыть о разрешаемой им формальной задаче, Багрицкий убрал все леса и спрятал все концы. Формальная насыщенность соединена с простотой и прозрачностью формы. Это делает «Думу про Опанаса» по отношению к «Улялаевщине» произведением «классическим», произведением для читателя, тогда как Сельвинский был прежде всего поэт для поэтов.

Впрочем, сводить «Думу про Опанаса» к результату творческого использования Сельвинского нельзя. У Багрицкого был здесь еще один учитель — Тарас Шевченко. К Шевченко, величайшему и родному поэту СССР, Багрицкий относился с совершенно особой любовью. Именно Шевченко помог ему дать «Думе» ту простоту и прозрачность, которые делают ее подлинно народной.

И после «Думы про Опанаса» Багрицкий продолжает давать замечательные примеры поэзии, непосредственно доступной массам, поэзии народной и песенной, простой, но не упрощенной. Сюда относится изумительная по своей силе и свежести «Смерть пионерки», сделавшая Багрицкого таким исключительно любимым поэтом советской молодежи. Сюда же относятся лирические части второго (оперного) варианта «Думы про Опанаса».

Но основная линия творчества Багрицкого пошла по другому направлению.

Последние стихи Багрицкого сложны и «трудны». Следует ли это считать недостатком? Я думаю, что нет.

Ленин говорил, что художник должен быть «немножко впереди» читателя. В настоящее время происходит огромный культурный рост масс. Читатель растет не по дням, а по часам. Этот рост — не простое механическое накопление знаний. Подъем политического сознания и овла-

дение техникой сопровождаются сложным и многосторонним обогащением всего сознания, в частности огромным ростом восприимчивости к искусству.

Советский массовый читатель требует богатого и разнообразного искусства. Он все больше обращается к классикам. Он отворачивается от упрощенного искусства, от лирики, схематически напоминающей ему о чувствах, которые в нем гораздо глубже, чем в этой самой лирике.

Читатель требует богатой содержанием поэзии, обогащающей его понимание действительности, поэзии, насыщенной мыслью, находящей полноценные образы для ее передачи. Такая поэзия неизбежно будет нова и непривычна. Она будет рассчитана отчасти на завтрашнего читателя, в подготовке которого она сама сыграет значительную роль. Это отнюдь не оправдывает новаторства ради новаторства, ради желанья увидеть мир по-новому и сказать о нем все равно что, лишь бы было по-новому. Подлинная поэзия завтрашнего дня может быть создана только поэтом, знающим это завтра, видящим направление истории к социализму и своими стихами участвующим в борьбе за него. Багрицкий в последние годы своей жизни был таким поэтом.

Стихи пишутся не для того, чтобы быть прочитанными один раз. В сущности, стихи могут считаться по-настоящему «дошедшими» до читателя только тогда, когда он знает их наизусть. Только тогда начинается то интимное и органическое общение с ними, которое приводит к их полному пониманию. Сам Багрицкий знал наизусть огромное количество стихов. Почти все ценное в русской поэзии от Ломоносова до Деметьева жило в его памяти. Его последние стихи написаны в расчете на такого читателя, который новые стихи не пробегают только глазами, но впитывает в себя надолго.

«Трудность» последних стихов Багрицкого ничего общего не имеет с той трудностью многих прежних поэтов — в частности некоторых символистов, — посредством которой они намеренно ограждали себя от «непосвященной черни». Трудность их произведений определяется прежде всего чуждостью их тем и чувств интересам масс — утонченные настроения буржуазных упадочников или мистическая мудрость каких-нибудь орфиков.

Тематика последних стихов Багрицкого связана самым неразрывным образом с основными интересами нашей эпохи. Их «трудность» заключается не в трудности понять, о чем идет речь, а в трудности сразу воспринять все богатство поэтических опосредствований, из которых строится стихотворение.

Из стихов этого типа особенно замечательны — «ТБЦ», «Последняя ночь» и «Человек предместья». Каждое из них новый шаг к овладению действительностью с точки зрения строящегося социалистического сознания. В основе каждого из них лежит мысль.

Мыслителем в собственном смысле Багрицкий не был. «Мышление понятиями» было ему чуждо. Теория его не интересовала. Он даже несколько афишировал свое равнодушие к ней. Это, конечно, было в нем слабостью. Художественное мышление не ослабляется, а укрепляется мышлением научно-теоретическим. Эта слабость Багрицкого в известной мере ограничивает его значение как поэта эпохи строительства социализма. И все-таки Багрицкий был поэт мысли. Мысль его была «мышлением образами» в самом конкретном смысле слова. Задачи социалистического строительства он воспринимает в форме лирически-насыщенных образов. Политическая задача могла стать темой его поэзии только тогда, когда, эмоционально глубоко воспринятая, она воплощалась в конкретные образные единства. Но такой образ становился в его руках подлинным орудием мышления. Эта потребность в конкретном, чувственном и едином образе для овладения темой резко отличает Багрицкого от такого поэта, как Маяковский, который умел политические идеи и лозунги непосредственно превращать в лирику.

Последние стихи Багрицкого построены не по принципу раскрытия смысла одного центрального образа. Они не низываются вдоль ниточки, а строятся из некоего центра, складываясь как бы в крепкие трехмерные единства. Стихотворение, так построенное, подобно высшему организму, который нельзя делить на части. В то же время оно подобно движению диалектической мысли, которая на каждом новом шагу отражает все предшествовавшие. У наших молодых поэтов строение лирического стихотворения слишком

часто определяется пассивным, нерассуждающим потоком ассоциаций.

Метод композиции Багрицкого преемственно связан с методами конструктивизма, но поднят на высшую ступень. Сельвинский, а в значительной мере и сам Багрицкий в «Думе про Опанаса», достигал цельности и единства чисто стилистическим путем, выдерживая слова и образы в единой тональности и скрепляя их чисто словесными переключками. Поздний Багрицкий заменяет эти приемы более глубокой системой смысловых переключек, органически вытекающих из основной темы.

Возьмем «ТБЦ», одну из вершин поэзии Багрицкого.

Тема «ТБЦ» — повседневная, изнуряющая, будничная работа, нужная для торжества революции, но не приносящая легкого и непосредственного удовлетворения работнику, утомление от этой работы и победа над этим утомлением. Тема эта разворачивается на двух работниках революции — поэте, колеблющемся, готовом сложить оружие ради спокойствия и отдыха, и «умершем побеждая» Феликсе Дзержинском. Поэт болен, у него чахотка, она клонит его к усталости и пораженчеству. Дзержинский умер, побеждая болезнь, не сдаваясь ей ни на минуту. Противопоставление этих двух образов — основная конструктивная линия стихотворения.

Первая часть разворачивает картину пыльного пригородного лета:

Солнце кипит в каждом кремне.
...Трава до оскомины зелена,
Дороги до скрежета белы.
Надсаживаясь и спеша донельзя,
Лезут под солнце ростки и Цельзий.

Температура больного лезет вверх, как ростки под солнце, и параллельно им,

...цепляясь по веткам лоз,
Плесенью лезет туберкулез.

.....
А вечером в клуб (доклад и кино,
Собрание рабкоровского кружка).

Скучный, будничный долг. Поэта тянет сдаться, погрузиться в тот

...кошачий и детский мир,
Который удушьем ползет в крови,
Который до отвращения мил,
Чадом которого ноздри, рот,
Бронхи и легкие — все полно, —

который говорит, что все «правильно в мире», что не надо бороться, не надо идти делать доклад, что можно отдохнуть и уснуть.

Через всю эту часть нарастает тема «колючести» и «угловатости» мира, который питает чахотку и в котором должен бороться поэт. Вначале:

Предчувствие кашля идет ко мне,
И сызнова мир колюч и наг:
Камни — углы и дома — углы.

Кашель, биение жилки у виска окрашивают все окружающее. Эта тема нарастает, и через нее осуществляется переход к теме Дзержинского:

Тягостно коченеет рука,
Жилка колотится в висок.
.....
Жилка колотится у виска,
Судорожно дрожит у век,
Будто постукивает слегка
Остроугольный палец в дверь.
Надо открыть в конце концов!
— Войдите. — И он идет сюда:
Остроугольное лицо,
Остроугольная борода.

Это узловое место стихотворения на первый взгляд построено как будто на чисто внешней, ассоциативной связи, на галлюцинации, объективирующей остроугольное стучание жилки о висок в стук «остроугольного пальца в дверь» и в «остроугольное лицо» Дзержинского. Но эта ассоциация только подчеркивает и усиливает основное противопоставление побеждаемого болезнью поэта и не побежденно-го ею Дзержинского.

«Как бы продолжая давнишний спор», отвечая на невысказанные мысли поэта, Дзержинский начинает говорить. В этом монологе Багрицкий поднимается до высокого лирического пафоса. Совершенно неправильно поступают многие критики, толкуя монолог Дзержинского как «защиту» работы чекиста от каких-то гуманистических обвинителей. Менее всего Багрицкий думал о необходимости такой защиты. Дзержинский здесь говорит совсем о другом — о революционном долге, об обязанности выполнять заданную революцией работу, не слабая и не сдаваясь, не считаясь со своими вкусами и наклонностями. Последнее двуступенчатое монолог — эмоциональная вершина стихотворения:

Да будет почетной участь твоя —
Умри побеждая, как умер я.

Ободряющее действие Дзержинского в заключительной части стихотворения объективируется в организме поэта и во всем его окружении:

Жилка о висок
Глуше и осторожней бьет.

И ветер в лицо, как вода из ведра,
Как вестник победы, как снег, как стынь.

Острые углы исчезают —

Звезды круглы и круглы кусты.

Свежесть, текучесть, круглость заменяют «скрежет» солнечной белизны и «кипящих» кремней. Вечер. В последний раз тема колючести приходит уже совершенно преображенная, в одном эпитете:

Земля, наплывающая из мглы,
Легла как не струганная доска,
Готовая к легкой пляске пилы

(любопытно, как здесь пила не вызывает образа остроугольности, зубчатости, а только гибкости и быстроты),

К тяжелой походке молотка.

Земля не враждебная сила, а материал для перестройки
ее бодрыми руками:

И я уйду (а вокруг темно)
В клуб, где нынче доклад и кино,
Собрание рабкоровского кружка.

Замечательно, как эти две последние строчки, почти дословно повторяющие двестише, которое в первой части закрепляло и формулировало растущую усталость и пораженчество поэта, простым изменением контекста из минорных обращены в мажорные. Но, став мажорными, они сохраняют всю свою будничность и прозаичность, замыкая таким образом стихотворение, тема которого — упорство повседневной, незаметной борьбы за социализм.

Я ограничился анализом одного из последних стихотворений Багрицкого. Столь же плодотворен был бы анализ «Последней ночи» и «Человека предместья» и всего того единства, которое составляют эти две поэмы вместе с такой простой на вид, но не менее искусственно построенной «Смертью пионерки», — единства, внешне скрепленного изумительным «контрапунктом» трех эпиграфов. Эти эпиграфы, невероятно малыми средствами открывающие такие богатые перспективы на каждое из стихотворений и на их связь, заставляют вспомнить слова Толстого о том, что «искусство начинается только там, где начинается «чуть-чуть». Такой анализ — который занял бы значительно больше места, чем анализ сравнительно простого «ТБЦ», и поэтому здесь не может быть сделан — был бы самой полезной школой для всякого поэта, способного учиться.

5

Непосредственно перед своей смертью Багрицкий работал над большой поэмой «Февраль». Поэма эта, которая полностью впервые публикуется в настоящем альманахе, осталась неотделанной. Песни, которые Багрицкий предполагал вставить в нее, так и не были написаны. Про-

живи он дольше — она вышла бы из его рук в окончательном виде, может быть, очень отличном от того, в котором она печатается. Это необходимо иметь в виду: в своем нынешнем виде «Февраль» не обладает той же «каноничностью», что стихи, законченные Багрицким и напечатанные под его наблюдением.

«Февраль» намечал новый и важный этап в творчестве Багрицкого. Это было его первым опытом большого повествовательного произведения, выдержанного в основном в реалистической манере. Реалистом Багрицкий был, несомненно, уже в стихах своих последних сборников, поскольку эти стихи исходят из правильного и глубокого понимания реальной исторической сущности его поэтического материала. Но образы «Последней ночи» лиричны, и стихотворения, составляющие ее, построены из реалистически-осмысленных эмоций, а не из прямого отображения «характеров» и «положений». В основе «Февраля» лежат именно «характеры» и «положения». И в «Феврале» Багрицкий остается глубоко лиричным, но лиризм здесь не непосредственно строит поэму, а только сопровождает ее сюжетное развитие.

Тема «Февраля» — та же, что и «Последней ночи»: крушение фантастического, нереального, загипнотизированного буржуазными ценностями мира дореволюционного Багрицкого и рождение новой личности в огне революционной эпохи. Но движение темы — совершенно другое. В «Последней ночи» нереальный мир возникает во всем своем фантазмагорическом блеске, его нереальное величие дано с максимальной силой, чтобы его грязное падение было тем ощутительней и острее. В «Феврале» тот же мир уже низведен до размеров вполне обыденной одесской гимназистки из «хорошей» семьи. Символическое превращение юноши с «чистейшим и грубым лбом» в угреватого военного чиновника заменено вполне житейским превращением этой поэтической гимназистки в обыкновенную проститутку.

Если в «Последней ночи» ударение падало на крушение нереального мира, — в «Феврале» царит пафос победы над этим миром, торжества и расплаты. Разоблачение его доходит до последней беспощадности. Нигде с такой силой Багрицкий не выразил пафос плебейства революции. Освобож-

дение от дурманящего гнета буржуазных ценностей, первые движения сознавшей себя плебейской личности, расправляющей члены после тысячелетней социальной скрюченности, — вот содержание «Февраля», реалистически подытоживающее мотивы, рассеянные по «Юго-Западу» и другим ранним стихам Багрицкого.

«Февраль», как целое, построен по иному принципу, чем «ТБЦ» и «Последняя ночь». Движение поэмы повествовательное. Но внутри повествования и тут происходит то же движение раскрытия лирических образов, которое я анализировал на материале «ТБЦ». Таким подчиненным лирическим образом является, например, образ птицы, проходящий по первой части поэмы и раскрывающийся на сопоставлении «маленького иудейского мальчика», «обрезанного на седьмые сутки» и вопреки всему своему происхождению «ставшего птицеловом», с образом гимназистки, как «чудесной птицы, выпорхнувшей из книги Брэма». Как всегда у Багрицкого, это сопоставление глубоко содержательно. В нем раскрывается основное для молодого Багрицкого распутье — два пути ухода от мещанства, от «пращура», над которым «перхоть тучей взлетает», — в реальную полноту жизни, в реальные степи, к реальным птицам или в мир буржуазной красоты, воплотившейся в социально недоступной девушке — «чудесной птице». Победа над обманувшим и выдохшимся дурманом этой голубой птицы и «была выходом в мир, открытый настежь бешенству ветров», мир, открытый революцией, мир, в котором степи и птицы — неразрывная часть огромной многосторонней полноты жизни, создаваемой социализмом.

Молодые поэты много учатся у Багрицкого. Но не всякая учеба даже и у лучшего учителя идет впрок. Первое, что привлекает молодых авторов у Багрицкого, — это такие поражающие образы, как в начале «Происхождения»:

Стучал сазан в оконное стекло,
Конь щебетал...

И т. д.

Такие образы у Багрицкого исключительны. В данном случае парадоксальные образы говорят о «неправильности», искаженности того быта, в котором он родился. Багрицкий совершенно определенно подчеркивает это в предшествующих строчках:

И все навыворот.
Все, как не надо.

Чтобы быть действенным, образ не должен быть странным или необычным. Он не должен даже непременно быть «образным» в специфическом смысле слова. Иногда чисто эмоциональные, лишенные чувственности слова бывают образней и изобразительней, чем всякая «образность». В «Последней ночи» есть стихи:

Была такая голубизна,
Такая прозрачность шла,
Что повториться в мире опять
Не может такая ночь.

В этом четверостишии все слова абстрактны, и все же это одно из самых ярко-изобразительных мест у Багрицкого.

Учиться у Багрицкого образам вроде «щебечущих коней» — это как раз учиться «навыворот» и «как не надо». Учиться у Багрицкого надо прежде всего искусству строить стихотворение, искусству делать из него крепкое смысловое и образное единство. Учиться у Багрицкого — значит прежде всего понять, как сделаны «ТБЦ», «Последняя ночь», «Человек предместья», «Смерть пионерки».

Но у Багрицкого надо не только учиться. Ему надо следовать в его высоко-добросовестном отношении к своему искусству, в том глубоком отвращении, с которым он относился ко всякой халтуре, ко всякому снижению качества своей работы. Он был великий учитель честного отношения к своей работе. Вот почему именно к нему так тянуло молодых рабочих поэтов, в которых вся атмосфера советской производственной жизни воспитывает потребность добиваться высокого качества и работать над достижением максимальной квалификации.

Мне не раз приходилось противопоставлять Багрицкого

Маяковскому. И, действительно, стилистически они почти во всем противоположны. Но в одном, в самом важном отношении их надо не противопоставлять, а сближать. Оба были подлинны поэты-граждане. Большие темы современности были их естественной и органической тематикой. Маяковский раньше овладел этой тематикой, и голос его звучал громче. Развитие Багрицкого было медленней, он никогда не был поэтом-оратором, но, пережив Маяковского на несколько исторически-решающих лет, он смог отразить в своей поэзии и качественно-иной этап социалистической революции. В борьбе за большую советскую поэзию завтрашнего дня Маяковский и Багрицкий не исключают, а дополняют друг друга, самым своим несходством вочию показывая все огромное разнообразие и богатство большой социалистической поэзии уже на этом этапе, — богатство и разнообразие, которым суждено еще безмерно расти.

Но это разнообразие не беспредельно и не всеядно. Оно составляет единый фронт борьбы, борьбы, во-первых, против брака и халтуры, против некультурности и нечестности в поэзии. Но, во-вторых, что гораздо важней — это единый фронт борьбы против всех тех течений и течений, которые противодействуют росту большой социалистической поэзии и отравляют наших поэтов старыми ядами.

Этот единый фронт направлен прежде всего против наметившейся тенденции к отказу от больших тем, против уклона в мещанскую интимность, против того проникновения «Маши за самоваром» в серьезную, высококвалифицированную поэзию, которое происходит на наших глазах и происходит не только самотеком...¹ В-третьих, этот фронт направлен против попыток возродить и укрепить кулацкую поэзию, пленяющую своим пестрым треском наивных искателей «красоты» и менее наивных любителей прошлого. Наконец этот фронт заострен против всех попыток вынуть из советской поэзии советское, социалистическое содержание, не только против подмены такого содержания содержанием мещанским и кулацким, но и против выхолащивания ее от всякого содержания, — тенденции, тоже, к сожалению

¹ Писалось в конце 1934 г. (Д. М.)

нию, сильно укрепившейся за последнее время, особенно в Ленинграде.

Поэзия Маяковского и поэзия Багрицкого — два пути к той великой поэзии, которая будет достойна нашей великой эпохи и первыми явлениями которой их творчество и было. Эти два пути — не единственные. Возможны и другие, может быть, столь же мало похожие на пути как Багрицкого, так и Маяковского. Но общее всем этим путям будет, во-первых, честное, социалистическое отношение к своей работе и, во-вторых, обращенность к большим социалистическим темам. Эта обращенность не исключает, а требует яркой индивидуальности, глубокой личной страсти, лирической субъективности, которыми проникнуты «Во весь голос» и «Последняя ночь».

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ БАГРИЦКОГО КАК ПОЭТА И ЧЕЛОВЕКА

1

Прошло больше года, как нет с нами Эдуарда Багрицкого. Его поэтическая деятельность рассматривается уже в целом как наследство и достояние советской литературы. Начинается разработка этого наследства. Приводятся в порядок бумаги, пишутся воспоминания, извлекаются не-напечатанные или давно забытые стихи. Уже успели наметиться две тенденции в оценке поэтического наследия Багрицкого.

Одна выражает стремление сделать Багрицкого ведущей фигурой советской поэзии, образовать вокруг него школу, окружить учениками и так далее. Такая линия в нашей критике сказалась вслед за смертью поэта. Раздались голоса чрезвычайно высокой оценки поэзии Багрицкого, каких он не слышал при жизни.

Вторая тенденция обнаружилась в связи с мобилизацией воспоминаний о Багрицком как поэте и человеке. Большинство воспоминаний ринулось к тому отрезку его биографии, который является наиболее романтической порой жизни Эдуарда: к Одессе. Они, эти воспоминания, стали вращаться вокруг некоторых не часто встречающихся особенностей бытового уклада: его рыб, его птиц, его причуд наконец...

Наметилась склонность романтизировать облик Багрицкого, превратить его в некоего Франсуа Виллона наших дней, хотя мемуаристы забывают при этом, что сам Багрицкий сумел трезво и сурово сказать о своей юности словами «Последней ночи» и «Происхождения». Этот одесско-романтический уклон (если так можно выразиться), как и стремление выдать Эдуарда за стопроцентного пролетарского поэта искажают действительный облик Багрицкого.

Возникновение первой тенденции, то-есть переоценка роли Багрицкого, как сказано, объяснима воздействием впечатлений, связанных со смертью поэта.

Такие эмоционально критические взрывы не раз происходили в истории литературы. Бывало так, что вслед за смертью поэта, голоса его ближайших друзей и поклонников начинали звучать громче всех. По латинской пословице: «О мертвых или хорошо или ничего». Некоторые неумеренные характеристики Багрицкого тоже объяснимы подобными обстоятельствами. Но есть еще и один новый момент. Дело в том, что одно время поэзия Багрицкого оказалась на равнодействующей многих вкусов и интересов. Она мирила на себе представителей различных, более резко оформленных в литературном отношении симпатий. По крайней мере я не припомню ни одного критического высказывания, направленного против поэзии Багрицкого после 23 апреля 1932 г. Сторонники публицистического направления поэзии нашли в Багрицком ту меру политической взволнованности, которая вполне приобщала Багрицкого к настоящей революционной поэзии. Что касается людей, которым в поэзии внятен больше всего язык чувств, эмоциональная наполненность образов, то и для них Багрицкий говорил больше, чем кто либо другой. Наконец по своим художественным качествам поэзия Багрицкого встречала всеобщее признание. Таким образом создалось положение, обратное тому, что было при РАПП'е, когда в Багрицком больше стали выискивать положительные стороны, нежели слабости, которых конечно также не лишена его поэзия. В такой обстановке тот, кто больше воздавал заслуг Багрицкому, выигрывал в смысле общественного резонанса своего голоса.

Связана ли эта быстро возросшая популярность Багри-

кого с некоторыми особенностями его поэзии, с большей ее доступностью и романтической привлекательностью?

Ответ на этот вопрос представляет принципиальный интерес и для понимания поэзии самого Багрицкого, и для определения ее роли в дальнейшем развитии советской поэзии.

С другой стороны, под покровом такой всеобщей любви к Багрицкому его поэтическое наследие каждый тащит в свою сторону. Вокруг поэтического наследства Эдуарда разгорелась некоторая борьба. Это здоровая борьба: она нужна нам, она должна помочь выяснить значение поэтической деятельности Багрицкого в целом.

2

Прежде всего мы должны отклонить чрезмерное романтизирование поэтического облика Багрицкого. Юрий Олеся пишет о Багрицком:

«Он резко отличался от всех нас... Это была очень странная, неповторимая жизнь. От начала и до конца.

Мы очень часто вспоминаем удивительную жизнь поэтов. Жизнь Виллона, Байрона, Эдгара По, Артюра Рембо. Нас восхищают их странности, необычность, их близость к вымыслу. А ведь жизнь Багрицкого была сродни жизни этих поэтов... Может быть, Эдуард Багрицкий — наиболее совершенное явление того, как интеллигент приходит своими путями к коммунизму...»

Олеся — волшебный художник. Все, к чему он прикасается, приобретает весьма яркие, патетические и, я бы сказал, даже сказочные очертания. Вот почему Эдуард Багрицкий под его пером превратился в персонажа «Трех толстяков» или, во всяком случае, настолько приблизился к вымыслу, что оказался вынутым из контекста нашей советской поэзии.

Бабель (в своем выступлении на вечере памяти Багрицкого, 16 февраля 1935 г. в Московском Доме советского писателя) тоже говорил о поэте, как о «чудаке-одессите», одном из представителей «южно-русской школы».

Разве значение Багрицкого в том, что он резко отличался

от всех нас? Что его необычайность простиралась так далеко, что он только один в Москве имел немецкую книгу по рыбоводству? Что он был кем-то «над нами», по ту сторону добра и зла, Виллоном или Рембо?

Сила Багрицкого была в том, что он был среди нас всех. Он был самым обычным, самым близким и понятным нам, со многими пороками, недостатками своей социальной среды. Его значение было в том, что мы видели, как он выпрастывался на наших глазах из лживой, мещанской романтики своей юности, постепенно, всем существом своим впитывая и претворяя в поэзию романтику революции. Но когда говорят, что Багрицкий явил собою наиболее совершенный пример того, как интеллигент приходит к коммунизму, то в этом уже содержится признание очень ответственного свойства. Это значит, что Багрицкий проявил в своей поэтической и общественной деятельности черты подлинной революционной активности. А этого, как мы знаем, у Багрицкого не было.

Багрицкий не был бойцом. В его психике было не мало от самочувствия «межклассового», не призванного к активному самоопределению человека. Кроме того, в Багрицком сказывалась его болезнь, постоянная балансирующая работа организма на приведение себя в состояние равновесия. И то и другое, как это всегда бывает в жизни, сложно переплеталось в общественном поведении Багрицкого. Багрицкий не любил принимать боя в лоб, а тем более в логической форме, в форме понятий. «Уйти? — Уйду! Тем лучше! Наплевать!» В нем была «недоверчивость к машинообразной работе ума», — писал я о Багрицком в статье «Переходник». И еще: «зрячесть, рационалистичность, костистость пролетарской революции, это все — внутреннее, по культурному существу — трудно усвояемо Багрицким». В этом, конечно, сказывалась социальная слабость Багрицкого, бесхребетность «переходника» или «промежуточника». Правда, я писал эту статью, когда Багрицкий выступил только со своим «Юго-Западом»... В ту пору настроения бездорожья, беспокойства, неуверенности еще владели Багрицким.

В поступательном развитии революции, с обострением классовой борьбы, с ликвидацией кулачества как класса

Багрицкий рос тоже, все глубже и глубже постигая идейный смысл пролетарской революции. Но если бы спросить Багрицкого, как это случилось, — вряд ли он смог бы отчетливо сформулировать содержание данного процесса, тем более — разделить его на периоды. Это случилось «само собой», естественно. Его, сына мещанской городской окраины, революция повернула к себе от книжных, наивных и романтических мечтаний, от пышных и старомодных грез поэта с чердака, — повернула к своей правде, суровой и прямой, к ее истинной человечности.

3

Но перестал ли Багрицкий быть самим собой? Сумела ли революция привить ему большевистскую активность? Нет. Тут перед нами встает вопрос, какими вообще качествами должен обладать советский поэт в идеальном представлении. Я полагаю, что главным в наших представлениях о том, каким должен быть советский поэт, является социалистическое качество поэзии. Социалистические, большевистские качества мыслей и чувств, вложенных в поэзию, — вот что нам нужно сейчас. В этом заключается и программа борьбы против всяческих не наших «качеств». Нужно ли расшифровывать понятие социалистического качества? Оно внятно и близко каждому. Во всяком случае, главное в нем — это классовая пролетарская активность.

Было ли это главное качество в поэзии Багрицкого? Мы не должны себя обманывать: до этого качества Багрицкий еще не доработался. Он шел к нему, он заявлял себя бойцом в таких стихотворениях, как «Последняя ночь», «Человек предместья». Но если взять его общественную и поэтическую деятельность в целом, то, конечно, Багрицкий во многом уступал в смысле пролетарской активности и Демьяну Бедному, и Безыменскому, и Маяковскому.

Д. Мирский в своей статье о Багрицком (в «Литучебе», № 5, 1934 г.) наиболее характерным качеством Багрицкого считает мысль. Он прямо называет его «поэтом мысли».

Эта формула, по-моему, не обнимает всего характерного для Багрицкого и может вызвать кривотолки. Прежде всего

надо заметить, что в устах Мирского эта формула имеет особое значение. Она является псевдонимом революционного значения поэта и, будучи адресована к Багрицкому, обозначает высшую похвалу. Такой расшифровки этой формулы не дано в полной мере в статье о Багрицком, но к таким выводам можно прийти на основании другой статьи Мирского — «Вопросы поэзии» (в «Литгазете», № 7, 1935 г.). В этой статье тов. Мирский совершенно правильно ударил по течению, которое назвал «течением врагов культуры и мысли».

Но когда Мирский придает этой формуле уже не конкретное, а абстрактно расширительное толкование, то последнее может породить недоразумения, потому что эту формулу можно понять как все покрывающий лозунг. А таким лозунгом является только лозунг социалистического качества поэзии, который включает в себя и политическую мысль, и чувство, и революционное действие, и, наконец, качество самой продукции. В самом деле, поэтом мысли можно назвать и Сельвинского, и даже Пастернака в какой-то степени. Нас могут не устраивать результаты размышлений Пастернака над действительностью. Но нельзя отрицать того, что в его стихах содержатся результаты этих размышлений. В расширительном значении эта формула — «поэт мысли» — нехороша тем, что является беспартийной формулой. Возьмите, например, красноармейские песни Суркова. Что это: поэзия мысли или поэзия чувства? Во всяком случае, это поэзия и того и другого, это — поэзия большевистского качества. Кроме того, под поэзией мысли мы привыкли понимать поэзию, самым предметом которой является мысль, философские размышления. Таким, например, был Брюсов.

В отношении же Багрицкого эта формула не кажется полной потому, что она не захватывает и не объясняет как раз характерной для него черты: поэтического сенсуализма. Если Мирский хотел своим определением сказать, что Багрицкий был мыслящим человеком в поэзии, то это верно. Как верно и то, что Багрицкий был мыслящим человеком и в жизни, человеком, исторически думавшим, много учившимся у людей, из книг, у жизни. Но никаких рационалистических склонностей, какие, например, явственно сказыв-

ваются в поэзии Виктора Гусева, не было у Багрицкого. О Багрицком можно образно выразиться, что он мыслил не только мозгом, но и всеми клеточками тела, всеми своими ощущениями.

В одной, редкой для него, статье — «Записки писателя» («Октябрь», № 4, 1929 г.) Багрицкий писал: «Стихотворение — это прототип человеческого тела. Каждая часть на месте, каждый орган целесообразен и несет определенную функцию. Я сказал бы, что каждая буква стиха похожа на клетку в организме, — она должна биться и пульсировать. В стихе не может быть мертвых клеток. Ритм ощущается как подземный гул. «Музыка прежде всего». «Опанас» был написан из-за синкоп, врывающихся, как махновские та-чанки, в регулярную армию строк...»

Метафоры этих строк не случайны. Клетка, ритм, пульс, мелодия — это слова показатели чувственного отношения Багрицкого к стиху, это — свидетельство первоначальной цельности самопроявлений, когда геометрия мысли еще не прорезала своими абстрактными линиями сферу единого бытия. Она, мысль, налита в теле, растворена в краске, но еще не перешла в графику. Отсюда та удивительная «объемность» поэзии Багрицкого, где действительно каждая не только строка, но и буква «играет» в связи с общим, где метафоры не нанизываются, как разноцветные бусы, на нитку предвзятой идеи.

Конечно, человек решительно во всяком своем деле проявляет себя цельно, как единое существо, как живой организм с переливающимися соками, радирующей нервной системой и так далее. Если сравнить слово с зазвучавшей нотой, то оно никогда не звучит одно, а на фоне обертонов и призвуков. Если мы хотим проникнуть в этот внутренний мир и понять его природу, то формы его расчленения и систематизации мы найдем в окружающей действительности.

Существуют разные типы «самопроявлений», когда в человеке получает перевес то морфологическая функция, то свойства усвоения, вбирания, то свойства отвлеченного обобщения, то, говоря попросту, воля, разум или сердце. Характеристики, типология психики складываются под решающим воздействием общества и имеют вполне социальное содержание.

Поэтический характер Багрицкого очень явственно воспринял пассивную впечатляемость, пластическую готовность к усвоению, к амальгамированию, к воспроизведению чужого голоса, доверчивость, шаткость, комплекс промежуточности, — словом, все то, что идет от промежуточных классовых слоев. И замечательная вещь: мы видим на Багрицком, как революция исправляла в нем этот характер. Она действительно создавала его как настоящего, большого поэта. Это особенно бросается в глаза при знакомстве с ранним творчеством Багрицкого. Конечно, всякий поэт начинает с подражаний. Сквозь подражания начинает затем проступать оригинальное, и по тому, куда оно направляется, мы судим о росте поэта.

В раннем Багрицком амальгамирующее начало сказалось очень ярко. Ранний Багрицкий — поэт прекрасного вкуса, чутья к поэтической культуре, поэт темпераментный и при всем том — весьма подражательный. В стихах раннего одесского периода (1915—1917 гг.) в Багрицком перекликались самые разнообразные голоса. Это было время, когда поэзия занимала особое место в жизни городской интеллигентской полубогемы. Тогда царил некий условный романтический стих, своеобразная амальгама из Гумилева и Северянина, символистов и Изы Кремер. Тогда процветали мистификации, издавались тетради «найденных стихов», оброненных якобы на улице или открытых в ящике секретера. Волошин создал несуществующую поэтессу Черубину де-Габриак, Никулин — Анжелику Сафьянову, а Багрицкий — Нину Воскресенскую. Багрицкий писал под псевдонимом, и мы можем найти в этих стихах кого угодно¹.

Впоследствии Эдуард относился ко всем этим вещам как к полудетской забаве и, рассказывая о них, смеялся над

¹ Вот, например, по Игорю Северянину:
Взвуканив ввысь над Петроградом,
Раскрыв воздушное манто,
Я к южным ветровым оврадам
Направил розовый авто...

Или:

В страну раскрывшейся Розеллии
Нас мчал фиолевый поток.

тогдашним смешением поэтических «племен, наречий, состояний»:

— Смешные были времена! Маяковский печатался с нами в сборнике, который назывался «Чудо в пустыне». И я печатался тогда вместе с Шершеневичем и Третьяковым...

В отличие от многих поэтов, Багрицкий решительно перечеркнул свой ученический период и никогда не стремился, став известным поэтом, напечатать свои старые стихи, хотя и пользовался ими для себя как «строительным материалом». А их было написано не мало. Все лучшее вошло в его однотомник. Он сам считал его полным собранием своих сочинений, признавая за «сочинение» лучшее из написанного.

Как поэт Багрицкий действительно вырос в революции. И первые свои «настоящие» стихи он датировал 1918 годом. Но и в них сохранилось столь характерное для Багрицкого «чувство локтя» поэтических предшественников, традиций, ассоциаций, книжной романтики. Багрицкий очень крепко, — я бы сказал, утонченно, — усвоил поэтическую культуру прошлого. Но в его почерке как мастера навсегда

Там так сиренев рокот пчел
Над белых лилий снеговозами...

Или вот — Багрицкий-футурист:

Дегенеративные тучи проносятся низко,
От женских губ несет копейчными сигарами,
И месяц повис, как оранжевая сосиска,
Над мостовой, расчесавшей пробор тротуарами...

Или вот — из Брюсова:

Уже двенадцать дней, как брошен Карфаген,
Уже двенадцать дней несут нас вдаль муссоны!..
Не звякнет тяжкий меч, не дрогнет щит червлёный,
Не брызнет белизной узор сидонских стен...

Или вот — нечто среднее из эстрадно-кремеровской поэзии:

Она одна идет к заброшенному молу,
Где блещут паруса алжирских бригадин,
Когда в закатный час танцуют фарандолу,
И флейта дребезжит, и стонет тамбурин...

(Примеры взяты из сборников «Серебряные трубы» и «Авто в облаках».)



Э. Багрицкий в 1899 году

остался след чуть уловимого «академизма», если последний понимать в античном смысле высшей школы. «Планеты пронизывали меня насквозь, как стакан воды». И это вполне отвечало внутренней природе Багрицкого. Он не был «новатором», как, например, Хлебников, Маяковский или Сельвинский. Свое, самобытное в поэзии Багрицкого стало проявляться тогда, когда революция от романтической фальши вернула его к исконным для него и социально, и биологически ощущениям плоти бытия, естественных человеческих отношений и чувств, — к драматизму самой жизни.

Человечность и драматизм — вот те главные черты, которые начинают разворачиваться в поэзии Багрицкого, образуя и самостоятельную форму ее. Проследите по стихам Багрицкого, как меняется содержание того и другого. Это особенно ясно видно на «Думе про Опанаса». Проследите, как в других стихотворениях биологическое в человеческом начинает заменяться истинно человеческой мукой, заботой, любовью, уже в смысле коммунистическом (вспомним хотя бы «ТБЦ»).

4

Существенной полосой в жизни Багрицкого был конструктивизм.

В 1925 году, вскоре после выхода сборника «Госплан литературы», Багрицкий с Дементьевым пришел к Сельвинскому «договариваться» о переходе из «Перевала» в «Литературный центр конструктивистов». Но «официальное» крещение в новую веру произошло позже — в 1926 году (еще до Луговского). Эдуард заявил в «Перевале», что он переходит к нам, и перевальцы были в превеликом на то гневе. В своей тогдашней цитадели, в редакции «Красной нови» (она тогда помещалась в Кривоколенном переулке), перевальцы вывесили на стене какое-то постановление, в котором клеймили Багрицкого... Я вспоминаю, как чертыхался и волновался по этому поводу Багрицкий. Всевозможные перипетии литературно-групповой борьбы Багрицкий воспринимал крайне впечатлительно, хотя никогда не принимал в ней активного участия.

Что потянуло Багрицкого к конструктивистам? Мне ка-

жется, что Багрицкий оказался в среде «констров» по ряду причин. Во-первых, на том этапе он нашел социально созвучную себе атмосферу, общность некоторых настроений и поисков. Для Багрицкого переход из «Перевала» к конструктивистам обозначал некоторое «полевение». В этом было своеобразие его пути. В этом была его противоречивость. Во-вторых, Багрицкому, как мастеру, требовательно и серьезно относившемуся к своей работе, ценившему поэтическую культуру, импонировала серьезная работа конструктивистов. В-третьих, поэтический авторитет Сельвинского. Ревниво, даже придирчиво критиковали мы друг друга на наших заседаниях, требуя друг от друга прежде всего трудолюбивого мастерства, бракуя друг у друга произведения (а без разрешения группы мы не имели права печатать их в прессе). Передовая статья в газете «Известия ЛЦК» (газете, приложенной к сборнику «Госплан литературы», 1925 год) называлась «Пора подумать о качестве». В этом был наш пафос как литературной группировки. Правда, заботы о культуре нами в классовом смысле часто трактовались извращенно, по-буржуазному. Другая, более важная сторона нашего одушевления качеством, американской деловитостью, культурой, техницизмом — «русский революционный размах»; этот размах, чувство остроты классовых противоречий было притуплено, не всегда как нужно понималось нами. Но субъективно, в глубине души мы переносили наши революционные интересы именно на «честное мастерство».

Формалистская переоценка культуры выражения в стихе была свойственна когда-то и конструктивистам. Это обстоятельство заслоняло значение той линии, которая играла крупную роль в развитии советской поэзии, которую можно назвать линией публицистической, линией политической лирики, агитационных стихов, которая связана с работой в газете, связана с именами Демьяна Бедного, Безыменского, Маяковского, Голодного, Суркова, Жарова, Асеева, Кирсанова и других. Не было продуманного отношения к этой линии и у Багрицкого.

Самое вхождение Багрицкого в РАПП (в 1930 г.) было связано отчасти с признанием прямых политических действий в поэзии.

Но изменилась ли поэтическая природа Багрицкого с его вхождением в РАПП? Стал ли он пролетарским поэтом? Д. Мирский в своей статье пишет: «Вступлением в РАПП (одновременно с Маяковским) он организационно закрепляет свою перестройку. Специфически рапповским поэтом Багрицкий, конечно, никогда не был. Наоборот, он принадлежит к новому типу советского беспартийного писателя, всецело преданного партии и безоговорочно борющегося за социализм...» И еще: «С этого момента его поэзия перестает быть «промежуточным» явлением...»

Неточная формулировка! Речь идет не о том, сколько процентов «промежуточности» убыло в Багрицком, а о том, изменился ли тип поэзии Багрицкого. Правильно, что Багрицкий не задержался на прежних позициях переходника, что все громче в его поэзии стал звучать голос наших побед. Но как это понять — «новый тип советского беспартийного писателя»? Чем этот тип лучше «специфически рапповского поэта»? Чем «новый тип» лучше «старого типа» беспартийного писателя?

Я думаю, что «новый тип» может иметь преимущество только в том случае, если в нем прибавилось партийности, если он стал менее беспартийным. Мне кажется, что налет известной беспартийности в поэзии Багрицкого все-таки остался. При всем том надо заметить, что Эдуард сохранил в перестройке все сильные и замечательные свойства своего письма. Он остался верным самому себе «органиком», человеком цельноживущим в поэзии всеми клеточками своего бытия.

5

Одна из причин, которая связывала Багрицкого с конструктивизмом, это — импонирующее воздействие поэтической деятельности Сельвинского. Может показаться загадочным, что могло объединять этих двух людей? Один — насквозь романтический лирик, «по самой строчечной сути», лирик, со всем пламенем воспринимающий плоть бытия, страсть, драматизм, одухотворенность, взволнованный дух, но с рефлексом на созерцание, восторг, иногда умиление, иногда горестное приятие, но почти всегда с чувством

самоподбадривания, то-есть с некоторой личной внутренней пассивностью. Другой — сама активность, которая все тащит и сворачивает с места, громоздит глыбу на глыбу, где рядом может оказаться и женская нога или плечо, выписанные со всей чувственной силой, и цитаты из книги, и грозная картина боя, и кипение, и ширь разбуженных сил нашего времени. У Сельвинского есть и лирика, но это, так сказать, деталь его необыкновенного жанрового изобилия и притом не самая лучшая, потому что сила Сельвинского, по преимуществу, в эпическом захвате явлений, в оркестровой симфонии самых разнообразных голосов. Багрицкий — тепел, обаятелен, лиричен в самом эпосе, в «Думе про Опанаса». Сельвинскому нежное не всегда удается. Конечно, и у Сельвинского есть замечательные лирические вещи, как, например, «Охота на нерпу», но это скорее удача, нежели правило¹.

Многие не понимают, что Сельвинский родом из того редчайшего поэтического племени, с именами которого связано развитие самой поэзии, как оно связано с именами Хлебникова и Маяковского. Сельвинского надо понять как поэта, основополагающего новые интонации, революционизирующего ритмику, изобразительные средства, самый подход к поэтической работе над словом. И с этой точки зрения Сельвинский — шаг вперед в советской поэзии после Маяковского. С именем Сельвинского связано создание советского эпоса, и его «Улялаевщина» подымается высоко над всеми подобными попытками в нашей поэзии.

Багрицкий очень высоко расценивал поэтическое дарование Сельвинского, и, мне кажется, потому, что он понимал все это. Их соединяли вещность и культура стиха. Но и то и другое было разное в своем содержании. Вещность и плоть Багрицкого взяты совсем в другом регистре, нежели у Сельвинского, хотя их роднила реалистичность чувствований действительности. В работе над стихом Сельвинский чрезвычайно импонировал Багрицкому своей новаторской складкой.

¹ И характерно, что лучшая лирика у Сельвинского — там, где она вправлена в полотно, отнесена к общему.

Если подойти к Багрицкому с точки зрения культуры стиха, условно обособив его «технологию», то мы должны будем признать, что в Багрицком нашел себе наиболее полное, яркое выражение гений освоения. Та черта, которая сказала еще у раннего Багрицкого, черта ассимиляции, пристраивания к себе, амальгамирования чужих поэтических мотивов, — по преимуществу акмеизма и символизма Гумилева, Брюсова, затем Нарбута и Сельвинского, — эта черта протянулась во всей его поэтической деятельности до последних дней. Я не хочу здесь отвлекаться подробным разбором этой темы, но можно было бы немало привести примеров, как в стихах Багрицкого растворились или даже остались в кристаллах слова, интонации, некоторые обороты из других поэтов или даже из самого себя. От последних произведений Багрицкого можно протянуть нити, например, ко многим неизвестным его ранним стихам. Багрицкий ориентировал свой почерк по литературным вехам, по поэтическим индивидуальностям. И недаром у него значится:

А в походной сумке —
Спички и табак,
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...

Багрицкий — не эклектик. Нет, Багрицкий именно утверждал себя в освоении. В этом своеобразие его как мастера. Вот чем, мне кажется, в известной мере объясняется значение Багрицкого для нашей поэтической молодежи. Вот где в некоторой доле заключается объяснение его срединного и бесспорного положения как мастера. Он сам показывает высший класс культуры в стихе, своим примером вскрывая, как осваивается поэтическое наследство. Маяковскому или Сельвинскому надо просто подчиняться и подражать, потому что у них все по-своему, не говоря уже о Хлебникове. Литературно они берут за шиворот. Багрицкий — совсем другое дело. Он учит ремеслу не только забойщика, но и крепильщика.

Конечно, значение поэзии Багрицкого не определяется

этой, в конце концов подчиненной, стороной дела. Она мирит на себе всех не только потому, что сама мирится со всеми. Багрицкий доходит до сердца каждого прежде всего потому, что его поэзия — истинно человеческая поэзия. Любое слово протянуто в глубину, к живым источникам человеческих скорбей и радостей. Вы чувствуете: это пережито, такова жизнь в своей обнаженной правде. Мне уже приходилось писать о том, что Багрицкий, несмотря на славу романтика, очень реалистический по своей подоснове поэт. Вот почему так сильны в Багрицком ощущения противоречий, драматизма самой жизни: «изъеденные вшами косы», «ржавые евреи», «пуговицы с орлом», выгребаемые плугом на месте бывшей битвы, загубленная жизнь:

Звезда полевая
Над брошенной хатой,
Дождями размыты пути.
На пламя пожара,
На дым языкатый
Лети, мое сердце, лети!

«Для веселия планета наша мало оборудована» — так, вслед за Маяковским, мог бы сказать и Багрицкий. Идиллическая тоска о вишнях на взгорьи, о тихих зорях, романтических кабачках с натюр-мортами пышной еды, нежная устремленность к естественным человеческим радостям, — все это попираемо законом войны, царящей над миром. И отсюда для тебя один вывод: будь солдатом! Лирика солдатского мужества, лирика героизма — вот господствующая поэтическая интонация Багрицкого. Вот почему она так сердечно-близка всем нам. В поэзии Багрицкого есть часть того воздуха, которым дышали и дышат челюскинцы, командиры, ударники. Здесь есть гордая патетика героизма.

Лирика мужества и сильных страстей в советской поэзии имела представителем не одного Багрицкого. Таков ведь Тихонов. Недаром цитируются его стихи:

Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей!..

Тихонов ориентировал свою поэзию на киплинговскую интонацию, на ноты подчеркнутого спокойствия рассказчика. В первые годы эти настроения холодного мужества, в

своем литературном выражении опиравшиеся на Киплинга, были распространены в советской поэзии широко. Так когда-то начинал как поэт и Борис Лапин:

Солдат, учись свой труп носить,
Учись дышать в петле.
Учись свой кофе кипятить
На узком фитиле...

Линия Багрицкого была совсем другая. Он шел от ущемленной идиллии, от разоблаченной романтики. Вот почему в его поэзии больше звучит драматизм переживаний, нежели голос победителя. В его лирике мужества есть какая-то созерцательность, раздумье над горестями бытия. И большинство историй, рассказанных в стихах Эдуарда («Дума про Опанаса», «Смерть пионерки», «Последняя ночь» и другие), сюжетно оканчивается печально, хотя эпилог и осознается достойно, по-нашему. Отсюда романтический реквизит его поэзии (особенно обильный в переводах) дается Багрицким слегка иронически, как литературная условность. Это — замечательная черта, рисующая огромный внутренний такт Эдуарда как художника. Он никогда не переигрывает. И основное — драматизм и лирика мужественности — никогда не разжижается сладкими восприятиями. Когда сравнивают Багрицкого с Адалис и рассматривают последнюю как продолжательницу его дела, то сближают их литературные источники (что верно), но забывают упомянутую черту Багрицкого. Сравните хотя бы эпитеты и характеристики Адалис и Багрицкого, и принципиальная разница будет очевидна.¹ Книга Адалис «Власть» — превосходная книга по силе вложенных чувств. Но в ней звучит не только радость приобщения к коммунизму, но и нота умиления: «Ныне отпускаеши». Это не только удивление перед действительностью как начало всякого философствования. Это именно умиление, возникающее от созерцательного подхода к действительности. Вот откуда у Адалис

¹ Например, у Адалис: «Искрящаяся дрожь», «синева-розовый ветер», «под лунный блеск роз», «золотой туман», «апельсиновые волосы», «светло-розовые бока», «лазоре-вый берег», «розовый полусвет», «золотистый туман», «лазурная ночь», «светящиеся облака» и т. д. Ничего подобного вы не найдете у Багрицкого!

сладковатость, примеры которой я привел. В этом смысле Адалис дальше, чем был Багрицкий, от того идеала советского поэта, за который мы боремся. Ноты активности звучат еще глуше. Этой растроганности совсем не было у Багрицкого: он был слишком ироничен.

7

Когда Багрицкий вступил в группу конструктивистов, он был уже поэтом с именем — была уже написана «Дума про Опанаса», и он вошел в среду людей, тесно спаянных, но еще в большинстве (кроме Веры Инбер) начинавших свою литературную деятельность и одушевленных самыми великими романтическими надеждами. Теперь уже заявили о себе читателям и вошли в литературу и Луговской, и Лапин, и Габрилович, и Агапов, а тогда в узких литературных кругах знали только Сельвинского, и «Улялаевщина» лежала в ящике его письменного стола, потому что никто ее не хотел печатать. Для нас была страшно важна групповая дисциплина. Мы ревниво относились к посещению производственных заседаний и совместных выступлений. Эдуард не придавал этому никакого значения, чем тогда нас немилосердно расстраивал. Он мог не прийти на назначенное выступление, мог подвести собрание, которое его ждало. Никакого особого литературно-партийного энтузиазма он никогда не испытывал и вообще выступать «бойцом» за групповые знамена не стремился.

Но это не значит, что связь Багрицкого с конструктивизмом была только формальной. Бесплодно дозировать, к какому правому звену левого крыла в конструктивизме принадлежал Багрицкий. Багрицкий был связан с конструктивистами около пяти лет, то-есть примерно столько, сколько существовал и сам конструктивизм как литературная группировка, и был связан с ним в очень сложную и поэтически-обильную для себя пору. Конструктивизм получил в советской критике правильную оценку как литературное течение, отразившее ряд буржуазных влияний в искусстве, — течение технической интеллигенции. Однако настоящего анализа (т. е. анализа всестороннего) конструктивизм еще не

получил. Он был политически разбит, но не обследован. В нем боролись самые противоречивые тенденции. И для разных людей в разные периоды их творческой деятельности конструктивизм сыграл различную роль. В идейно-политическом отношении конструктивизм для Багрицкого не явился, повторяю, шагом назад по сравнению с его прошлым периодом, потому что в группу конструктивистов Эдуард вступил в довольно сумеречную для себя пору. Мы у себя как раз «крыли» Багрицкого по идеологической линии, и, в частности, «Стихи о поэте и романтике» (напечатанные в сборнике «Бизнес») я правил именно с этой стороны. Но теперь надо признать, что критика «констров» была не той, какая могла помочь Эдуарду. И прав Мирский, отметивший, что для Багрицкого в революции главным был ее плембейский характер, в то время как конструктивистов привлекала к социализму прежде всего идея организации и плановости.

При всем том Эдуард осознавал конструктивизм и в чисто литературном плане как поэтическое течение, со своими задачами, поставленными в противовес футуризму. Багрицкий писал в своей статье (упомянутой выше):

«Футуристы и их великий разрушитель Маяковский в корне отбросили стихотворную композицию. Они заменили ее огромной эмоциональной нагрузкой, фонетикой, неологизмами, они дали возможность слову расцвести необъятным цветом, но композиция была забыта ими. Нам, конструктивистам, приходится больше всего работать над ней. Восстановив поэму и стихотворный роман, мы должны возобновить и лирику, но наша лирика будет основана на новых композиционных принципах. Мы отметем лирическую абстракцию. Мы подкрепим композицию сюжетом и внесем в лирику яркую политическую струю. Вот над чем работаю и я...»

Багрицкий оставил советской поэзии слово, действительно далекое от «лирической абстракции» и впитавшее в себя все достижения поэтических школ. Но успел ли он ввести в свою поэзию то, к чему стремился: яркую политическую струю? Может быть, за это он всю жизнь тайно любил Маяковского...



Вереница встреч, разговоров, мимолетно брошенных замечаний проходит у меня в памяти о Багрицком.

Однажды, после какого-то заседания ЛЦК, Эдуард остался у меня ночевать, так как все поезда в Кунцево были уже просрочены. Я жил тогда в маленькой комнатке у Виндавского вокзала, заваленной книгами. Была ночь. Эдуард сидел в белой рубаше на тахте, которую называл лежбищем. Седеющий, сутуловатый, громоздкий, с голой грудью, он кашлял и громыхал. Мы вспоминали стихи и читали их друг другу наизусть. Мы говорили о поэзии. И тогда, как никогда, я понял, что поэзия и была формой его существования. Он возмущался тем, что о поэтах господствуют еще старые, обывательские представления: поэт — шальной, ненадежный человек и непременно пьяница. Нам нужно бороться с этим, говорил он. Мы должны выработать новый тип поэта: поэта-ученого, поэта-общественника, и в этом нам должны помочь писательские организации. Общественность должна связать поэта с производством, включать его в бригады, водить в клиники и лаборатории.

— Мы, поэты, должны биться за первенство своего искусства. Мы должны в корне перестроить мнение о поэте-богемце. От нас должна начаться новая традиция. Все это уже говорилось неоднократно, но трудно бороться с неверчивостью окружающих. Многие не представляют себе, что поэт может заниматься другой работой, помимо «кропання стишков». Когда на вопрос: «Что вы пишете сейчас?» — я ответил: «Исследую способы размножения рыб», — человек из редакции, спрашивавший меня, повесил трубку, не попрощавшись. А как же можно писать стихи, если не жить, не читать, не узнавать, а главное — чтобы не жить во-всю!..

— Напишите же об этом, Эдуард... Конечно, за это мы должны драться. За новое понимание поэзии, связанной со всем нашим делом, со всем тем, чем дышит страна...

Последние годы мы с ним жили рядом, в одном доме, на одной лестничной клетке. Как часто заставлял я Эдуарда упавшим на лестничные перила, задыхающимся и раздираемым кашлем! И когда он встречался с кем-нибудь глазами, то у него не находилось другого оружия, кроме иронии, не-

изменно насмешливого отношения к жизненной юдоли с ее болезнями, фальшью и всякой чепухой. Эдуард возвел этот стиль так далеко, что уже не придавал никакого значения случайным мнениям, оценкам или высказываниям. Он мог, например, сказать, когда за человеком захлопывалась дверь:

— Зачем этот идиот ко мне ходит, я не понимаю!.. Сиди и слушай его бред.

В Багрицком сказывались неактивность, мягкость, — добрейшие свойства его натуры. Мы вместе читали рукописи поэтов в издательстве «Советская литература». Иногда ему заметишь:

— Слушайте, Эдя, как вы могли дать положительный отзыв на такую дрянь? Вы же сами будете прыгать, когда вам придется поставить подпись редактора, если редсовет примет эту книжку по вашему отзыву...

— А я же знаю, что вы все равно ее не примете.

И Багрицкий смеялся грудным и немного хихикающим смехом, довольный тем, что перехитрил самого себя.

Этот откровенный и бесхитростный цинизм нашего «Диогена», заключенного в «бочку» всяких немощей, воспринимался только как беззлобная ирония неисправимого романтика. Почему? Потому что в нем мы слышали голос подлинной поэзии и честного в ней, до конца настоящего, человека.

ОТ РЕДАКТОРА

Кроме воспоминаний и статей о Багрицком, Альманах дает его стихи.

Большинство из этих стихов (песни к либретто оперы «Дума про Опанаса», песня к радиокомпозиции «Тарас Шевченко», московский вариант «Трактира», монолог из «Вольпонэ», поэма «Февраль») публикуется впервые. Другие — были помещены в провинциальной печати (газ. «Южная мысль», альманахи «Серебряные трубы» и «Чудо в пустыне», газ. «Моряк» и т. п.) двенадцать — двадцать лет назад и ни в один сборник стихов Багрицкого не вошли. Последнее обстоятельство, естественно, делало их неизвестными даже для людей, наиболее осведомленных в нашей поэзии.

Особый интерес — в смысле изучения литературного наследия Багрицкого — представляет поэма «Сказание о море, моряках и Летучем Голландце».

В архиве сохранилась следующая хроникальная заметка из «Одесских известий» (4 марта 1923 г.):

Седьмой Литературный Интимник состоялся 2 марта.

Значительнейшей частью программы явилась новая поэма Э. Багрицкого «Сказание о море, моряках и Летучем Голландце». Затронутый автором в его выступлении вопрос — «Нужна ли пролетариату моя поэма или нет?» — решен положительно в результате пылкой дискуссии...

Вопрос был поставлен Багрицким в стихотворной форме:

От пролеткультовских раздоров
(Не понимающих мечты),
От праздных рифм и разговоров
Меня, романтика, умчи!
Я чересчур предался грубым,
Непоэтическим делам, —
Кружась, как мудрый кот под дубом,
Цепь волочила я по камням.
И в сердце не сдержать мне гнева,
Хоть сердце распирает грудь...
Но цепь грохочет: влево, влево, —
Не смей направо повернуть!
Довольно! Или не бродячий
Мне послан господом удел?
И хлеб, сверкающий, горячий,
В печи не для меня созрел?
Не я ль под Елисаветградом
Шел на верблюжские полки,
И гул, разбрызганный снарядам,
Мне кровью ударял в виски?
И под Казатином не я ли
Залег на тендере, когда
Быками тяжело замычали
Чужие бронепоезда?
В Алешках, под гремучим небом,
Не я ль сражался до утра,
Не я ль делился черствым хлебом
С красноармейцем у костра?
Итак, без упреков грозных!
Где критик мой тогда дремал,
Когда в госпиталях тифозных
Я Блока для больных читал?
Пусть, важной мудростью обьятый,
Решит внимающий совет:
Нужна ли пролетариату
Моя поэма — или нет?..

Радиокомпозиция «Тарас Шевченко», как и «Февраль», осталась незаконченной. Приводимая песня к ней служит как бы связующим звеном между собственно радиокомпозицией и напечатанным в свое время (1934 г.) «Детством Тараса».

Монолог из «Вольпонэ» был написан Багрицким для театра им. Завадского (Москва).

ИЗ ПОЭМЫ „ФЕВРАЛЬ“

(Автограф Э. Багрицкого)

Ты не зыбешь. Голос твой
Слышат и в небу - и в море, и в горы
Наш не охотников. Добрых...

Мне спускается земля. Мне мучает
Но беда зоркая. В огнях и в тени
В асфальте небесных. Там являю
Наше изобретение. Прогресс и наука
Мне спускается и в море. Являю

Розыскать и в море, и в море
Забудь ^{по уму} ~~по уму~~ ^{по уму} ~~по уму~~

Изобретение. Там являю
Земля и море. Там являю
Изобретение. Там являю

Розыскать и в море, и в море
Забудь ^{по уму} ~~по уму~~ ^{по уму} ~~по уму~~

Мне до моря. Прогресс и наука
Мне спускается. Там являю

Изобретение. Там являю
Изобретение. Там являю

Мне до моря. Прогресс и наука
Мне спускается. Там являю

Изобретение. Там являю
Изобретение. Там являю

~~Август~~

Лавровые зонтеры сибирские семена

~~Морские зонтеры~~

~~Препараты зонтеров~~

~~Из зонтеров зонтеры~~

~~Ботанические зонтеры~~

~~Химические зонтеры~~

Медиа зонтеры зонтеры зонтеры зонтеры

Редукция зонтеров, зонтеры зонтеры

Восстановление зонтеров зонтеры

Но зонтеры зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

Из зонтеров зонтеры зонтеры

1915—1917

1015-1016

СУВОРОВ

В серой треуголке, юркий и маленький,
В синей шинели с продранными локтями, —
Он надевал зимой теплые валенки
И укутывал горло шарфами и платками.

В те времена по дорогам скрипели еще дилижансы,
И кучера сидели на козлах в камзолах и фетровых шляпах;
По вечерам, в гостиницах, веселые девушки пели романсы,
И в низких залах струился мятный запах.

Когда вдалеке звучал рожок почтовой кареты, —
На грязных окнах подымались зеленые шторы,
В темных залах смолкали нежные дуэты,
И раздавался шопот: «Едет Суворов!»

На узких лестницах шуршали тонкие юбки,
Растворялись ворота услужливыми казачками,
Краснолицые путники почтительно прятали трубки,
Обжигая руки горячими угольками.

По вечерам он сидел у погаснувшего камина,
На котором стояли саксонские часы и уродцы из фарфора,
Читал французский роман, открыв его с середины, —
«О мученьях бедной Жульетты, полюбившей знатного
сеньора».

Утром, когда пастушьи рожки поют напевней,
И толстая служанка стучит по коридору башмаками,
Он собирался в свои холодные деревни,
Натягивая сапоги со сбитыми каблуками.

В сморщенных ушах желтели грязные ватки;
Старчески кряхтя, он сходил во двор, держась за перила;
Кучер в синем кафтане стегал рыжую лошадку, —
И мчались гостиница, роща так, что в глазах рябило.

Когда же перед ним выплывали из тумана
Маленькие домики и церковь с облупленной крышей,
Он дергал высокого кучера за полу кафтана
И кричал ему старческим голосом: — Поезжай потише!

Но иногда по первому выпавшему снегу,
Стоя в пролетке и держась за плечо возницы,
К нему в деревню приезжал фельдъегерь
И привозил письмо от матушки-императрицы.

«Государь мой, — читал он, — Александр Васильич!
Сколь прискорбно мне ваш мирный покой тревожить,
Вы, как древний Цинциннат, в деревню свою удалились,
Чтоб мудрым трудом и науками свои владения множить...»

Он долго смотрел на надушенную бумагу —
Казалось, слова на тонкую нитку нижет;
Затем подходил к шкапу, вынимал ордена и шпагу —
И становился Суворовым учебников и книжек,

ТАНЦОВЩИЦА

(Из цикла «Песни Китая»)

Я — маленькая девушка,
Мои брови подведены,
Щеки покрыты румянами,
И ножки привязаны к высоким подставкам.

Ах, неужели вы не видели,
Как на лодке-цветке,
Перед толстыми купцами,
Берущими жирными пальцами
Из фарфоровых чашечек рис,
Я пляшу
И играю на арфе?

О, Чо-Синг,
Целые дни стоишь ты
В темной лавке,
Где над входом качаются
Фонари из прозрачной бумаги
С нарисованными тушью драконами
И голубыми цаплями,
И продаешь свертки чая,
Перевязанные голубыми лентами!

О, Чо-Синг,
Когда ты приходишь усталый

На мою лодку-цветок,
Ты не смотришь на розовых рыбок
На фаянсовых блюдах,
Ни на рис,
Ни на розовый, как закатное небо, чай
В дрожащих и хрупких чашечках,
Раскрашенных искусными руками предков, —
Только на меня ты смотришь,
О, Чо-Синг!

АНТИКОПИЯ

О. Чо-Синг,
Кто ты приходишь к нам

СЛАВЯНЕ

Мы жили в зеленых просторах,
Где воздух весной напоен.
Мерцали в потупленных взорах
Костры кочевавших племен...

Одеты в косматые шкуры,
Мы жертвы сжигали тебе, —
Тебе, о, безумный и хмурый
Перун на высоком столбе!

Мы гнали стада по оврагу,
Где бисером плещут ключи,
Но скоро кровавую брагу
Испьют топоры и мечи.

Приходят с заката тевтоны
С крестом и безумным орлом,
И лебеди, бросив затоны,
Ломают осоку крылом.

Ярила скрывается в тучах,
Стрибог подымается ввысь,
Хохочут в чашобах колючих
Лишь волк да пятнистая рысь...

И желчью сырой опоенный
Трепещет Перун на столбе.

Безумное сердце тевтона,
Громовник, бросаю тебе!..

Пылают холмы и овраги,
Зарделись на башнях зубцы,
Пронесут червонные стяги
В плащах белоснежных жрецы.

Рычат иступленные трубы,
Рокочут рыдания струн...
Оскалив кровавые зубы,
Хохочет безумный Перун!

ВРАГ

Сжимает разбитую ногу
Гвоздями подбитый сапог.
Он молится грустному богу:
Молитвы услышит ли бог?

Промечут холодные зори
В поля золотые огни...
Шумят на багряном просторе
Зеленые вязы одни.

Лишь ветер, сорвавшийся с кручи,
Взвихрит серебристую пыль,
Да пляшет татарник колючий,
Да никнет безмолвно ковыль.

А ночью покроет дороги
Пропитанный слизью туман,
Протопчут усталые ноги,
Тревогу пробьет барабан.

Идет, под котомкой сгибаясь,
В дыму погибающих сел,
Беззвучно кричит, задыхаясь,
На знамени черный орел.

Протопчет, как дикая пляска,
Коней оголтелый галоп...

Опустится медная каска
На влажный запыленный лоб.

Поблекли засохшие губы,
Ружье задрожало в руке,
Запели дозорные трубы
В деревне на ближней реке...

Сейчас над сырыми полями
Свой веер раскроет восток...
Стучит тяжело сапогами
И взводит тяжелый курок...

ТАЧЕ

Сквозь туман
Полетит
Огонь
Молнии

Промчат
В поля
Шумят
Зеленые

Листья
Возвращаются
Далеко
Далеко

А теперь
Промчат
Промчат
Трещит

Медь
В дым
Брызжут
Или

Промчат
Коней

ОСЕНЬ

Литавры лебедей замолкли вдалеке,
Затихли журавли за топкими лугами,
Лишь ястребѣ кружат над рыжими стогами,
Да осень шелестит в прибрежном тростнике.

На сломанных плетнях завился гибкий хмель,
И никнет яблоня, и утром пахнет слива,
В веселых кабачках разлито в бочки пиво,
И в тихой мгле полей, дрожа, звучит свирель.

Над прудом облака — жемчужны и легки,
На западе огни — прозрачны и лиловы.
Запрятавшись в кусты, мальчишки-птицеловы
В тени зеленых хвой расставили силки.

Из золотых полей, где синий дым встает,
Проходят девушки за грузными возами,
Их бедра зыблются под тонкими холстами,
На их щеках — загар, как золотистый мед.

В осенние луга, в безудержный простор,
Спешат охотники под кружевом тумана,
И в зыбкой сырости пронзительно и странно
Звучит дрожащий лай нашедших зверя свор.

И осень пьяная бредет из темных чаш.
Натянут темный лук холодными руками,

И в лето делится и пляшет над лугами,
На смуглое плечо накинув желтый плащ.

И поздняя зоря на алтарях лесов
Сжигает темный нард и брызжет алой кровью,
И к дерну летнему, к сырому изголовью,
Летит холодный шум спадающих плодов.

ОТЧЕТ

Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь.

Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь.

Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь.

Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь.

Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь.

Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь,
Вот и кончилась наша жизнь.

ПЕСНИ

Ах, у Диделя в котомке
Много вкусных есть вещей:

Две лепешки овсяные,
Фляжка кислого вина!

Третий день, как, бросив школу,
Он гуляет по полям,
Смотрит в небо, свищет птицам,
И смеется невзначай.

Дидель, Дидель, ты покинул
В Кельне, старом и печальном,
Девушку с косою русой, —
Дочь трактирщика она!

Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам,
И смеется невзначай!

Третий день в трактир приходит
Королевский красный рейтер, —
Перья сокола на шляпе,
И с раструбом сапоги!

Требует он кружку пива,
С талера не просит сдачи,
И глядит, глядит на Марту,
Крутит ус и щурит глаз.

Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам
И смеется невзначай!

II

Целый день — одна забота:
Прясть и прясть не уставая,
Слушать, как у ног уютно
Кот мурлычет и ворчит.

Сердце ж девушки — пушинка,
Под дыханием случайным
Подымается, кружится,
Тает в небе голубом.

Так и сердце бедной Марты:
Дидель дунул — закружилось
Сердце легкое, и с ветром
Над полями понеслось.

По полям гуляет ветер,
Шляпу с Диделя срывает,
Щеки нежные румянит,
Пылью дует — и поет.

И как голубь сизокрылый,
Сердце трепетное Марты
Вслед за Диделем несется
По лесам и по лугам.

И когда, взлетев над рожью,
Жаворонок распевает,

Дидель знает: это сердце
Радостью благовестит!

И когда росой холодной
По утрам покрыты кудри,
Дидель знает — это сердце
По любви своей грустит!

Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам
И смеется невзначай!

СКАЗАНИЕ О МОРЕ, МАТРОСАХ И ЛЕТУЧЕМ ГОЛЛАНДЦЕ

Знаешь ли ты сказание о Валгалле? Ходят по морю викинги, скрекинги ходят по морю, Ветер надувает парус, и парус несет ладью. И неизвестные берега раскидываются перед поинами. И битвы, и смерть, и вечная жизнь в Валгалле. Сходят Валкирии в облаке дыма, в пенни крыльев за плечами, и руками нежными, как ветер, поднимают души убитых. И летят души на небо, и садятся за стол, где яства и мед.

И Один приветствует их. И есть ворон на троне у Одина, и есть волк, растянувшийся под столом. Внизу—скалы, тина и лодки; наверху—Один, воины и ворон. И если приходит в бухту судно, встает Один, и воины приветствуют мореходов, подымая чаши. И Валкирии трубят в рога, прославляя храбрость мореходов. И пируют внизу моряки, а наверху—души героев. И говорят: вечны Валгалла. Один и ворон,— вечны море, скалы и птицы.

Знайте об этом, сидящие у огня, бродящие под парусами и стреляющие оленей!

(Из сказаний *Свена Песнетворца*)

Замедлено движение земли
Развернутыми нотными листами.
О, флейты, закипевшие вдали,
О, нежный ветер, гудящий под смычками!..

Прислушайся: в тревоге хоровой
Уже труба подымлет глас державный, —
То вагнеровский двинулся прибой,
И восклицающий, и своенравный..

Песня о море и небе

К этим берегам, поросшим шерстью,
Скользкими ракушками и тиной,
Дивно скрученные ходят волны,
Растекаясь мылом, закипевшим
На песке.

А над песками — скалы,
Растопыренные и крутые.

Та, посмотришь, вытянула лапу
К самой тине, та присела крабом,
Та плавник воздела каменистый
К мокрому тучам.

И помет бакланий
Известью и солью их осыпал...

А над скалами, над птичьим пухом —
Северное небо, и как будто
В небе ничего не изменилось:
Тот же ворон на дубовом троне
Чистит клюв, и тот же волк поджарый
Растянулся под столом, где чаши
Рыжим пивом налиты, и грузно
В медные, начищенные блюда
Вывалены туши вепрей.

Вечен
Дикий пир. Надвинутые туго,
Жаркой медью полыхают шлемы,
Груды волосатые расперты
Легкими, в которых бродит воздух.

И как медные и злые крабы,
Медленно ворочаясь и тяжело
Громыхая ржавыми щитами,
Вкруг стола, сколоченного грубо
Из досок сосновых, у кувшина
Крутогорлого они расселись —
Доблестные воины.

И ночью
Слышатся их голоса и ругань,
Слышно, как от кулака крутого
Стонет стол, и дребезжит посуда.

Поглядишь: и в облаках мигают
Суетливые зарницы, будто
Отблески от вычищенных шлемов,
Жарких броней и мечей широких...

II

Песня о матросах

А у берега — рыбачьи лодки,
Весла и плетеные корзины
В чешуе налипшей.

И под ветром
Сети, вывешенные на сваях,
Плещут и колышутся...

Бывает,
Закипит вода под рыбьим плесом,
И оттуда, из морозной дали,
Двинется треска, взовьются чайки
Над водой, запрыгают дельфины,
Лакированной спиной сверкая,
Затрещат напруженные сети,
Женщины заголосят...

И в стужу,
Полоща полотнищем широким,
Медленные выплывают лодки...

День идет серебряной трескою,
Ночь дельфином черным проплывает...
Те же голоса на побережьи,
Те же неводы, и та же тина,
Валуны, валы и шорох крыльев...

Но однажды, наклонившись набок,
Разрезая волны и стена,

В бухту судно дивное влетело.
Ветер вел его, наполнив парус
Крепостью упрямою, как груди
Женщины, что молоком набухли...

Ворот заскрипел, запели цепи
Над заржавленными якорями, —
И по сходням с корабля на берег
Выбежали странные матросы...

Тот — как уголь, а глаза пылают
Белизной стеклянною, тот глиной
Будто вымазан и весь в косматой
Бороде, тот окрашен охрой,
И глаза, расставленные косо,
Скользкими жуками копошатся...

И матросы не зевали:

Ночью,

В расплескавшемся вдали пыланьи
Пламени полярного, у двери
Рыбака, стрелка иль китолова
Беспокойные шаги звучали,
Голоса, и пение, и шопот...

И жена протягивала руки
К мерзлому оконцу, осторожно,
Жаркие подушки покидая,
Шла к дверям...

И вот в ночи несется

Щелканье ключа и дребезжанье
Растворяющейся двери...

Ветер —

Соглядатай и веселый сторож
Всех влюбленных и беспутных — снегом
У дверей следы их замечает...

А в трактирах затевались драки
Из широких голенищ взлетали
Синеглазые ножи, и пули
Застреливали в потолочных балках...

Пой, матросская хмельная сила,
Голоси, целуйся и ругайся!

Чтò покинуто вдали: размерный
Волн размах, качанье на канатах
И спокойный голос капитана...

Чтò разворачивается вдали: буруны,
Сединой гремящие певучей,
Доски, стонущие под ногами,
Жесткий дождь, жестокий ломоть хлеба
И спокойный голос капитана...

III

Песня о капитане

Кто мудрее стариков окрестных,
Кто видал и кто трудился больше?..
Их сжигало солнце Гибралтара,
Им афинские гремели волны,
Горький ветер кремнистого Ассама
Волосы им ворошил случайно...

И, спокойной важностью сияя,
Вечером они сошлись в трактире,
Чтоб о судне толковать чудесном.
Там расселись старики, поставив
Ноги врозь, и в жесткие ладони
Положив крутые подбородки...

И, когда старейшиною было
Слово сказано о судне дивном, —
Заскрипела дверь, и грузный грянул
В доски шаг, и налетел веселый
Ветер с моря, снег и гул прибоя..
И, осыпан снегом и оваян
Зимним ветром, встал пред стариками
Капитан таинственного судна...

Рыжекудрый и огромный, в драном
Он предстал плаще, широколобой
И кудлатой головой вращая.
Рыжий пух, как ржавчина, пробился
На щеках опухших, и под шляпой
Чешуей глаза очоценили.

IV

Песня о розе и судне

(Что сказали старцы капитану,
И о мудром капитанском слове.)

— Уходи!

Распахнутые воют
Пред тобой чужие океаны,
Южный ветер, иль заиндевелый
Пламень звезд, иль буйство рулевого
Паруса твои примчало в бухту...

Уходи!

Гудит и ходит дикий
Мыльный вал, на скалы налетая.
Горный ветер вольется в круглый парус,
Зыбь прибрежная в корму ударит, —
И распахнутый перед тобою
Пламенный зияет океан...

Мореходная покойна мудрость, —
Капитан откинул плащ и руку
Протянул.

И вот на мокрых досках
Роза жаркая затрепыхалась...

И, пуховою всклубившись тучей,
Запах поднялся как бы от круглой
Розовой жаровни, на которой
Крохи ладана чадят и тлеют.

И в чаду и в запахе пловучем
Увидали старцы:

Закипает

В утлой комнате чужое море,
Где крутыми стружками клубится
Пена.

И медлительно и важно
Вверх плывут ленивые созвездья,
Над соленой тишиной морского
Чередой располагаясь дивной.

И в чаду и в запахе пловучем
Развернулся город незнакомый,
Пестрый и широкий.

Будто птица

К берегу песчаному прильнула,
Распустила хвост и разбросала
Крылья разноцветные, а шею
Протянула к влаге, чтоб напиться.

Проплывали облака, вставали
Волны и, дугою раскатившись,
Подымались и тонули звезды...

И сквозь этот запах и сквозь пенье
Все грубей и крепче выступали —
Утлое окно, сырые бревна
Низких стен и грубая посуда...

И когда растаял над столами
Стаей, ласковою и пловучей,
Легкий запах, влажная лежала
В черствых крошках и пролитом пиве
Брошенная роза, рассыпая
Лепестки,

А на полу огромный
Был оттиснут шаг, потекший снегом.

А в окне виднелся каменистый
Берег;

И поскрипывая в пене
Грузною дощатой колыбелью,
Вздрагивало и моталось судно.

Видно было, как взлетели сходни,
Как у ворота столпились люди,
Как толкаемые закружились
Спицы вѳрота, как из кипящей
Пены медленная выползала
Цепь, наматываясь на точеный
И вращающийся столб, а после
По борту, разъеденному солью,
Вверх пополз широколапый якорь.

И, чудесным опереньем вспыхнув,
Развернулись парусы.

И ветер
Их напруг, их выпятил, и, круглым
Выпяченным полотном сверкая,
Судно дрогнуло и загудело...

И откинулись косые мачты, —

И поет пенька,

И доски стонут,

Цепи лязгают,

И свищет пена...

Вверх взлетай,

Свергайся вниз с разбега,

Снова к тучам, грохоча и воя,

Прыгай, судно!..

Видишь — над тобою

Тучи разверзаются, и в небе

Топот,

Визг,

Сияние и грохот...

Воют воины.

На жарких шлемах

Крылья раскрываются и хлещут,

Звякают щиты, в ножнах широких
Двигутся мечи, и вверх воздеты
Пламенные копья...

Слышишь, слышишь,
Древний ворон каркает, и волчий
Вой несется!..

Из какого жбана
Ты черпал клубящееся пиво,
Сумасшедший виночерпий!

Жаркой
Горечью оно пошло по жилам,
Разгулялось в сердце,
В кровь проникло
Дрожжевою силой, вылетая
Перегаром и хрипящей песней...

И летит,
И прыгает,
И воет

Судно, —
И полощется на мачте
Тряпка черная, где человечесий
Белый череп над двумя костями...

Ветр — в полотнище,
И волны — в кузов
Вымпел — в тучу.

Поворот.
Навстречу

Высятся полярные ворота, —
И над волнами жаровней круглой
Солнце выдвигается, —

И воды
Атлантической пылают солью...

БОЛЬШЕВИКИ

(Отрывки из поэмы)

I. Отъезд

Да совершится!

По ложбинам в ржавой,
Сырой траве еще не сгнили трупы
В штиблетах и рогатых шапках.

Ветер

Горячим прахом не занес еще
Броневики, зарывшиеся в землю;
Дождь не размыл широкой колеи,
Где греческие проползали танки.

Да совершится!

Кровью иль баканом
Дощатые окрашены теплушки.
Скрежещут двери,
И навозный чад
Из сырости вагонной выплывает.

Там лошади просовывают морды
За жесткие перегородки,

Там

Они тугими топчутся ногами
В заржавленной соломе,

И, подняв
Хвосты крутые над широким крупом,
Горячие вываливают комья.

И неумелою защит рукой
В жестокую холстину,
Острым краем
Топорщась,
В темноту и тишину
Задвинут пулемет.

А дальше — медным
И звонким животом прогрохотав,
На низкую нагружена платформу
Продымленная кухня.

И поет,
Откуда-то, не разберешь откуда, —
Из будки ли, где стрелочник храпит,
Иль из теплушки, где махорка бродит, —
Скрипучая гармоника.

Уже
Размашистым написанные мелом
На крови иль бакане письма
Об Елисаветграде возвещают,
Уже по жирным рельсам просопел
Весь в нетопырьей саже и угаре
Широкозадый паровоз.

И вдруг
Толчок и свист.

Назад!
С размаха в стены
Дощатые толкаются, гремя,
Закутанные пулеметы.

Кони
Шатаются

И, растопылив ноги
И шеи вытянув,

Храпят и ржут:
И далеко, за косогором, свист,
Сверканье колес и дребезжанье

Невидимых цепей. И
И по краям,
Мигая и подпрыгивая, мчатся
Столбы,
Деревья,
Избы и овины.
Кружатся степи,
Зеленью горячей
И черными квадратами сверкая.
И снова свист.
Зеленый флаг дорогу
Свободную нам указывает.
Ветер
Клубящийся относит дым.
И вот
Бормочущей кирпичною змеей
На повороте изогнулся поезд.
Лети скорее!
Пусть гремят мосты,
Пускай коровы,
Спящие в дорожной
Траве,
Испуганно приподымают
Внимательные головы.
Пускай
Кружатся степи,
И трясутся шпалы.
Не все ль равно?
Наш путь — широк и буен!
И кажется,
Что впереди — вдали,
Привязанное натуго к вагонам,
Скрежещет наше сердце и летит
По скользким рельсам,
Грохоча и воя,
Чугунное и звонкое,
Насквозь

Проеденное копотью и дымом, —
Сопит насосами,

И сыплет искры,
И дымом истекает небывалым.

И мы,

В теплушках сбившиеся в кучу, —
Мы чувствуем,

Как лихорадка бьет,
И как чудовищный озноб колотит
Набухшее огнем и дымом сердце.

Вперед!

Крути, Гаврила!

И Гаврила

Накручивает.

И уже не поезд,
А яростный летит благовеститель —
Архангел Гавриил.

И голосит
Изъеденная копотью и ржою
Его труба.

И дымные воскрылья
Над запотевшей плещутся спиной!

II. Город

Открой окно и выгляни.

...Под ветром

Костлявые акации мотают
Ветвями, и по лужам осторожно
Подпрыгивает дождевая рябь...

И ты припоминаешь дождь и ветер,
И улицы, в акациях и лужах,
И горький запах, что идет от моря,
И голоса, и грохот колеса.

В те дни настороженные предместья
Винтовки зарывали по подвалам,

Шептались, перемигивались, ждали,
Как стая лаек, броситься готовых
В медвежий лог, чтобы рычать и грызть.
А город жил необычайной жизнью...
Огромными нарывами вспухали
Над кабаками фонари — и гулко
Нерусский говор смешивался с бранью
Извозчиков и забулдыг ночных.
Пехота иностранцев проходила
По мостовым. И голубые куртки
Морскою отливали синевой,
А фески, вспыхивая, расцветали
Не розами, а кровью. Дни за днями
По улицам на мулах, на тачанках
Свозили пулеметы, хлеб и сахар...

.
Предмесья ожидали.

На заводах

Листовки перечитывались...

Слово

О людях,двигающихся, как буря,
Входило в уши и росло в сердцах...
Но город жил в горячем перегаре
Пивных, распахнутых наотмашь, в чаде
Английских трубок, в топоте тяжелых
Морских сапог, в румянах и прическах
Беспутных женщин, в шорохе газетных
Листов и звяканьи стаканов, полных
Вином, пропахнувшим тоской и морем.

.
А в это время с севера вставала
Орда, в папахах, в башлыках, в тулупах.
Она топтала снежные дороги,
Укатанные ветром и морозом.
Она дышала потом и овчиной,
Она отогревалась у случайных
Костров и песнями разогревала
Морозный воздух, гулкий, как железо.
Здесь были все:

Румяные эстонцы,

Привыкшие к полету лыж и снегу
И туляки, чьи бороды примерзли
К дубленным кожухам, и украинцы,
Кудлатые и смуглые, и финны
С глазами скользкими, как чешуя.
На юг, на юг!..

Из деревень, забытых
В колючей хвое, из рыбацких хижин,
Из городов, где пропитался чадом
Густой кирпич, из юрт, покрытых шерстью, —
Они пошли, ладонями сжимая
Свою пятизарядную надежду,
На юг, на юг, — в горячий рокот моря,
В дрожь тополей, в раскинутые степи.
А город ждал...

ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ

(Монолог)

Я слишком слаб, чтоб латы боевые,
Иль медный шлем надеть!

Но я пройду

По всей стране свободным менестрелем,
Я у дверей харчевни запою
О Фландрии и о Брабанте милом.
Я мышью остроглазую пролезу
В испанский лагерь, ветерком провею
Там, где и мыши хитрой не пролезть.
Веселые я выдумаю песни
В насмешку над испанцами, и каждый
Фламандец будет знать их наизусть.
Свинью я на заборе нарисую
И пса ободранного, а внизу
Я напишу: вот наш король и Альба.
Я проберусь шутом к фламандским графам,
И в час, когда приходит пир к концу,
И погасают уголья в камине,
И кубки опрокинуты, — я, тихо
Перебирая струны, запою:
— Вы, чьим мечом прославлен Гравелин,
Вы, добрые владельцы поместий,
Где зреет розовый ячмень, зачем
Вы покорились мерзкому испанцу?

Настало время, и труба пропела,
От сытной пищи разжирели кони,
И дедовские боевые седла
Покрылись паутиной вековой.
И ваш садовник на шесте скрипучем,
Взамен скворешни, выставил шелом.
И в нем теперь скворцы птенцов выводят.
Прославленным мечом на кухне рубят
Дрова и колья, и копьем походным
Подперли стену у свиного хлева!.. —
Так я пройду по Фландрии родной
С убогой лютней, с кистью живописца
И в остроухом колпаке шута.
Когда ж увижу я, что семена
Взросли, и колос влагою наполнен,
И жатва близко, и над тучной нивой
Дни равноденственные протекли, —
Я лютню разобью об острый камень,
Я о колено кисть переломаю,
Я отшвырну свой шутовской колпак,
И впереди несущих гибель толп
Вождем я встану.

И пойдут фламандцы
За Тилем Уленшпигелем — вперед!
И вот с костра я собираю пепел
Отца, и этот прах непримиренный
Я в ладонку зашью и на шнурке
Себе на грудь повешу!

И когда
Хотя б на миг я позабуду долг
И увлекусь любовью или пьянством,
Или усталость овладеет мной, —
Пусть пепел Клааса ударит в сердце!
И силой новою я преисполнюсь
И новых пламенем воспламенюсь, —
Живое сердце застучит грозней
В ответ удару мертвенного пепла.

1926

(Самое интересное)

Посвящение: 1-й (прозаический)

Всех неудачным хвостом в глаза!
Хвостом тому, кто в жизни был свободным.
Как для драмы, как для жизни, как для
Три раза в году и трижды был свободным.
Он сам, он сам, он сам, он сам, он сам,
Он сам.

Он сам, он сам, он сам, он сам, он сам,

Зато ему пребудут дружественны
Писанный хлеб и прожитый похмелье,
Когда ж, омыто преданной рукой,
Его дымная палатка на мире —
Он сам, он сам, он сам, он сам, он сам,
В том, обескураженного, прикорме.

Посвящение: 2-й (прозаический)

Уж не той дур, что дана восточной
И восточной не восточной, а восточной,
Пространства же восточной и дурной,
Любимая прогулка при дурной.

ТРАКТИР

(Опыт лиро-эпической сатиры)

Посвящение 1-е (проницательное)

Всем неудачникам хвала и слава!
Хвала тому, кто в жажде быть свободным,
Как дар, хранит свое дневное право —
Три раза есть и трижды быть голодным.
Он слеп, он натывается на стены,
Он одинок.

Он ковыляет робко.
Зато ему пребудут драгоценны
Пшеничный хлеб и жирная похлебка.
Когда ж, овееяно предсмертной ленью,
Его дыханье вылетит из мира, —
Он сытое найдет успокоенье
В тени обетованного трактира.

Посвящение 2-е (романтическое)

Увы, мой друг, мы рано постарели
И счастьем не насытились вполне.
Припомним же попойки и дуэли,
Любовные прогулки при луне.

Сырая ночь окутана туманом...

Чтò из того?

Наш голос не умолк
В тех погребах, где юношам и пьяным
Не отпускают вдохновенья в долг.

Женаты мы.

Любовь нас не волнует.
Домашней лирике приходит срок.
Пора! Пора!

Уже нам в лица дует
Воспоминаний слабый ветерок.

И у сосновой струганной постели
Мы вспомним вновь в предсмертной тишине
Веселые попойки и дуэли,
Любовные прогулки при луне.

(Чердак — как чердак. Такой, на каком должен находиться поэт: разбитое оконце в паутине, груды дряни в углу и трехногий стол. От чердака к туманному небу вьется спираль лестницы, упирающейся в тучи. У стола, опустив голову на руку, сидит поэт. На авансцену выходит чтец.)

Чтец:

Сейчас пред вами, граждане, пройдут
Различные страдания поэта
И та награда, чтò ему досталась
Как результат томления и просьб.

Поэт (подымает голову):

Уже окончился день — и ночь
Надвигается из-за крыш...
Сапожник откладывает башмак
Вколотив последний гвоздь.

Неизвестные пьяницы в пивных
Проклинают, поют, хрипят,
Склерозными раками, желчью пивной
Заканчивая день...

Торговец, расталкивая жену,
Окунается в душный пух,
Свой символ веры — ночной горшок —
Задвигая под кровать...

Москва встречает десятый час
Перезваниванием проводов,
Свиданьями кошек за трубой,
Началом ночной возни...

И вот, надвинув кэпи на лоб,
И фотогеничный рот
Дырявым шарфом обмотав,
Идет на промысел вор...

И, ундервудов траурный марш
Покинув до утра,
Конфетные барышни спешат
Встречать героев кино.

Антенны подрагивают в ночи
От холода чуждых слов;
На циферблате десятый час
Отмечен косым углом...

И только мне десятый час
Ничего не приносит в дар:
Ни чая, пахнущего женой,
Ни пачки папирос.

И только мне в десятом часу
Не назначено нигде —
Во тьме подворотни, под фонарем —
Заслышать милый каблук...

А сон обволокивает лицо
Оренбургским густым платком;
А ночь насыпает в мои глаза
Голубиных созвездий пух;

И прямо из прорвы плывет,
Плывет

Витрин воспаленный строй;
Чудовищной пищей пылает ночь,
Стеклянной наледью блюд...

Там всходит огромная ветчина,
Пунцовая, как закат,
И перистым облаком влажный жир
Ее обволок вокруг.

Там яблок румяные кулаки
Вылазят вон из корзин;
Там ядра апельсинов полны
Взрывчатой кислотой.

Там рыб чешуйчатые мечи
Пылают:

«Не заплати!

Мы голову — прочь, мы руки — долой!
И кинем голодным псам!»

Там круглые торты стоят Москвой
В кремлях леденцов и слив;
Там тысячу тысяч пирожков,
Румяных, как детский сад,
Осыпала сахарная пурга,
Истыкал цукатный дождь...

А в дверь ненароком:

Стоит атлет

Средь сине-багровых туш.

Погибшая кровь быков и телят
Цветет на его щеках...

Он вытянет руку — весы не в лад
Качнутся под тягой гирь,
И нож, разрезающий сала пласт,
Летит павлиньим пером.

И пыльные буквы
«МСПО»

Расцветают сами собой
Над этой оголтелой жратвой
(Рычи, желудочный сок!..).

И голод сжимает скулы мои,
И зудом поет в зубах,
И мыльною мышью по горлу вниз
Падает в пищевод...

И я содрогаюсь от скрипа когтей,
От мышшей возни хвоста,
От медного запаха слюны,
Заливающего гортань...

И в мире остались — одни, одни,
Одни, как поход планет,
Ворота и обручи медных букв,
Начищенные огнем!

Четыре буквы:
«МСПО»,

Четыре куска огня:
Это —

Мир Страстей, Полыхай Огнем!
Это —

Музыка Сфер, Пари
Откровением новым!

Это — Мечта,
Сладострастье, Покой, Обман!

И на что мне язык, умевший слова
Ощущать, как плодовой сок?
И на что мне глаза, которым дано
Удивляться каждой звезде?

И на что мне божественный слух совы,
Различающий крови звон?
И на что мне сердце, стучащее в лад
Шагам и стихам моим?!

Лишь поет нищета у моих дверей,
Лишь в печурке юлит огонь,
Лишь иссякла свеча,

И луна плывет
В замерзающем стекле...

Чтец:

Каждый раз, как звезды станут
По старинному ранжиру,
Как вечерней стужи сырость
В омут стекол постучит, —

Вон летит —

Сквозь черепицы,
Сквозь прохладное дрожанье
Проводов,
Сквозь тучу галок
Голос бедного певца.

И в седьмом, по счету, небе
Голос вытянулся, вырос,
Натянулся,

Закачался,
Зазвенел,

Задохся,
Дрогнул,
Как стеклянная жила,

И заслышав этот голос,
Молодой планеты голос,

Провидение в раздумьи
Стало бороду чесать...

И сквозь пальцы костяные
Борода рванулась книзу, —
Вниз посыпалась сквозь пальцы
Желтым сахарным песком.

В безвоздушном океане
Грянул голос Саваофа.
Он сказал:

Голос:

Сойди, гонец послушный,
С небес на землю.
Там в пыли и прахе
Измученного отыщи певца
И за руку возьми и приведи
Его ко мне — в мой край обетованный

Дай хлеб ему небесный преломить
И омочи его гортань сухую
Вином из виноградников моих.

Дай теплоту ему и тишину
И ложе брачное приуготовь,
Чтоб он вкусил безделие и отдых.

Сойди, гонец!

Чтец:

И побежал к земле,
Крутятся волчком по лестнице спиральной,
Гонец ширококрылый.

На него
Все ближе надвигается Москва.

Ночь — точно вброд.

Тишина и темень
На крыши нахлобучены.

Костяк

Безлюдных мостовых едва осыпан
Какими-то светилами, и туго
Окручен ветром.

Лишь на тротуар
Окно парчевой скатертью ложится.

И то не всюду.

Камни лезут вверх
Уступами.

Кирпичные отроги,
Бетонные обвалы, ледники
Из камня и цемента.

Приглядись —
Покажется: альпийская звезда
Сейчас пройдет над синими горами,
Да вмиг осыплет млечная мука
Юнгфрау, и Монблан, и перекаты.

И если где-то, в пропасти, внизу
Авто затрубит, кажется (иль это,
Быть может, въявь), что медный свой рожок
Пастух возносит к пожелтевшим звездам
И щеки раздувает, и в ответ
Коровы пробегают к водопою
По мостовой, рассыпав бубенцы...
(Малиновая перекличка дальних
Церквей, задвинутых в сырую темь...)

Гонец бежит...

И не припомнишь Альп!..
Домà, домà.

И каждый камень лег
На предназначенное место.

Узкий
Свет сыплется из-за прикрытых штор —
И ночь от этого еще чернее.

И ночь — как вдрон.

Глушь и чернота.

Все ниже, ниже, в царство чердаков,
В мир черных лестниц, по кошачьим лужам
Бежит гонец.

И в паутине пыльной,
Среди помойных ведер и корзин,
Легко мелькают ясная одежда
И крылья распростертые его...

Так вот где пресловутая обитель
Голодных вдохновений!

Вот она —
Свеча, торчащая в пустой бутылке,
С которой разговаривал поэт.

Так не зевай, гонец ширококрылый,
Грянь кулаком в незапертую дверь, —
Пусть он услышит голос избавленья
От голода и от земных скорбей!..

(С т у к в д в е р ь.)

Певец:

Вот новое дело!
Ясно — гости!
Но кто? Не пойму никак.
Поэт, вероятно, прочесть стихи
И выкурить мой табак.

Двенадцатый час!

Я не привык
Принимать у себя гостей!
Но если стучат — надо открыть...
Войдите! Не бойтесь! Эй!

Чтец:

Наотмашь дверь!
И в комнату идет
Веснушчатый, вихрастый и румяный
Рассыльный из трактира.

И певец
Глядит на бойкое его лицо,

На щеки пыльные, как сок морковный,
На широко открытые глаза,
Промытые ветрами и дождем...

Певец:

Неделю не пил я — моя голова
Крепка и трезва вполне...
По какому случаю половой
Пришел на чердак ко мне?..
Кустарною розой румянец щек,
Бутылочный глянец глаз...
Что вам угодно?

Гонец:

Хозяин мой

Приглашает на ужин вас...

Певец:

По внешнему виду хозяин ваш
Трактирщиком должен быть.
Но я — не Виллон, и я не хочу
Кабачным гением слыть...

Я — просто поэт. Я пишу стихи,
Над рифмой корплю, тружусь.
Меня не читают!

Гонец:

Хозяин мой

Вас выучил наизусть...

Он вас приглашает.

Стакан вина,

Яичница, ветчина...

Подобная пища для вас вполне

Пригодною быть должна.

Теплее оденьтесь.

Осенний дождь

Вас может смочить в пути...

Певец:

Мне только бы шарфом закутать грудь
Да шапку свою найти.

Чтец:

Они идут от чердаков ночных,
От мокрых крыш,
От труб, набитых сажей.

От визга кошек,
Чтения стихов,
От колокольной болтовни, —
Все выше
По лестнице, скрутившейся в спираль.

Шатаются истертые ступени
Под их ногой.
И уцепился крепко
За пальцы провожатого певец.

Врываясь в небо, в кашу облаков,
Раскачиваема студеным ветром,
Спираль уносит в сумерки гонца
И падая, и оступаясь вниз,
И за руку вожатого хватаясь,
Поэт идет все выше,

Выше,
Выше,
От въедливого холода дрожа.

Певец:

Ну и дорога!
Скользит нога,
И ветер кидает в дрожь.
Ежели рухнешь, как ни трудись,
Костей не соберешь!

Гонец:

Не трусь! Не оглядывайся назад!
Держи за рукав меня.

Певец:

Мне страшно.
Зачем я на этот путь
Чердак свой променял!..

(Откуда-то, — может, сверху, а может, снизу, — песня.
Неизвестно, кто поет: ангелы или беспризорные.)

Песня:

Жил на свете мальчишка,
Мальчишка озорной...
Он уехал на чужбину
Из страны своей родной.

Заниматься, учиться,
Книжки разные читать,
Чтоб потом научиться,
Как людям помогать.

Чтобы стать инженером,
Музыкантом, врачом,
Командиром, рабкором,
Или красным бойцом...

А на чужбине, известно,
Люди — злыдни вполне,
И заскучал наш мальчишка
В чуждедальней стране...

Ах! Румянца уж нету,
Нету прежней красоты, —
Распоролась штиблеты,
Повылазили усы...

Ах! Трудился он сначала,
Ах! Он книжки читал.
От занятий он помалу
И чахотку споймал.

Тает он, точно свечка,
Слезы горькие льет;
Никакая мамаша
До кроватки не придет

Вам, граждaне, понятно:
Сгиб мальчишка озорной,
И его закопали
За могильной стеной.

И на гроб положили
Только шапку его,
Две учебные книжки, —
И больше ничего.

К озорному мальчишке
Уж никто не придет.
Над могилкой одинокой
Соловей пропоет...

Чтец

Конец дороге!
Лестница в провал
Обрушилась.

И перед ними враз
Раздергиваются облака, треща,
Как занавес из коленкора. Свет
От фонаря, прикрученного к двери,
Горячей пылью сыпанул в глаза.
И неуклюжей вывески квадрат
Певец разглядывает с любопытством.

Там раздраконены малярной кистью
Оранжевая сельдь на синем блюде,
Малиновая колбаса в сияньи
Яичных чашек, вставших в полукруг.
А в лакированной лазури вырос
Воздушным шаром, в белой оболочке,
Грудастый чайник — с розой на боку.

Над ними буквы бросились вразлет:
«Заезжий двор: Спокойствие сердец»,
А поглядишь в откинутую дверь,

Губу закусишь, чтоб слюна вожжою
Не потекла, чтоб не сосал язык.

Известкою и синькою по стенам
Прошла побелка, осыпая снегом
Пивные бочки, где бушует хмель,
Зажатый досками до судорог.

Трещат

Ободья от напора.

Только пальцем
Дотронешься до кляпа — и взлетят
На воздух бочки, разлетаясь желчи
Пернатой пеной, клочьями досок.

А посредине комнаты поставлен
Стол, будто слон.

И ножки у стола —
Слоновьи, каменные.

На столе ж

Кусками мрамора застыло сало;
Копченых рыб просаленная медь;
Тугих колбас кровавые дубины;
Котлы, где жирною смолой икра;
Скуластых яблок ржавь; и головастый
Голландский сыр, как сифилитик, в язвах
И в оспинах, откуда нежный гной
Стекает на расписанное блюдо.

А за столом, довольные, сидят
На стульях гости.

Чайники вокруг,

Как голуби ленивые, порхают...
И чай, журча, бежит по чашкам.

Вот

Куда пришел певец! И, как тромбон,
Гонец воскликнул:

Гонец:

О, поэт, иди!

Усядья с ними.

Все, что ты просил,

На сто процентов сделано.

Бери

Любую чашку, режь любой кусок...

Вот самая прекрасная награда, —

Других наград тебе, певец, не надо.

1932

МОНОЛОГ

из „Volpone or the fox“

Я не запомнил, как взлетала зыбка
В которой я родился.

Помню только
Большое море, бьющее с размаха
В окно, да чайки круглое крыло.

Потом я бегал мальчиком в порту,
И надо мной, украшенные дивно
То богородицами, то зверьми,
Вставали корабли.

И запах кофе,
Муската, мускуса, вина и пота,
Как облако, над мачтою витал...

Я делал все, как надо.

Я сначала
Был мальчиком на кухне, а потом
Матросом.

Я качался на канатах,
Глотал похлебку, плетъ и кулаки
Меня крестили вдоль и поперек.

Но помнил я:

Крутись змеей и ползай,
Кидайся кошкой, налетай совой,

Лисицей заметай свои следы,
Лисицей нюхай, чтоб почуять запах
Упрятанного золота.

И вот

Я до него добрался.

Да, добрался!

Я выкрал кошелек у капитана —
И убежал.

Я лавочку открыл,

Я продавал ножи, ракушки, гребни
И деньги в рост тихонько отдавал.

Ко мне стучались модницы и франты.
Я брал сто-на-сто.

Я смотрел в глаза,

И по глазам я научился сразу
Плательщиков распознавать.

Потом

Я раздобыл суденышко, в котором
Дыр было больше, чем досок,

Сумел

Его зашпаковать и выйти в море.

На Юг! На Юг!

Туда, где люд дешевле,

Чем перец и корица.

Полный тюрем

Невольниками я набил.

Я видел,

Как задыхался мой товар и мёр.

И все-таки еще живых хватило,
Чтоб заработать вдвое.

Ну, тогда

Я начал понимать всю сущность дела.

Кровь, слезы, смерть — дешёвка, чепуха,

Придуманная для детей и женщин.

Одна есть страсть —

Страсть к золоту и смерти

Из-за наживы.

Больше ничего!

Со всех сторон земли,
Гремучи и тяжки,
Ко мне в сундук текли
Чеканные кружки.

Я флибустьером был,
Я кондотьером был,
Копил, копил, копил,
Копил,
Копил,
Копил.

Большие сундуки
Закрыты навсегда.
Урод я —
Пустяки!
Дурак я —
Не беда!

От щедрости моей
Пей, прихлебатель, пей!..

(Литобработка с английского)

ДУША ПРО ОПАСАСА

(Прочти и смотри внимательно)

1933—1934

В стороне от опасности
Родная мать моя...
Куда ты сейчас идешь,
Родное дитя?

Нелюбима, незнана
Судьбы стороной,
Блудливые обаяния
Судьбы стороной...

Когда будет бой — упрямая
В правду, в вечный свет...
Ой, мать моя, не бойся —
Я говорю в ответ...

До командира являю
Ум, доскуетая я...
Из твоей же жизни
Вспомогательной...

Обязанности, обязанности
Моя жизнь короткая,
Ох, не Милорадовича
По стороне стальной...

ДУМА ПРО ОПАНАСА

(Песни к либретто оперы)

1

У стремени стального
Рыдала мать моя...
Куда ты едешь снова,
Родимое дитя?..

Некошена, нехожена
Степная сторона,
Бандитами обложена
Степная сторона...

Коль будет бой — укройся
В траву, в зеленый свет...
Ой, мать моя, не бойся, —
Я говорю в ответ...

До командира взвода
Уж дослужился я, —
Из тульского завода
Винтовочка моя!..

Объезженный, обученный
Мой коник вороной.
Он за Махно гонялся
По стороне степной...

А если пули злые
Мне в сердце попадут, —
Товарищи лихие
Взамен меня пойдут.

Не плачь же, мать родимая,
Не бейся головой!
Страна моя, сады мои —
Лежат передо мной!..

2
(Песня к лирическому оперу)

Мы спим у пулемета,
Ночуем у костра.
Веселая работа —
От ночи до утра...

Крестьянин и рабочий —
Освобожденный труд —
Встают в пожарах ночи,
И поезда ревут...

Вперед!
Простор огромен —
Ветра гудят в ушах...
Вперед — за пламя домен,
За счастье наших шахт.

За нашу гибнущую рожь —
Даешь Деникина, даешь!

От пасмурной Сибири
До ясного Днестра —
Мы спим у пулемета,
Ночуем у костра.

Качаемся на седлах,
Идем — к звену звено,

Бьем офицеров подлых
И хитрого Махно...

За кровь, за гибнущую рожь —
Даешь Деникина, даешь!..

з

Старик:

Горит Украина,
Кричит Украина, —
Могильщик-орел
На кургане стонет!
По мертвой степи
Забелелись кости.
Ветер волну
По лиманам гонит.

Припадают матери
К земле кровавой —
Сыновья убиты
И не зарыты.
Кто вспомнит о них?
Кто споет им славу? —
На черных могилах
Стучат копыта!..

Ой, нету хлеба!
Ой, нету воли —
Разбиты сохи,
Сломались грабли!..
Махно гуляет
В родимом поле —
Горелку пьет
Да играет саблей.

Махно сосет
Твою кровь густую,
Ой, Украина,
Моя Украина!
Дочь обнимает.

Отца убивает,
К черным делам
Подстрекает сына.

Гей, собирайтесь,
Добрые люди!
Ружья берите —
И прогоните!..

4

Шли телеги с юга
На закат великий.
Ой, стонали оси,
Ой, шумели травы!
А солдат убитый,
Пулями пробитый,
При большой дороге
Погребен без славы.

Выходил он в поле
За солдатской долей —
Житняком питался,
Дождем умывался.
Ночевал под стогом,
Шагал по дорогам,
У встречного люда
Правды добивался:

«Где, скажите, люди,
Наша правда будет, —
Солдатская правда,
Корявая правда?
Может, спит, бедняга,
Под старым забором,
Может, умирает
За тем косогором...»

Встречь ему гетман
С бурею да с ветром, —

Ус по [ветру] бьется,
Оселедец вьется, —
В бок руки уперты,
Фасон, как у чорта,
Сапоги со звоном,
Огонь по погонам...

«Твоей правды нету,
Исчезла со свету.
Ее ветры сдули,
Истыкали пули!
Иди ко мне в сотню,
Без правды вольготней,
В голове — прохладней,
Да в сердце отрадней...»

Плюнул солдат с горя
И дальше потопал, —
Затянулся горькой
Овечьей махоркой...
Встречь ему Петлюра —
Казацкая шкура, —
В руках — по бутылке,
Шапка на затылке.

«Твоя правда, братец,
В кабаке забыта,
Пропита братвою,
Съедена с жратвою.
Лучше сам напейся,
Спляши да засмейся,
Топни каблуком
Да тряхни головою!...»

5

Меня качала в зыбке мать,
Меня слеза ее прожгла.
Уж никогда не вылезать
Мне из казацкого седла...

Я сам пожары раздувал,
Я хлеб крестьянский поджигал.
Мне лихо подали стакан,
Я отхлебнул —

И вот я пьян...

Покамест пуля не пробьет, —
Лети вперед,

Лети вперед!

Покамест сабельный удар
Наотмашь не сразит меня, —
В жужжанье пуль,
В степной пожар —
Гони коня!

Меня крестьяне проклянут:
Убийца,

Лодырь,

Конокрад!

Глаза крестьянки отвернут:
Постылый, уходи назад!

Мой труп полынью зарастет —
Вокруг прохладно и темно...
И ворон весть не принесет
К моей невесте под окно...

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

(Песня к радиокomпозиции)

Туманом поле полнится,
Качаются цветы,
Нам в темя светит солнце
С горячей высоты.

Мы нынче в путь суровый
В далекий путь идем, —
Идем за Примаковым,
Червонным казаком...

Мы саблями добудем
Такой веселый мир,
Где подневольным людям
Раскинут пышный пир.

Деникина мы скинем
С расшитого седла, —
Петлюру опрокинем
Мы посередь села.

Тревожней нету часа,
Чем этот грозный час!
Послушаем Тараса,
Что говорит Тарас?

Навстречу мчатся пули —
Пчелиный звонкий дождь.
Послушаем,
 Что скажет
Наш сивоусый вождь!

Не ведающий страху, —
Забыв былую лень,
Кудлатую папаху
Он сдвинул на бекрень;

Усы он расправляет,
Стирает пот с лица, —
Берет он саблю молча
У мертвого бойца, —

И, закружившись в гике,
Летит в густую пыль,
Летит

 На вражьи пики —
В серебряный ковыль...

ФЕВРАЛЬ

Вот я снова на этой земле.

Я снова
Прохожу под платанами молодыми,
Снова дети бегают у скамеек,
Снова море лежит в пароходном дыме...

Вольноопределяющийся, в погонах,
Обтянутых разноцветным шнуром, —
Это я — вояка, герой Стохода,
Богатырь Мазурских болот, понуро
Ковыляющий в сапогах корявых,
В налезавшей на затылок шапке...

Я приехал в отпуск, чтоб каждой мышцей,
Каждой клеточкой принимать движение
Ветра, спутанного листвою,
Голубиную теплоту дыханья
Загорелых ребят, перебежку пятен
На песке и соленую нежность моря...

Я привык уже ко всему: оттуда,
Откуда я вырвался, мне обычным
Казался мир, прожженный снарядам,
Пробитый штыком, окруженный туго
Колючей проволокой, постыло
Воняющий потом и кислым хлебом...

И должен найти в этом мире угол,
Где на гвоздике чистое полотенце
Пахнет матерью, подле крана — мыло,
И солнце, бегущее сквозь окошко,
Не обжигает лицо, как уголь...

Вот снова я на бульваре.

Снова

Иван-да-Марья цветет на клумбах,
Человек в морской фуражке читает
Книгу в малиновом переплете;
Девочка в юбке выше колена
Играет в дьяболо; на балконе
Кричит попугай в серебряной клетке.

И я теперь среди них как равный,
Захочу — сижу, захочу — гуляю,
Захочу (если нет вблизи офицера) —
Закурю, наблюдая, как вьется плавный
Лист над скамейками, как летают
Ласточки мимо часов управы...

Самое главное совершится
Ровно в четыре.

Из-за киоска

Появится девушка в пелеринке, —
Раскачивая полосатый ранец,
Вся будто распахнутая дыханью
Прохладного моря, лучам и птицам,
В зеленом платье из невесомой
Шерсти, она всплывает, как в танец,
В круженье листьев и в колыханье
Цветов и бабочек над газоном.

Домой из гимназии...

Вместе с нею —

Откуда-то, из позабытого мира,
Кружась, летят звонки перемены,
Шопот подруг, ангелок с тетради
И топот учителя в коридоре.

Пред ней платаны поют, а сзади
Ее, хрипя, провожает море...

Я никогда не любил, как надо...
Маленький иудейский мальчик —
Я, вероятно, один в округе
Трепетал по ночам от степного ветра.

Я, как сомнамбула, брел по рельсам
На тихие дачи, где в колючках
Крыжовника или дикой ожины
Шелестят ежи и шипят гадюки,
А в самой чаще, куда не влезешь,
Шныряет красноголовая птичка
С песенкой тоненькой, как булава,
Прозванная «Воловьим глазом»...

Как я, рожденный от иудея,
Обрезанный на седьмые сутки,
Стал птицеловом — я сам не знаю!

Крепче Майн-Рида любил я Брэма!
Руки мои дрожали от страсти,
Когда наугад раскрывал я книгу...
И на меня со страниц летели
Птицы, подобные странным буквам,
Саблям и трубам, шарам и ромбам.

Видно, созвездье Стрельца застряло
Над чернотой моего жилища,
Над пресловутым еврейским чадом
Гусиного жира, над зубрежкой
Скучных молитв, над бородачами
На фотографиях семейных...

Я не подглядывал, как другие,
В щели купален.

Я не старался
Сверстницу ушипнуть случайно...
Застенчивость и головокруженье

Томили меня.

Я старался боком
Перебежать через сад, где пели
Девочки в гимназических платьях...

Только забывшись, не замечая
Этого сам, я мог безраздумно
Тупо смотреть на голые ноги
Девушки.

Стоя на табурете,
Тряпкой она вытирала стекла...

Вдруг засвистело стекло по-птичьи —
И предо мной разлетелись кругом
Золотые овсянки, сухие листья,
Болотные лужицы в незабудках,
Женские плечи и птичьи крылья,
Посвист полета, журчанье юбок,
Щелканье соловья и песня
Юной соседки через дорогу, —
И, наконец, все ясней, все чище,
В мире обычаев и привычек,
Под фонарем моего жилища
Глаз соловья на лице девичьем...

Вот и сейчас, заглянув под шляпу,
В слабой тени я глаза увидел.
Полные соловьиной дрожи,
Они, покачиваясь, проплывали
В лад каблукам, и на них свисала
Прядка волос, золотясь на коже...

Вдоль по аллее, мимо газона,
Шло гимназическое платье,
А в сотне шагов за ним, как убийца,
Спотыкаясь о скамьи и натываясь
На людей и деревья, шепча проклятья,
Шел я в больших сапогах, в зеленой
Засаленной гимнастерке, низко
Остриженный на военной службе,

Еще не отвыкший сутулить плечи —
Ротный ловчило, еврейский мальчик...

Она заглядывала в витрины,
И средь прозрачных шелков и склянок
Таинственно, не по-человечьи,
Отражалось лицо ее водяное...

Она останавливалась у цветочниц,
И пальцы ее выбирали розу,
Плававшую в эмалированной миске,
Как маленькая махровая рыбка.

Из колониального магазина
Потягивало жженым кофе, корицей,
И в этом запахе, с мокрой розой,
Над ворохами листвы в корзинах,
Она мне казалась чудесной птицей,
Выпорхнувшей из книги Брэма...

< >
А я уклонялся, как мог, от фронта...
Сколько рублевок перелетало
Из рук моих в писарские руки!
Я унтеров напайвал водкой,
Тащил им папиросы и сало...
В околосок из околоска,
Кашляющий в припадке плеврита,
Я кочевал.

Я пыхтел и фыркал,
Плевал в бутылки, пил лекарство,
Я стоял нагишом, худой и небритый,
Под стетоскопами всех комиссий...

Когда же мне удавалось правдой
Или неправдой — кто может вспомнить? —
Добыть увольнительную записку,
Я начищал сапоги до блеска,
Обдергивал гимнастерку — и бойко
Шагал на бульвар, где в платанах пела
Голосом обожженной глины

Иволга, и над песком аллеи
Платье знакомое зеленело,
Покачиваясь, как дымок недлинный...

Снова я сзади тащился, млея,
Ругаясь, натываясь на скамьи...
Она входила в кинематограф,
В стрекочущую темноту, в дрожанье
Зеленого света в квадратной раме,
Где женщина над погасшим камином
Ломала руки из алебаstra,
И человек в гранитном пластроне
Стрелял из безмолвного револьвера...

Я знал в лицо всех ее знакомых,
Я знал их повадки, улыбки, жесты.
Замедленный шаг их, когда нарочно
Стараяешься грудью, бедром, ладонью
Почувствовать через покров непрочный
Тревожную нежность девичьей кожи...

Я все это знал...

Улетали птицы...

Высыхала трава...

Погибали звезды...

Девушка проходила по свету,
Собирая цветы, опустив ресницы...
Осень...

Дождями пропитан воздух,

Осень...

Грусти, погибай и сетуй!

Я сегодня к ней подойду.

Я встану

Перед ней.

Я не дам ей свернуть с дороги.

Достаточно беготни.

[Мужайся!]

Возьми себя в руки.

Кончай волынку!

Заколочен киоск...

У часов управы

Суется голуби.

Скоро — четыре.

Она появилась за час до срока, —

Шляпа в руках...

Рыжеватый волос,

Просвеченный негреющим солнцем,

Реет у щек...

Тишина.

И голос

Синицы, затерянной в этом мире...

Я должен к ней подойти.

Я должен

Обязательно к ней подойти.

Я должен

Неприменно к ней подойти.

Не думай,

Встряхнись — и в догонку.

Довольно бреда!..

А ноги мои не сдвигались с места,

Как будто каменные.

А тело

Как будто приковалось к скамейке.

И встать невозможно...

Бездельник! Шляпа!

А девушка уже вышла на площадь,

И в темносером кругу музеев

Платье ее, летящее с ветром,

Казалось тоньше и зеленее...

Я оторвался с таким усилием,

Как будто накрепко был привинчен

К скамье.

Оторвался — и без оглядки

Выбежал за нею на площадь.

Все, о чем я читал ночами,
Больной, голодный, полуодетый, —
О птицах с нерусскими именами,
О людях неизвестной планеты,
О мире, в котором играют в теннис,
Пьют оранжад и целуют женщин, —
Все это двигалось предо мною,
Одетое в шерстяное платье,
Горящее рыжими завитками,
Покачивающее полосатым ранцем,
Перебирающее каблучками...

Я положу на плечо ей руку:
«Взгляни на меня!

Я — твоё несчастье!

Я обрекаю тебя на муку
Неслыханной соловьиной страсти!
Остановись!..»

Но за поворотом —

В двадцати шагах зеленеет платье.
Я ее догоняю.

Еще немного

Напрягусь — мы зашагаем рядом...

Я козыряю ей, как начальству.
Что ей сказать? Мой язык бормочет
Какую-то дребедень:

— Позвольте...

Не убегайте... Скажите, можно
Вас проводить? Я сидел в окопах!..

Она молчит.

Она даже глазом

Не поведет.

Она убыстрят

Шаги.

А я рядом бегу, как нищий,
Почтительно нагибаясь.

Где уж

Мне быть ей равным!..

Я как безумный
Бормочу какие-то фразы сдуру...

И вдруг остановка...

Она безмолвно
Поворачивает голову — я вижу
Рыжие волосы, сине-зеленый
Глаз и лиловатую жилку
На виске, дрожащую в напряжении...
— Уходите немедленно, — и рукою
Показывает на перекресток...

Вот он —
Поставленный для охраны покоя —
Он встал на перепутьи, как царство
Шнуров, начищенных блях, медалей,
Задвинутый в сапоги, а сверху —
Прикрытый полицейской фуражкой,
Вокруг которой кружат в сиянии,
Желтом и нестерпимом до пытки,
Голуби из святого писанья
И тучи, закрученные как улитки...
Брюхатый, сияющий жирным пдтом
Городовой.

С утра доотвала
Накачанный водкой, набитый салом...

< >

Студенческие голубые фуражки;
Солдатские шапки, треухи, кэпи;
Пар, летящий из мерзлых глоток;
Махорка, гуляющая столбами...

Круговорот полушубков, чуек,
Шинелей, воняющих кислым хлебом,
И на кафедре, у большого графина —
Совсем неожиданного в этом дыме —
Взволнованный человек в нагольном
Полушубке, в рваной косоворотке

Кричит сорвавшимся от напряжения
Голосом и свободным жестом
Открывает объятья...

Большие двери

Распахиваются.

Из февральской ночи
Входят люди, гримасничая от света,
Топчутся, отряхают иней
С полушубков — и вот они уже с нами, —
Говорят, кричат, поднимают руки,
Проклинают, плачут.

Сопенье, кашель,

Толкотня.

На хорах трещат перила
Под напором плеч.

И, взлетая кверху,
Пятерни в грязи и присохшей крови
Встают, как запачканные светила...

В эту ночь мы пошли забирать участок...
Я, мой товарищ студент и третий —
Рыжий приват-доцент из эсеров.

Кровью мужества наливается тело,
Ветер мужества обдувает рубашку.
Юность кончилась...

Начинается зрелость...

Грянь о камень прикладом! Сорви фуражку!

Облик мира меняется.

Нынче утром
Добродушно шумели платаны.

Море

Поселилось в заливе.

На тихих дачах
Пели девушки в хороводах.

В книге

Доктор Брэм отдыхал, прислонив централку
К валуну.

Мой родительский дом светился
Язычками свечей и библейской кухней...

Облик мира меняется...

Этой ночью

Гололедица покрывает деревья,
Сучья лезут в глаза, как живые.

Море

Опрокинулось над пустынным бульваром.
Пароходы хрипят, утопая.

Дачи

Заколочены.

На пустынных террасах

Пляшут крысы.

И Брэм, покидая книгу,

Подымает ружье на меня с угрозой...

Мой родительский дом разворован.

Кошка

На холодной плите поднимает лапки...

Юность кончилась нынче... Покой далече...

Ноги шлепают по воде.

Проклятье!

[Подыми] воротник и закутай плечи!

Что же! Надо итти!

Не горюй, приятель!

Дождь!

Суетливая перебранка

Воронья на акациях.

Дождь.

Из прорвы

Катящие в ацетиленовом свете

Мотоциклисты.

И снова черный

Туннель — без конца и начала.

Ветер,

Бегущий неизвестно куда.

По лужам

Шагающие патрули.

И снова —

Дождь.

Мы одни — в этом мокром мире.

Натыкаясь на тумбы у подворотен,
Налезая один на другого, камнем
Падая на мостовую, в полночь
Мы добрались до участка...

Вот он

Каменный ящик, закрытый сотней
Ржавых цепей и пудовых крючьев, —
Ящик, в который понабивались
Лихорадка, тифозный озноб, запойный
Бред, бормотанье молитв и песни...

Херувимы, одетые в шаровары,
Стояли подле ворот на страже,
Словно усатые самовары,
Один другого тучней и ражей...

Откуда-то изнутри, из прорвы,
Шипящей дождем, вырывался круглый
Лошадиный хрип и необычайный
Заклинательный клич петуха...

Привратник

Нам открыл какую-то щель.

И снова

Загремели замки, закрывая выход...

Мы прошли по коридорам, похожим
На сновиденья.

Кривые лампы

Качались над нами.

По стенам кверху,

К продавленному потолку, избегали,
Сбиваясь в комки, раскрутясь в спирали,
Косые тени..

На длинных скамьях,

Опершись подбородками на эфесы
Сабель, похрапывали городовые...
И весь этот лабиринт сходил

К дубовым воротам, на которых
Висела квадратная карточка: «Пристав»!!.

Розовый, в лазоревых бакенбардах,
Разлетающихся от легчайшего дуновения,
Подобно ангелу с гимназической тетради,
Он витал над письменным прибором,
Сработанным из шрапнельных стаканов,
Улыбаясь, тая, изнемогая
От радушия, от нежности, от счастья
Встречи с делегатами комитета...

А мы... стояли, переминаясь
С ноги на ногу, пачкая каблуками
Невероятных лошадей и попугаев,
Вышитых на ковре...

Нам, конечно,
Было не до улыбок.

Довольно...
Сдавай ключи — и катись отсюда к чорту!
Нам не о чем толковать.

До свиданья...

Мы принимали дела.

Мы шлЯлись
По всем закоулкам.

В одной из комнат
В угол навалены были грудой,
Как картофель, браунинги и наганы.
Мы приняли их по счету.

Утром,
Полусонные, разомлев от ночной работы,
Запачканные участковой пылью,
Мы добыли арестантский чайник —
Жестяной, заржавленный, и пили,
Обжигаясь и шлепая губами,
Первый чай победителей, чай свободы...

Голубые дожди омывали землю,
По ночам уже начиналось тайно

Мужественное цветенье каштанов.
[Просыхала земля...]

Разогретой солью

Дуло с берега...

В раковине оркестра,
Потерявшейся в гуще платанов,
Марсельеза, приподнятая смычками,
Исчезала среди фонарей и листьев.

Наша улица, вымытая до блеска
Летним ливнем, улетала к заливу,
Подымавшемся, как забор зеленый —
Строй платанов, вытянутый на диво.
И на самом верху, в завитушках пены,
Чуть заметно покачивался картонный
Броненосец «Синоп».

И на сизой туче
Червяком огня извивался вымпел...
Опадали акации.

Невидимкой
Дух гниющих цветов пробирался в море,
И матросы отплясывали в обнимку
С полногрудыми девками из слободки.

За рыбацкими куренями, на склонах
Перевалов, поросших клочкастой мятой,
Под разбитыми шляпками, у снесенных
Купален, отчаянные ребята —
Дезертиры в болтающихся погонах —
Дулись в двадцать одно, в карася, в солдата,
А в пещере посапывал, как теленок,
Змеевик самогонного аппарата.

Я остался в районе...

Я стал работать
Помощником комиссара...

Вначале
Я просиживал ночи в сырых дежурках,
Глядя на мир, проходивший мимо,
Чуждый мне, как явления иной природы.

Из косых фонарей, из густого дыма
Проступали невиданные уроды...

Я старался быть вездесущим...

В бричке

Я толочся по деревенским дорогам
За конокрадами.

Поздней ночью

Я вылетал на моторной гичке
В залив, изогнувшийся черным рогом
Среди камней и песчаных кочек.
Я вламывался в воровские квартиры,
Воняющие пережаренной рыбой.
Я появлялся, как ангел смерти,
С фонарем и револьвером, окруженный
Четырьмя матросами с броненосца...
(Еще юными. Еще розовыми от счастья.
Часок не доспавшими после ночи.
Набекрень — бескозырки. Бушлаты — настезь.
Карабины под мышкой. И ветер — в очи.)

Моя иудейская гордость пела.
Как струна, натянутая доотказа...
Я много дал бы, чтобы мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке,
Из-под которой седой спиралью
Спадают пейсы, и перхоть тучей
Взлетает над бородой квадратной...
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками
Грузовика, потрясшего полночь...

< >

Я вздрогнул.

Звонок телефона

Скрежетнул у самого уха...

— Комиссара? Я. Чтò вам?

И голос, запятанный в трубке,

Рассказал мне, что на Ришельевской,
В чайном домике генеральши Клеменц,
Соберутся Семка Рабинович,
Петька Камбала и Моня Бриллианщик, —
Железнодорожные громилы,
Кинематографические герои, —
Бандиты с чемоданчиками, в которых
Алмазные сверла и пилы,
Сигарета с дурманом для соседа...
Они легали по вагонным крышам,
В крылатках, раздуваемых бурей,
С револьвером в рукаве фрака,
Обнимали сторублевых гурий,
И нынче у генеральши Клеменц —
Им будет крышка.

Баста!

В караулке ребята с броненосца
Пили чай и резались в шашки.
Их полосатые фуфайки
Морщились на мускулатуре...
Розовые розоватостью детства,
Большерукие, с голубыми глазами,
Они передвигали пешки
Восторженно с места на место,
Моргали, шевелили губами,
Задумчиво, без малейшей усмешки.
Подпевали, притопывая каблуками...

Мы взгромоздились на дрожки,
Обнимая за талии друг друга,
И остроугольная кляча
Потащила нас в теплую темень...

Нужно было сунуть револьвер
В щелку ворот, чтобы дворник,
Зевая и подтягивая брюки,
Открыл нам калитку.

[Молча]

Мы взошли по красной дорожке,

Устилавшей лестницу.

К двери

Подошел я один.

Ребята,

Зажав меж колен карабины,
Вплотную прижались к стенке.

Все, как в тихом приличном доме...

Лампа с темносиним абажуром

Над столом семейным.

Гардины,

Стулья с мягкой спинкой.

Пианино,

Книжный шкаф, на шкафе — бюст Толстого.

Доброта домашнего уюта

В теплом воздухе.

Над самоваром

Легкий пар,

На чайнике накидка

Из плетеной шерсти — все в порядке...

Мы вошли, как буря, как дыханье

Черных улиц, ног не вытирая

И не сняв бушлатов.

Нам навстречу,

Кланяясь и потирая нервно

Руки в кольцах, выкатилась дама

В ларике, засыпанная пудрой.

Жирная, с отвислыми щеками...

— Антонина Яковлевна Клеменц!

Это вы? — Мы к вам пришли по делу, —

Я сказал, распахивая двери.

За столом велась беседа.

Трое

Молодых людей в земгусарской форме,

Барышни, смеющиеся скромно.

На столе — пирожные, конфеты.

Я вошел и стал в изумлении...
Чорт возьми! Какая ошибка!
Какой это чайный домик!
Друзья собрались за чаем.
Почему же я им мешаю?...
Мне бы тоже сидеть в уюте,
Разговаривать о Гумилеве,
А не шляться по ночам, как сыщик,
Не врываться в тихие семейства
В поисках неведомых бандитов...

Но какой-то из моих матросов
Подошел к столу — и мрачным басом
Проворчал:

— Вот этих трех я знаю.

Руки вверх!

Берите их, ребята!..

Где четвертый?.. Барышни в сторонку!..

И пошло.

И началось.

На совесть.

У роскошных земгусар мы сняли
Кобуры с наганами.

Конечно,

Это были те, за кем мы гнались...

Мы загнали их в чулан.

Закрыли —

И приставили к ним караул.

Мы толкали двери.

Мы входили

В комнаты, наполненные дрянью...

Воздух был пропитан душной пудрой,

Человечьим семенем и сладкой

<Одурью> ликера.

Сквозь томленье

Синего тумана пробивался

Разомлевший, еле-еле видный

Отсвет фонаря... (как через воду).

На кровати, узкие, как рыбы,
Двигались тела под одеялом...
Голова мужчины подымалась
Из подушек, как из круглой пены...
Мы просматривали документы,
Прикрывали двери, извиняясь,
И шагали дальше.

Снова сладким
Воздухом нас обдавало.

Снова
Подымались головы с подушек
И ныряли в шелковую пену...

В третьей комнате нас встретил парень
В голубых кальсонах и фуфайке.
Он стоял, расставив ноги прочно,
Медленно покачиваясь торсом
И помахивая, как перчаткой,
Браунингом... Он мигнул нам глазом:
— Ой! Здесь целый флот! Из этой пушки
Всех не перекоцаешь. Я сдался...

А за ним, откинув одеяло,
Голоногая, в ночной рубашке,
Сползшей с плеч, кусая папироску,
Полусонная, сидела молча
Та, которая меня томила
Соловьиным взглядом и полетом
Туфелек по скользкому асфальту...

< >

— Уходите! — я сказал матросам..
Кончен обыск! Заберите парня!
Я останусь с девушкой!

Громоздко
Постучав прикладами, ребята
Вытеснились в двери.

Я остался.
В душной полутьме, в горячей дреме

С девушкой, сидящей на кровати...
— Узнаете? — но она молчала,
Прикрывая легкими руками
Бледное лицо.

— Ну что, узнали?

Тишина.

Тогда со зла я брякнул:
— Сколько дать вам за сеанс?

И тихо,

Не раздвинув губ, она сказала:

— Пожалей меня! Не надо денег...

Я швырнул ей деньги.

Я ввалился,
Не стянув сапог, не сняв кобуры,
Не расстегивая гимнастерки,
Прямо в омут пуха, в одеяло,
Под которым бились и вздыхали
Все мои предшественники, — в темный
Неразборчивый поток видений,
Выкриков, развязанных движений,
Мрака и неистового света...

Я беру тебя за то, что робок
Был мой век, за то, что я застенчив,
За позор моих бездомных предков,
За случайной птицы щебетанье!

Я беру тебя, как мщенье миру,
Из которого не мог я выйти!

Принимай меня в пустые недра,
Где трава не может завязаться, —
Может быть, мое ночное семя
Оплодотворит твою пустыню.

Будут ливни, будет ветер с юга,
Лебедей влюбленное ячанье.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Поэма «Февраль» была последней вещью Эдуарда Багрицкого, над которой он работал в течение зимы 1933—34 года, до самой смерти.

Текст поэмы содержится на 78 страницах общей тетради обыкновенного формата. Поэма написана преимущественно карандашом, со многими карандашными и чернильными поправками и с большим числом зачеркнутых вариантов. Некоторые страницы целиком исписаны чернилами.

Транскрипцией текста установлено, что поэма вчерне была доведена до конца (стр. 1—41). На стр. 1—33 тетради находится первоначальный, черновой вариант начала поэмы, которая переписана во второй редакции на стр. 42—78. Со стр. 33 по стр. 42 идет окончание поэмы, существующее только в первоначальной редакции.

Мы даем сводный текст поэмы. Сравнение двух редакций начала поэмы свидетельствует о том, что большого отличия в сюжете второй редакции нет, но она более доработана в стилистическом отношении.

В рукописи поэмы нет заглавия, и оно дано на основании сохранившегося договора на издание книги, в которую должны были быть включены три поэмы. Поэма «Февраль» представляет собой первую часть этой неосуществленной трилогии. (Ср. книгу Э. Багрицкого «Последняя ночь», М., 1932.)

Транскрипция текста поэмы не потребовала конъектур, за исключением одного слова, которое, к сожалению, осталось непрочитанным. Мы даем здесь предположительное чтение (см. стр. 140, строка 5 снизу):

Воздух был пропитан душиной пудрой,
Человечьим семенем и сладкой
<Одурью> ликера...

Все слова, зачеркнутые автором и не замененные другими, нами даны в квадратных скобках.

В одном случае мы взяли второй из равноправных (зачеркнутых поэтом) вариантов (стр. 128, строка 3-4 снизу):

Достаточно беготни. [Будь твердым]. [Мужайся].

Тут же, на полях, против строк 1—8 (снизу) автором сделана карандашная пометка: «Исправить».

На стр. 127, между строками 16 и 17 сверху, находится пометка автора: «Песня» (оставшаяся ненаписанной). Этот пропуск отмечен строкой многоточия (в ломаных скобках). Аналогичный случай — на стр. 141, после 8 строки снизу пометка автора: «Вставка (лирическая)».

На стр. 131, после строки 10-й снизу, имеется совершенно недоработанный и зачеркнутый автором кусок. Мы опускаем его в сводном тексте и фиксируем незначительный временный разрыв в сюжете поэмы многоточием (в ломаных скобках).

Так же отмечено нами место слияния начала поэмы во второй редакции и конца поэмы в первой редакции — на стр. 137.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАНИВА ДЛЯ БИОГРАФИИ Э. БАГРИЦКОГО

1895 г.

4 ноября (по нов. стилю) в Одессе, на Базарной (ныне — Кооперативной) ул., д. 40, родился Эдуард Дзюбин (Багрицкий).

1905 г.

Год поступления в реальное училище.

1908 г.

Первые литературные опыты. Школьный журнал.

1913 г.

Переход в землемерное училище.

1915 г.

Стихи («Суворов» и др., в том числе и подписанные *Нина Воскресенская*) в альманахах «Серебряные трубы» и «Авто в облаках».

1916 г.

Стихи в альманахе «Седьмое покрывало» (Одесса).

1917 г.

Работа в милиции.

Стихи в альманахе «Чудо в пустыне».

Отъезд в Персию (действующая армия).

1918 г.

Возвращение с Персидского фронта (февраль).

Участие в сатирической прессе (журн. «Перо в спину», «Яблочко»).

1919 г.

Э. Багрицкий в партизанском отряде им. ВЦИК (апрель—июнь).

1920 г.

Работа в Югроста (устгазета, выступления в рабочих клубах).
Лит. кружок «Коллектив поэтов».

Написана поэма «Харчевня».

Поездка с агитпоездом «III Интернационал».

1921 г.

Стихи в «Одесских известиях», «Моряке» и др. изданиях.

Написана поэма «Трактир».

1922 г.

Работа с поэтами-рабочими в литкружке «Потоки Октября» при жел.-дор. Январских мастерских (Одесса).

1925 г.

Переезд в Москву (Кунцево).

Вступление в лит. группу «Перевал».

В журн. «Красная новь» напечатана «Баллада об арбузе».

1926 г.

Написана «Дума про Опанаса» (впервые опубликована в «Комсомольской правде»).

Выход из «Перевала», вступление в «Литературный центр конструктивистов».

1927 г.

Написаны: «Контрабандисты» (журн. «Новый мир»), «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» (журн. «Молодая гвардия»).

1928 г.

В ЗИФе вышла первая книжка стихов — «Юго-Запад».

1929 г.

Написаны «Стихи о себе».

1930 г.

Выход из «ЛЦ конструктивистов», вступление в РАПП.

Начало систематической работы с поэтической молодежью.

Написаны: «Происхождение», «ТБЦ».

1932 г.

Написаны: «Последняя ночь», «Человек предместья», «Смерть пионерки», либретто «Думы про Опанаса».

Отдельными изданиями вышли: «Победители» (изд. ГИХЛ), «Последняя ночь» (изд. «Федерация»), «Избранные стихи» (изд. «Федерация»).

1933 г.

Написана радиокomпозиция «Тарас Шевченко».

Начата поэма «Февраль».

В «Годе XVI» (ред. М. Горький) опубликовано либретто «Думы про Опанаса».

Подготовлен к печати «Однотомник» (выпущен изд. «Советская литература» в 1934 г.).

1934 г.

16 февраля умер Э. Багрицкий.

ВОСПОМИНАНИЯ

Сидорова Анна Павловна (1878-1948) — уроженка села Сидорово, ныне в составе г. Ленинграда. До войны жила в Ленинграде, после — в эвакуации в деревне.

Я вспоминаю ее как добрую, открытую, веселую женщину. Она была очень любима всеми, кто ее знал. В ее доме всегда было много гостей. Она любила читать, особенно поэзию. В ее доме всегда было много книг. Она любила слушать музыку. В ее доме всегда было много музыки.

Сидорова Анна Павловна была очень интересной женщиной. Она была очень любима всеми, кто ее знал. В ее доме всегда было много гостей. Она любила читать, особенно поэзию. В ее доме всегда было много книг. Она любила слушать музыку. В ее доме всегда было много музыки.

Она была очень интересной женщиной. Она была очень любима всеми, кто ее знал. В ее доме всегда было много гостей. Она любила читать, особенно поэзию. В ее доме всегда было много книг. Она любила слушать музыку. В ее доме всегда было много музыки.

СИЛА ЖИЗНИ

Обычно бывало так: раздавался телефонный звонок, и приглушенный голос Эдуарда Багрицкого приглашал зайти к нему:

— Почитаю стихи. Попьем чайку. Поговорим «за жизнь». На двери у меня висит объявление. Ты его внимательно прочти и позвони.

Я поднимался по лестнице — нас разделяли два этажа. На наружной двери действительно висело «объявление»: «Багрицкий болен, просит не беспокоить», — противоядие против бесчисленных посетителей, знакомых и незнакомых. Объявление успокаивало: вероятно, можно спокойно провести вечер...

Спокойно! Но на стене неумолчно дребезжал телефон. Но десятки людей знали тайну «объявления». Но беспрестанно отворялась и затворялась дверь. Багрицкий встречал непрошенных гостей наивно-простодушно, хитро улыбался, покашливал, затягивался астматолом. Он сидел на диване, скрестив по-турецки ноги, ворот рубашки был растегнут, спутанные пряди седых волос спадали на лоб.

Он окружил себя сетью легко разгадываемых уловок, которые должны были уберечь его покой: вывешивал «объявления», говорил по телефону женским голосом, столковывался с домашними о «паролях». Не помогало ничего! Но если бы и помогло, если бы день-другой ему удалось провести в одиночестве, — он сам начисто снял бы все немудреные запреты и ограничения.

В последние годы жизнь физически ускользала от него. Все более суживался круг мест, куда он мог пойти, людей, которых он мог увидеть вне своей квартиры, предметов, которых он мог коснуться. Врачи, которые лечили его в дни последней болезни, установили, что медицине не на что было опереться в его организме. Большой, грузный, неподвижный, он в часы ночной бессонницы, между приступами астматического кашля, глядел на зеленое мерцание аквариумов, заслонявших от него окно, и сквозь них — на электрическое зарево Москвы, тоже окрашивавшееся в зеленый цвет. Зеленоватым становилось для него и голубое небо дня. Мир Диделя, «зеленый снизу, голубой и синий сверху», физически для него уже не существовал.

В 1933 году он смотрел в театре им. Вахтангова, особенно ему близком, «Егора Булычева». Социальная проблематика пьесы отодвинулась для него на второй план. Критики толкуют о капитализме, не обращая внимания на то, что Егор хочет жить и не хочет умирать...

В образе Булычева и в трактовке образа у артиста Щукина его особенно поразила неистовая, биологически непреодолимая жажда жизни — во что бы то ни стало и наперекор всему.

Его собственная болезнь была для него тем тяжелее, что именно в последние годы он не только «приблизился» к социалистической действительности, но и впервые за всю свою жизнь принял ее без оговорок — с начала до конца.

Багрицкий был глубоко-скрытен. Он мало говорил о себе, часто поступки, игравшие переломную роль в его жизни, шутливо объяснял какими-то косвенными, второстепенными причинами.

— Там нужны стихи о березках, а у меня написано о дубах, — отшучивался он, когда его спрашивали, почему он ушел из «Перевала».

Но стоило только его прежним товарищам оспорить жизненную правильность его шага, как он собирался в комок, сосредоточивался, замирал — и совершал полемический прыжок. Один из таких прыжков запечатлен во «Вмешательстве поэта», направленном против «перевальской» критики:

Я, словно исполинский плимутрок,
Закидываю шею. Кличет рог, —
Крылами раз! — и на забор с размаха.
О, злобное петушье бытие!
Я вылинял! Да здравствует победа!
И лишь перо погибшее мое
Кружится над становящим соседа.

Он охотно читал в 30—31 году эти заключительные строфы стихотворения, а потом прибавлял:

— Там окончание было другое, не джентльменское. Пришлось его снять.

И он читал вариант конца, написанного с полновесностью шекспировского юмора и действительно мало джентльменского.

В обыденности Багрицкий был ленив, уступчив, мягок, покладист, порою чрезмерно, — пока речь шла о второстепенных, по его мнению, вещах. Его характеру не хватало упорства, последовательности, постоянной прямооты. У него были свои слабости, — их не нужно замалчивать. Он часто рассеянню поддакивал одному мнению, а вслед за тем — столь же рассеянню — другому, прямо противоположному. Читая в «Советской литературе» рукописи поэтов, он нередко писал о посредственных стихах словами расплывчатыми и неясными. Однажды он отредактировал книгу плохих стихов. Потом спохватился. И, когда книга была издана, позвонил в редакцию «Литературной газеты» и сказал:

— Нужно написать о книге, выругать ее. Только ругать надо не автора, — он безнадежен, — а редактора, например, так: «Как вам не стыдно, товарищ Багрицкий, ай-яй-яй!»

Его упрекали, — он снова отшучивался и говорил:

— Конечно, стишки дрянн. Но (об авторе) он же меня замучил! Он сидел у меня десять дней. Вам хорошо, а я с дивана никуда не могу уйти...

Но за этой внешней уступчивостью и покладистостью скрывалась продуманная, тактическая линия. Багрицкий был себе на уме: он хитрил и поддакивал, — и вдруг, выбрав момент, выбрасывал когти. Он был, по сути, злопамятен хорошей, принципиальной злопамятностью. Обхаживая и поддакивая, он ничего не забывал. Но незабытое он без нужды не подчеркивал и не обнажал.

«Перевал», «Литературный центр конструктивистов», РАПП были для него прежде всего узловыми пунктами его политической эволюции. Хорошо понимая значение поэтических метафор и эпитетов, он, в своих подлинно принципиальных переходах от одной литературной группы к другой, знал, что речь шла тут прежде всего о его отношении к революции и к искусству социализма в целом. Вступая в РАПП (в 1930 году), он был готов на жизненное беспокойство, — предстояло вплотную соприкоснуться с массой литкружковцев, почаще выступать, больше работать. Он подставлял себя травле буржуазно-мещанского литературного охвостья, которое, как и всегда в таких случаях, из-за угла шушукало: «Приспособленец!» Он был готов к пересмотру привычных, отстоявшихся понятий и представлений, к отказу от многих иллюзий и предрассудков. В феврале 1930 года, на московской конференции пролетарских писателей, Багрицкий вместе с Маяковским и Луговским был принят в РАПП. В момент голосования Маяковский сидел в заднем ряду президиума, у стенки, необычно взволнованный, с дрожащими руками, и курил папиросу нервными, отрывистыми затяжками. Был бледен и молчалив Луговской. Багрицкий, как всегда, пошучивал и покашливал. Но мало кто знал, как волновался этот, по уже не действовавшему выражению Дементьева, «романтики старой мечтатель и бард».

Через несколько месяцев мы поехали весенним вечером к Багрицкому в Кунцево. Проходило одно из собраний недовечного объединения рапповских поэтов, — коммуны «Октябрь», — в котором участвовал и Багрицкий. На собрании было оглашено письмо одного из виднейших представителей бывшего ЛЦК, адресованное «коммуне». Товарищ как бы передавал «коммуне» в наследство бывших конструктивистов и подробно характеризовал каждого из них. «Багрицкий, — писал он, — поэт огромного напора. Талант прет у него изо рта, ноздрей и ушей. Но форму он любит консервативную. Это у него осталось от кумберлендских англичан... Багрицкий требует руки твердой, но не жестокой. Помучив его в течение дня, надо дать ему отдыхать с неделю... В чисто творческом отношении обладает исключительной чуткостью задания, тенденцию течения по-

эмы чувствует превосходно, но в деталях не умеет, как говорят борцы, «дожать до второй лопатки». Тут ему нужна помощь...»

Кое-какие места в такой характеристике были верны, тон же был обиден: так составлялись бы, в переводе на язык литературы, приемо-сдаточные ведомости. По некоторым интонациям голоса, по педалированию язвительных реплик я понял, что Багрицкий рассержен, — мало того: взбешен.

— Что с тобой, Эдуард? — спросил я, прощаясь с ним. — Тут много правильного, а для тебя тон не делает музыки.

— Неприличное письмо, — ответил он неожиданно серьезно. — При чем тут «кумберлендцы»? Я вошел в РАПП потому, что хочу быть всегда и во всем с пролетариатом. А у автора письма — ни грамма понимания того, что происходит. На это, на мелочность, на литературщину, я и злюсь, а совсем не на тон письма...

В конце 1933 года «Советская литература» созвала поэтическое совещание. К тому времени в поэтической среде обнаружились болезненные явления, на которые впоследствии обрушился А. М. Горький в статье о «Литературных забавах»: беспринципная склока, морально-этическая разнузданность, нежелание учиться. Все эти явления волновали Багрицкого, к ним он возвращался в разговоре ежедневно.

На самом собрании уже обнаружился перелом. Мещанская богема была оттеснена. Багрицкий внимательно слушал прения — выступать ему перед большой аудиторией было трудно. Он ушел в соседнюю комнату, и туда, к нему, перебралось больше половины публики. Когда выступал стоящий оратор, комната Багрицкого пустела, Багрицкий слушал через полуоткрытую дверь. Когда же говорил кто-либо из его противников, Багрицкий вполголоса начинал веселый рассказ об Одессе эпохи гражданской войны, — и аудитория снова переключивалась к нему, невзирая на нервные замечания президиума.

Багрицкий в последние годы был естественным центром, сердцем и совестью советской поэзии. Когда его не бывало на поэтических дискуссиях, друзья и враги его думали: «А что скажет Эдуард? Какова его позиция в спорах?»

В «Советской литературе» он отмолчался. Но через несколько дней, когда большая группа советских поэтов со-

бралась на частной квартире, горячую дискуссию открыл именно Эдуард Багрицкий вступительной речью о несоответствии между величием эпохи и ординарностью поэзии и о поэтических нравах.

В РАППе с ним не умели работать, не умели подойти к сердцевине его поэзии, не умели затронуть его за живое и вдохновить его на большие дела. От него нетерпеливо (и порою — грубо) требовали быстроты движения, а он двигался медленно: от предмета к предмету в комнате, как и от одной своей книги к другой. Но он сам прекрасно понимал, куда он идет и что он делает. В 1930 году мы поехали с ним на Иваново-вознесенскую конференцию пролетарских писателей. Он любил рабочую и комсомольскую аудиторию и охотно согласился на предложение поехать. Его встретили, как своего. С утра до вечера он был окружен молодыми поэтами, слушал и правил их стихи, читал сам. В его чтении, манера которого была приурочена к астмическим паузам, строки, казавшиеся обыкновенными, стандартными и серыми, оживали и приобретали ярчайшие цвета.

— Ваши стихи нужно читать иначе, — говорил он после того, как поэт кончал чтение, — вот так...

И он открывал в стихах ритм, музыку, интонацию, о коих не подозревал автор. У него был широкий круг поэтических интересов. Он очень любил и великолепно понимал стихи Маяковского и Асеева, хотя сам писал иначе. К поэзии он относился так, как к своей работе относится хороший инженер: свою верность социализму доказывал прежде всего пониманием своего дела и мастерством. «Вождизм» и политиканство в литературе он, ненавидя, высмеивал.

— Понимаешь, — рассказывал он про посещение одного поэта, — два часа он убеждал меня в том, что нужно создать широкую группу: того привлечь, этого отставить. На третьем часу я говорю: «Теперь почитаем стихи»... Достал книжку Анненского, читаю, а потом вижу: гостя моего нет. Я прождал еще два часа, а потом пошел поглядеть: может быть, в уборной спрятался? Нет, не в уборной. Вероятно, сбежал...

Среда знакомых Багрицкого была широка: он любил хороших поэтов, хороших прозаиков, музыкантов и актеров,

хороших командиров, хороших хозяйственников. Багрицкий не мог жить интересами только поэтического цеха. Ему нужны были связи со всем миром социализма.

Он ценил в поэзии высокое мастерство и вдумчиво, бережно, любовно воспитывал молодых. В стихах своих он писал об открывателях новых земель — и сам был таким «открывателем» молодежи. У него часто собирались молодые поэты. Он никогда не сказал бы об этом: «нагрузка», — это было естественной потребностью его жизни.

Однажды я напомнил ему строки Асеева из стихотворения «Гастев»: «Я знаю: ты живешь, Овидий горняков, шахтеров, слесарей».

— Хорошее стихотворение, — сказал он, — только немного истеричное. Эти «Овидии» сейчас вырастают всюду. Иваново-вознесенский поэт Благов и уралец Ручьев пишут еще плохо... Но и Багрицкий в 1916 году не был Багридким, — нет, не был. Но и у Сидорова, и у Благова, и у Ручьева есть многое, — то-есть не у них именно, а у тех, кого они представляют. Вот я и работаю с молодежью. Это — завтрашнее.

У него в прошлом был тяжелый период сомнений в революции. Он выздоравливал от своей болезни медленно, тяжело, но определенно. У него рождалось чувство гордого удивления перед страной, ее людьми, ее делами. Он хотел, — и это стало целью его жизни, — рассказать об этом в своих стихах так, чтобы рассказанное осталось жить в веках. Он был автором «Думы про Опанаса», — и на стене его комнаты висела кавалерийская шашка, и одним из его друзей был командир корпуса, как об этом сказал Юрий Олеша, и сам он охотно вспоминал о гражданской войне. Но за последние годы он не писал о ней, если исключить оперную переделку «Думы». Почему? В Иваново-вознесенской гостинице, вечером, мы глядели на ночной пейзаж текстильного города. Багрицкий неожиданно сказал:

— Когда-нибудь я вернусь к теме моей «Думы». Но сейчас буду писать об этом. — Он указал рукой на окно. — И не так, как в «Думе». Лучше!..

Однажды он, по моей просьбе, прочел мне, — в третий или четвертый раз, — «Смерть пионерки»:

Возникает песня
В болтовне ребят.
Подымает песню
На голос отряд.
И выходит песня
С топотом шагов
В мир, открытый настежь
Бешенству ветров.

И потом, как будто непосредственно продолжая начатый разговор, перешел к воспоминаниям о собрании писателей, на котором присутствовал Сталин. Он приподнял свою желтоватую от астматолола кисть руки, поглядел на нее и сказал:

— Я с уважением смотрю теперь на свою руку, потому что ее пожимала рука Сталина.

Эту фразу он повторял в другие дни и другим людям несколько раз.

30 сентября 1933 года, в стеклянный и голубой день бабьей осени, он позвонил мне:

— Видел стратостат? У меня такое ощущение, что мы живем накануне небывалых событий. Их приближение я чувствую во всем. Мне вспомнились стихи из «Возмездия»: «Первый взлет аэроплана в пустыню неизвестных сфер». Первый взлет! А сегодня — первый взлет нашего стратостата...

Через несколько дней Багрицкий возвратился к сказанному:

— Наши поэты не умеют чувствовать масштабы происходящих событий.

Везде и во всем он стремился увидеть побеждающую жизнь, ухватить ее сегодняшнее пульсирование.

Однажды, в феврале 1934 года, Багрицкий позвонил мне, сказал, что болен и просит на-днях зайти.

Я зашел к нему лишь через несколько дней, когда стало известно, что Эдуард опасно болен. Сначала к нему не пускали. Потом приехал автомобиль. Мы вошли к Эдуарду. Он лежал, готовый к отправке, почерневший и странно похудевший, с глубоко запавшими глазами, но в сознании. Он по-детски обрадовался посещению:

— Какие новости? Алеша, дай мне «Литературку», очень хочу прочесть стихи Адалис...

Затем он стал говорить бессвязно. Мы подняли его и удивились легкости его крупного тела. Мы снесли его вниз, уложили в автомобиль. Потом — отрывочные новости из больницы, выяснившаяся безнадежность, утро 16 февраля, больница — и Вера Инбер, спускающаяся в сером халате по лестнице, с остановившимися глазами.

Прошло несколько часов — и мы встали в почетном карауле у гроба нашего товарища — так, как он сам хотел: «не вытирая слезы», — так, как только и надо было стоять у гроба большого, умного, живого и жизнерадостного поэта социализма.

БАГРИЦКИЙ

Усилие, направленное на создание прекрасных вещей, усилие постоянное, страстное, все разгорающееся — вот жизнь Багрицкого. Она была — подъем непрерывный. Среди первых его стихов попадались слабые, с годами он писал все строже. Воодушевление его поэзии возрастало. Страсть, в ней заключенная, усиливалась, потому что усиливалась работа Багрицкого над мыслью и чувством. Работу эту он выполнял честно, с упрямством и веселостью.

Писание Багрицкого — не физиологическая способность, а увеличенные против нормы сердце и мозг, увеличенные против того, что мы считаем нормой и что будет беднейшим прожиточным минимумом сердца в будущем.

Я помню его юношей в Одессе.

Он опрокидывал на собеседника громады стихов — своих и чужих. Он ел не по-нашему, одежду его составляли шаровары и кофта, повадка у него была шумная, но с остановками.

В те годы, когда стандарт указывался обстоятельствами, Багрицкий был похож на самого себя и ни на кого больше.

Слава Франсуа Виллона из Одессы внушала к нему любовь, она не внушала доверия. И вот — охотничьи его рассказы стали пророчеством, ребячливость — мудростью, потому что он был мудрый человек, соединивший в себе комсомольца с Бен-Акибой.

Ему ничего не пришлось ломать в себе, чтобы стать поэтом чекистов, рыбоводов, комсомольцев. Говорят, он

испытал кризисы подобно другим литераторам. Я не заметил этого.

Любовь к справедливости, к изобилию и веселью, любовь к звучным, умным словам — вот была его философия. Она оказалась поэзией революции.

Как хорошая стройка, — он всегда был в поэтических лесах. Они менялись на нем, и эту работу вечного обновления он делал мужественно, неподкупно, открыто.

От него — умирающего — шел ток жизни. Сердца людей, впавших в тревогу, тянулись к нему. Жизнью своей он говорил нам, что поэзия есть дело насущное, необходимое, ежедневное.

По пути к тому, чтобы стать членом коммунистического общества, Багрицкий прошел дальше многих других...

Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться... Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря — на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом...

Желания наши не осуществились. Багрицкий умер 38 лет, не сделав и малой части того, что мог.

В государстве нашем основан ВИЭМ — Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы бессмысленные эти преступления природы не повторялись больше.

ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО

В 1915 году в Одессе был издан ряд поэтических альманахов. Я помню три названия: «Серебряные трубы», «Авто в облаках», «Чудо в пустыне».

В одном из них было напечатано стихотворение Эдуарда Багрицкого «Суворов».

В нем были такие строки:

В серой треуголке, юркий и маленький,
В синей шинели с продранными локтями, —
Он надевал зимой теплые валенки
И укутывал горло шарфами и платками.
В те времена по дорогам скрипели еще дилижансы,
И кучера сидели на козлах в камзолах и фетровых шляпах;
По вечерам в гостиницах веселые девушки пели романсы,
И в низких залах струился мятный запах.
Когда вдалеке звучал рожок почтовой кареты,
На грязных окнах подымались зеленые шторы,
В темных залах смолкали нежные дуэты
И раздавался шопот: «Едет Суворов!»

Это — стихи восемнадцатилетнего поэта. Мне и теперь они кажутся замечательными по ритму, лиричности и вкусу, с которым они написаны. Так начинал Багрицкий!

Он жил на Ремесленной улице, в затхлой еврейской квартире, с громадными комодами, среди темных углов... Это было очень неудобное, мертвое жилище:

Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Все бормотало мне:
Подлец! Подлец!

Так он изобразил свое детство впоследствии в страшном стихотворении «Происхождение». Когда он лежал в больнице, перед смертью, в последнюю свою ночь, он сказал сиделке: «Какое у вас лицо хорошее, — у вас, видно, было хорошее детство, а я вспоминаю свое детство и не могу вспомнить ни одного хорошего дня».

Какое ж надо было иметь замечательное дарование, чтобы, вспоминая детство, в котором не было ни одного хорошего дня, сказать о нем так:

Стучал сазан в оконное стекло,
Конь щебетал, в ладони
Ястреб падал,
Плясало дерево,
И детство шло.

Как это хорошо сказано — в чисто поэтическом смысле, в смысле применения метафоры — о коне, что он щебечет, и о дереве, что оно пляшет.

Я долго дружил с Багрицким. Он был для меня просто Эдька. Мы все немножко подтрунивали друг над другом, все не слишком серьезно относились друг к другу, — я говорю о группе поэтов: Катаев, Багрицкий, я, Зинаида Шишова, Адалис, впоследствии Кирсанов. Мы все не слишком уважали друг друга. Я, конечно, всегда знал, что Багрицкий первоклассный поэт, но теперь я как-то по-новому прочел его книги, и в них обнаружили для меня совершенно исключительные вещи.

Любовь! Но съеденные вшами косы,
Ключица, выпирающая косо,
Прыщи, обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.

Так, ненавидя прошлое свое и все, что в нем было, — в данном случае женщину, — каким страшным увидел это прошлое поэт! Нельзя подобрать более страшного образа, чем съеденные вшами косы.

Зеленый огонь на щеке,
Обвисли косые усы,
Зрачок в золотом ободке
Вращается, как на оси.

Так Багрицкий описал карпа. Можно приводить без конца строки. Например, начало припадка астмы:

Тишина.

Солнце кипит в каждом кремне,
Но глухо, от сердца, из глубины
Предчувствие кашля идет ко мне,
И сызнова мир колюч и наг —
Камни — углы и дома — углы,
Трава до оскомины зелена,
Дороги до скрежета белы.

Умение найти единственное, нужное для данного случая слово — достаточное и необходимое — есть умение, принадлежащее только высокому мастеру.

Так Багрицкий определил максимальность зелени — оскоминой и максимальность белизны — скрежетом. И все это в плане всего стихотворения, где описывается припадок астмы: оскомина, скрежет. То-есть где-то что-то происходит от астмы со вкусом слюны, что-то такое происходит с дыханием.

Когда мы были молодыми, Багрицкий, такой же молодой, как мы, пропагандировал среди нас хорошую поэзию. Мы впервые услышали от него стихи Иннокентия Анненского, Пастернака, Асеева, Петникова, Хлебникова, Ахматовой, Вячеслава Иванова, Белого, Гумилева, Клюева, Нарбута, Мандельштама. Маяковский, который долгое время был непонятен нам, стал доходить до нас благодаря работе над нами Багрицкого. Он всегда был прекрасным чтецом. Мы впервые услышали от него так называемое поэтическое чтение стихов, которое буржуа называли подвыванием. Теперь никто не спорит против этой исключительной значимости для стихов манеры чтения. Многие превосходные актеры говорили мне, что чтение поэтами собственных стихов поразительно по ритмичности и темпераменту и что никакой актер не прочтет стихов так, как читает их поэт. В особенности так, как их читал Багрицкий. Он преображался. Начинали сверкать глаза. Он как-то запрокидывал голову, как бы захлебываясь и протягивая руку с несколько неправильно выдвинутым пальцем.

Багрицкий знал наизусть бесконечное множество стихов — старых поэтов, современников, русских и иностран-

ных. Вообще знание литературы и богатство его памяти в этом отношении было поразительно. Читатель он был страстный. Любовь к чтению продолжалась до последних дней. Как и у всех нас, у него были свои золотые книги. Золотой книгой его был Стивенсон. Никогда нельзя было успеть что-нибудь показать ему. Все лучшее он находил первым. Летом 1933 года я позвонил ему: «Прочти «Охотников за микробами» Поля де-Крюи». Оказалось, что он уже прочел эту книгу. И, конечно, больше всего ему понравилась история шлифовальщика линз Антона Левенгука, который изобрел микроскоп.

Я теперь вижу: жизнь Багрицкого была очень самостоятельной жизнью. Он резко отличался от нас всех. Главным свойством его была скромность. Ему всегда казалось, что он пишет недостаточно хорошо, он никогда не хвастал. Мы спрашивали: «Ну, как твои рыбки, Эдя? Как твои птички?» В этом был шуточный оттенок, а оказалось, что среди натуралистов Багрицкий считался знатоком, крупной фигурой. Оказалось, что только у него имелась единственная во всей Москве немецкая ихтиологическая книга. Я однажды пришел к нему. Сидел Багрицкий и какой-то человек, никакого отношения не имевший к поэзии — по виду рабочий. Они сидели над этой единственной книгой — два разных по возрасту и сущности человека, объединенные одним фанатизмом.

У Багрицкого была астма. Чем далее, тем все меньше оставалось у него возможности двигаться, пространство вокруг него сужалось — увидеть мир он не мог. И эти аквариумы, которые стояли у него в комнате, были его океанами. Там плавали рыбы в освещенных прожекторами зеленоватых пространствах. Эти рыбы были похожи и на птиц, и на цветы, и на какие-то фантастические снаряды. Сидел рыбовод перед этими светящимися кубами — большой, сидел по-турецки на кровати, согнувшись, покашливая, большоголовый, с серой сединой, в синей байковой блузе — и смотрел. Он видел путешествия, которых не мог совершить. Видел берега и воды недостижимых для него стран. Эти страны сами пришли к нему, потому что он был поэт и как поэт обладал волшебным умением обобщать.

Он кормил своих рыб циклопами. Это такие маленькие

существа — рыбий корм. Зимой домработница шла с сачком на Чистые пруды и выуживала для него из проруби циклопов, которых называла стеклопами.

Это была очень самостоятельная, странная, неповторимая жизнь. От начала и до конца. По существу и по форме. Человек никогда не жаловался на болезнь — ни наяву, ни в своем творчестве. Человек сумел соединить свою болезнь с образом победы в удивительном стихотворении «ТБЦ». В припадке астмы кажется ему, что Феликс Дзержинский сходит к нему с портрета и разговаривает с ним.

Да будет почетной участь твоя —
Умри побеждая, как умер я.

Этот человек никогда не был грустным. Не то что грустным, он не был никогда невеселым. Как он замечательно острил! Остроты иногда бывали чудовищны по построению и ходам, но всегда своеобразны, неожиданны и необычайно талантливы. К себе он относился с предельной жестокостью. Он сделал то, чего не сделал бы ни один литератор. Он написал три большие поэмы, и до того, как вышла книжка, он не напечатал ни одного отрывка. То-есть отказался от большого заработка. «Не будешь нигде печатать в журналах?» — «Нет». — «Почему?» — «Я хочу, чтобы сразу вышла книга». Тут я вижу главное, что должно быть в поэте: незаинтересованность в личном благополучии. Этот красивый человек никогда не мечтал об одежде. Я никогда не видел его в пиджаке, в костюме. Он носил блузу, сшитую ему женой. Зимой он выходил в тулупе. Он мог бы выглядеть очень элегантно, если бы надел штатский костюм.

Мы очень часто вспоминаем удивительные жизни поэтов. Жизнь Виллона, Байрона, Эдгара По, Артюра Рембо. Нас восхищают подробности этих биографий, их странность, необычность, их близость к вымыслу. А ведь жизнь Багрицкого была сродни жизни этих поэтов. Это была жизнь артиста в самом чистом, волнующем и величавом смысле этого слова. Почти детская мечта о силе, о воинственном, о саблях.

У него был друг, командовавший корпусом в гражданскую

войну. Комкор подарил поэту саблю. И поэт, который не мог несколько минут обойтись без вдыхания астматолоа, с восторгом воспринимал вид этой сабли. Он был влюблен в бойцов.

Вот строки из поэмы «Последняя ночь»:

Погибших товарищей имена
Доселе не сходят с губ —
Их честную память хранят холмы
В обветренных будяках,
Крестьянские лошади мнут польнь,
Проросшую из сердец,
Да изредка выгребает плуг
Пуговицу с орлом.

Я не могу вспомнить более величественных строк, посвященных мужчине, солдату, чем эти строки поэта, окруженного коричневыми от лекарств ложками и обреченного болезнью на детскую беспомощность.

Когда-нибудь в прекрасные дни победивший пролетариат оглянется в прошлое — то-есть в наши сегодняшние дни, — и фигура поэта Эдуарда Багрицкого ярко засияет в этом прошлом, потому что это был человек чистый, неподкупный, родившийся в мире частной собственности и сумевший стать поэтом революции, учителем молодых, восторженным поклонником тех, кто возносил из настоящего это прекрасное будущее — поэт, сказавший:

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед,
Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас,
Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.
Возникай содружество
Ворона с бойцом,
Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом,

Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

Это так говорится:
богемец, пришедший к революции.

Это так говорится:
Багрицкий сумел преодолеть...

Но это такая трудная жизнь — родиться в затхлой мешанской квартире, читать Кузмина, писать газеллы о «гашише в тиши вечерних комнат», чувствовать в себе дар, то есть мечтать о славе, и затем, отказавшись от всего, увидеть новое значение вещей.

А еще к тому же болеть астмой!

Может быть, Эдуард Багрицкий — наиболее совершенное явление того, как интеллигент приходит своими путями к коммунизму.

Я считаю, что лучшее из того, что написал Багрицкий, есть поэма «Последняя ночь». Это поэма о поколении тех, кому сейчас тридцать пять лет. Поэма о «печальных детях», через которых прошла трещина мира.

Выстрел гимназиста Принципа, направленный в эрцгерцога Фердинанда, убил все то, что было «благополучием мира». От этого выстрела — как в тире — повернулась и изменилась вся картина жизни, понятия о родине, об истории, обо всем, что составляло установившееся среди отцов и дедов отношение к миру.

Началась мировая война. Когда раздался этот выстрел, Багрицкому было семнадцать лет. Последняя ночь мира совпала с первыми ощущениями жизни в поэте:

Мне было только семнадцать лет.
Поэтому эта ночь
Клубилась во мне и дышала мной,
Шагала плечом к плечу.
Я был ее зеркалом, двойником,
Второю вселенной был.
Планеты пронизывали меня
Насквозь, как стакан воды,
И мне казалось, что легкий свет
Сочился из пор, как пот.

Эту гениальную поэму оставил Багрицкий как памятник своему поколению. Там есть такие строки:

Была такая голубизна,
Такая прозрачность шла,
Что повториться в мире опять
Не может такая ночь.

Так верили печальные дети в то, что буржуазный мир отцов и дедов благополучен и прекрасен.

Но затем поэт говорит:

Печальные дети, что знали мы,
Когда у больших столов
Врачи, постучав по впалой груди,
— Годен! — кричали нам.
Печальные дети, что знали мы,
Когда, прошагав весь день
В портянках, потных до черноты,
Мы падали на матрац.
Дремота — и та избегала нас,
Уже ни свет, ни заря
Врывалась казарменная тишина
В отроческий покой.
Не досыпая, не долюбя,
Молодость наша шла.

Так поняли печальные дети ложь и подлость буржуазного мира.

Когда-то, очень давно, Багрицкий рассказывал мне об одном своем замысле. «Представь себе... Летучий Голландец... он входит в харчевню. Деревянный стол. Девушка. Он кладет на стол розу. И вдруг все видят: начинается превращение розы... Сквозь нее проступают очертания города... Люди видят город...»

Я не помню, что рассказывал он дальше. Когда мы хоронили Багрицкого, я вспомнил эту импровизацию замечательного романтика. Ведь это же и есть сущность искусства — эти превращения!

Ведь это же и есть сила искусства — превратить материал своей жизни в видение, доступное всем и всех волнующее...

Я понял, каким удивительным поэтом был Багрицкий, уже с молодости схваченный за горло болезнью, сумевший трудный материал своей жизни превратить в жизнерадостное, поющее, трубящее, голубеющее, с лошадьми и саблями, с комбригами и детьми, с охотниками и рыбами, видение.

Багрицкий был поэтом жизнерадостности большевизма, и оттого так высоко подняла его гроб страна.

Когда он был молодым, он работал в Р о с т а, писал стихи для плакатов — это было время трудное, голодное. Багрицкий был молод и голоден, и он написал поэму «Трактир». В ней рассказывается, как умер от голода поэт и как пришел за ним ангел и привел поэта не в рай, а в трактир, где были не голуби, а чайники, и где поэт, наконец, поел наславу. Так исполнились мечты поэта.

Когда умер Багрицкий, его тело сопровождал эскадрон молодых кавалеристов. Так закончилась биография замечательного поэта нашей страны, начавшаяся на задворках жизни, у подножия трактиров на Ремесленной улице в Одессе, и в конце осененная красными знаменами революции и фигурами всадников — таких же бойцов за революцию, каким был сам поэт.

ВСТРЕЧА

Однажды летом 1913 года произошло событие, оказавшее влияние на всю мою дальнейшую жизнь. В копеечной газете «Маленькие одесские новости» появилась заметка, приглашавшая всех одесских молодых поэтов пожаловать к шести часам вечера в помещение местного литературно-артистического клуба. Этот клуб попросту назывался — Литературка.

Меня охватило сильнейшее волнение.

Я не знал, как мне быть: идти или не идти?

Я писал — и даже иногда печатал в местных газетах стихи. Это так. Но каждый ли пишущий и печатающий стихи имеет право называться поэтом?

Мне едва минуло шестнадцать лет. Но что такое шестнадцать лет: детство, отрочество, юность? Имею ли я право называться молодым? Может быть, я еще не дорос до этого, а может быть, уже перерос? Ничего неизвестно. И разве есть у нас в городе такое количество молодых поэтов, что их нужно сзывать через газету?

И потом это загадочное и в высшей степени официальное «пожаловать». Рядом с «пожаловать» наименование «молодой поэт» звучало как-то вроде «губернский секретарь» или «помощник присяжного поверенного».

Наконец — с какой целью «пожаловать»?

На самое главное — учащимся средних учебных заведений было строжайше запрещено посещать какие бы то ни было клубы; в особенности такие «красные», как наша Ли-

тературка. В ней, правда, политикой занимались мало, а главным образом играли по ночам в карты и пили удельное вино сотрудники местных прогрессивных изданий и врачи с хорошей практикой, но почему-то Литературка имела у одесских мещан репутацию рассадника крамолы, а в глазах черносотенного гимназического начальства представлялась по меньшей мере якобинским клубом.

Гимназист шестого класса казенной гимназии тайком подымается по лестнице якобинского клуба!

Попечитель учебного округа — горбатый карлик с золотыми очками на рачьих глазах — действительный статский советник Смолянинов мог сойти с ума от одной этой мысли.

Все же я решился.

Я снял форменный пояс — потрескавшийся ремень с зазубренной в боях мельхиоровой бляхой; я выломал из веточек латунного герба 0.5.Г. — заглавные буквы своей альма-матер, одесской пятой гимназии; я скрутил в толстую трубу общую тетрадь в зернистом переплете, на котором были выскоблены перочинным ножичком якорь и сердце, пронзенное стрелой.

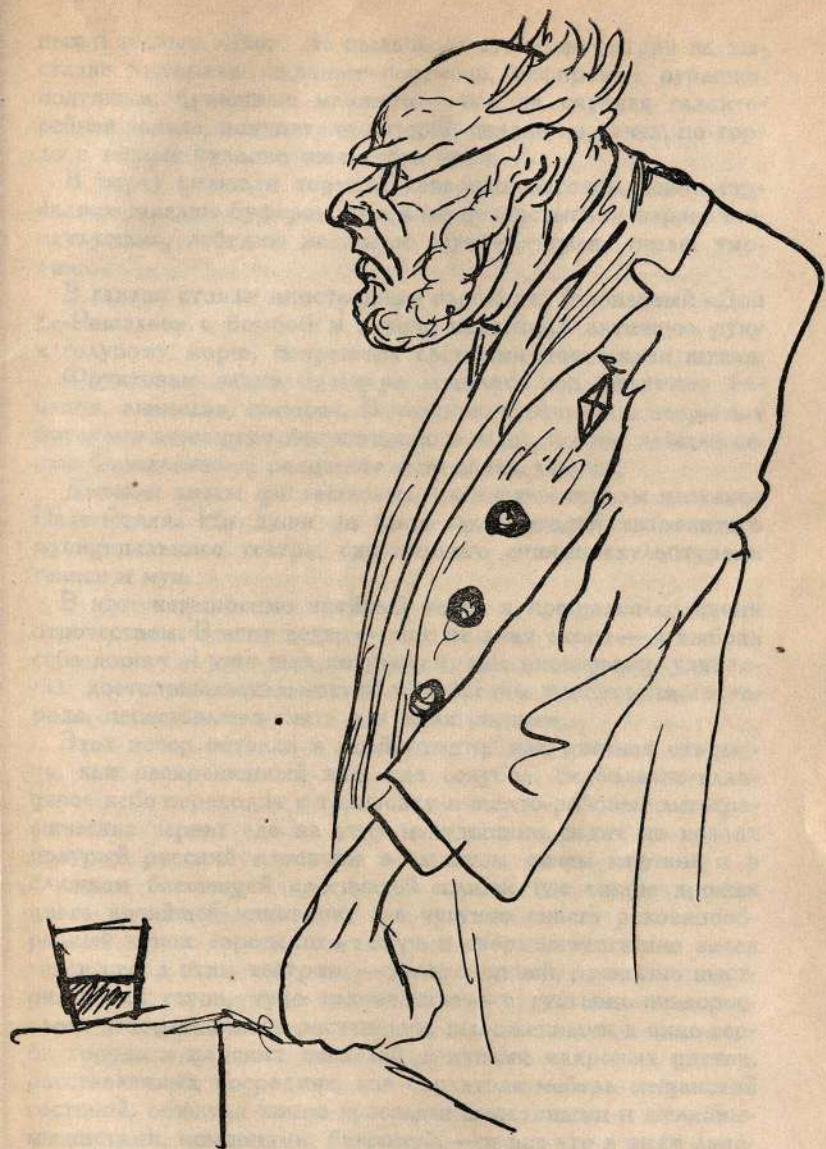
В эту тетрадь были аккуратно вклеены синдетиконом многочисленные вырезки бесплатно напечатанных стихотворений и отроческим почерком переписана только что законченная «Зимняя поэма», в которой размером некрасовского «Рыцаря на час» я пространно живописал охоту на зайцев. Разумеется, об охоте я не имел ни малейшего представления и с трудом бы отличил зайца от кролика. Подробности же охоты заимствовал я из хвастливых рассказов некоторых своих гимназических товарищей, грубых сыновей степных, новороссийских помещиков.

Я жил на окраине.

Для того, чтобы попасть в Литературку, мне пришлось пересечь город, измученный и оглушенный послеобеденным зноем.

Это было последнее довоенное лето, последний зной отрочества, последние краски старой Одессы — города Дерибаса, Ланжерона, Ришелье.

Над витринами магазинов были опущены полосатые парусиновые тенты. Но низкое солнце проникало в тень душ-



Профессор
(Рис. Э. Багрицкого, 1911 г.)

ных и тесных лавок. За пыльными стеклами витрин на выставке выгорали кожаные портмоне, зефировые рубашки, подтяжки, бумажные манжеты — вся та скучная галантерейная заваль, покупатели которой сидели на дачах, по горло в теплом бульоне июльского моря.

В порту визжали тормоза товарных вагонов, сонно стукались тарелки буферов, тоненько посвистывали паровички-«кукушки», лебедки издавали звук — «тирли, тирли, тирли»...

В гавани стояли иностранные пароходы. Бронзовый «Дон де-Ришелье» с бомбой в цоколе простирал античную руку к голубому морю, покрытому светлыми дорожками штиля.

Фруктовые лавки бульвара ломились под тяжестью бананов, ананасов, кокосов. В маленьких боченках, покрытых брусками сияющего искусственного льда, плотно лежали серые бородавчатые раковины остэндских устриц.

Дышали зноем фисташковые, пятнистые стволы платанов Пале-Рояля. Ни души не было под аркадой знаменитого муниципального театра, окруженного синими скульптурами гениев и муз.

В этот невыносимо знойный вечер я прощался со своим отрочеством. В этот вечер — еще не зная этого — я выбрал себе дорогу и уже шел по улицам, как иностранец, удивляясь достопримечательностям и красотам неповторимого города, переставшего быть для меня родным.

Этот вечер остался в моей памяти, как цветная открытка, как раскрашенный вид, где голубое, безоблачно-глянцевое небо переходит к горизонту в желто-розовые литографические зерна; где на углу неподвижно сидит на козлах понурый русский извозчик в слишком синем кафтане и в слишком блестящей клеенчатой шляпе; где спицы дрожек цвета ярчайшей киновари; где чугунно синее раковинообразный купол городского театра и сверхъестественно зелен газон перед этим театром, — великолепный, роскошно выстриженный газон, чудо садоводства — с густыми низкорослыми декоративными растениями, выложенными в виде герба города и царских вензелей, с купами махровых цветов, расставленных посередине, как бархатная мебель мещанской гостиной, обшитая винно-красными шерстяными и шелковыми кистями, помпонами, бахромой, — и все это в виду лако-

вого моря с яхтой и чайкой и пузырем воздушного шара над горизонтом.

Я поднялся по лестнице, покрытой красной дорожкой. Швейцар в куртке с галунами посмотрел на мою фуражку с выломленным гербом, на общую тетрадь в руках — и пропустил меня.

Я вошел в большую комнату с задернутыми шторами. С улицы доносились знойные звонки трамваев. (Трамвай еще был для Одессы новинкой. Он начал ходить с одиннадцатого года.)

Сквозь шерстяные, как бы тлеющие, шторы проникал смуглый свет распаленных угольев.

В клубной приемной напряженно сидели на мягкой мебели очень молодые люди. Их было человек тридцать. Прывыкнув к сумраку, я смог рассмотреть их подробно. Это были юноши школьного возраста, подобно мне неуклюже скрывающие, что они гимназисты и реалисты. Форменные пуговицы их курточек были обернуты материей, пояса сняты из фуражек, которые они мяли в крупных руках подростков, выломаны гербы. Впрочем, были и студенты, но совсем молоденькие, первокурсники, хотя уже в белых студенческих кителях, но еще в черных гимназических брюках.

Никто друг с другом не разговаривал. Посматривали друг на друга искоса, с дурно скрытым, ревнивым любопытством тайных соперников, с напускным равнодушием, с чувством мучительной неловкости.

Словом, это было сборище вундеркиндов, потеющих перед запертой дверью Славы.

Впрочем, эта дверь была заперта не плотно. Довольно часто она приоткрывалась, и в нее боком входил клубный официант, неся на подносе полубутылки красного вина.

Там находились посвященные. Это они держали в своих руках наши судьбы. Но кто «они» — мы понятия не имели. Лишь иногда — когда дверь приоткрывалась, пропуская красное вино — мы успевали рассмотреть в гранатовом полусвете другой комнаты столик, за которым сидел некто с тускло-продолговатой мордой лошади в пенсне и вокруг него несколько прочих.

Время тянулось мучительно долго. Мы изнемогали от нетерпения и неизвестности. Среди нас уже стали рождать-

ся догадки, возникать слухи. Оказалось несколько осведомленных. Шопотом было произнесено слово «Пильский». Этот Петр Пильский, развязный и ловкий одесский фельетонист и законодатель литературных вкусов, созвал нас сюда. Он будет сейчас выслушивать нас и отбирать. Куда «отбирать»? С какой целью? Чорт его знает! И раз будут «отбирать» — значит, кого-то отберут, а кого-то не отберут. Это было страшно, как перед экзаменом. Я не мог больше вынести одиночества.

Я вскочил со стула и подошел к окну. На подоконнике сидел юноша в форменной куртке с отрезанными пуговицами.

— Вы гимназист? — спросил я его.

— Я — реалист, — мрачно ответил он, — из реального Жуковского, — и заносчиво «шмыгнул» носом, как бы показывая, что ему на все решительно наплевать с высокого дерева.

Мне не стоило большого труда определить его «сорт». В то время мы были дьявольски наблюдательны. Сверстники узнавали друг друга, еще не пожав руку и не перейдя на «ты».

Он говорил специальным плебейским, так называемым «жлобским» голосом. Это было небрежное смягчение шипящих, это было ё вместо о. Каждое слово произносилось с величайшим отвращением, как бы между двух плевков через плечо. Так говорили уличные мальчишки, заимствующие манеры у биндюжников, матросов и тех великовозрастных бездельников, которыми кипел одесский порт. Это был высший шик в районе Дюковского сада, Молдаванки, Александровского парка.

Некогда в этом Александровском парке, висящем над трубами и мачтами порта, отцы города с педагогической целью ознакомить население с отечественной географией придумали соорудить небольшой пруд в форме Черного моря. В точном соответствии с картой, выкопали калошеобразную яму. Подошва определяла Анатолийское побережье, носок — Константинополь, задник — Батум и верхний вырез — Крым. Впрочем, на этом общеобразовательная затея и кончилась. Хрупкий бюджет муниципалитета, подорванный темными махинациями городского головы, не

выдержал дальнейших трат. Черное море так и осталось на вечные времена необлицованным и сухим. Но она нашла себе применение, эта унылая педагогическая яма. Ее облюбовали для своих буйных развлечений переростки соседних улиц: бесшабашные отпрыски дворников, помощников капитанов, мелких лавочников, акцизных чиновников.

Яма стала клубом приморского района: штабом казаков и разбойников, ареной французской борьбы, ристалищем длинноруких второгодников, колизеем гладиаторов, рубившихся бляхами, игорным притоном, где до самозабвения резались в «ушки».

И если сама яма давно уже осыпалась и потеряла малейшее подобие Черного моря, то ее завсегдатаи прочно сохранили за собой прозвище черноморцев.

Черноморцы!

Это был свободный народ, автономная республика, равноправно входившая в федерацию других одесских мальчишеских республик, — новорыбников, отрадников, дюковских, слободских... Разделенные территориально, эти веселые народы исповедывали единую великую хартию мальчишеских вольностей, что не мешало им вести между собой короткие, но бурные войны, пуская в ход палки, рогатки и камни.

Для посвященного невозможно было спутать, например, черноморца с дюковцем.

— Вы черноморец? — спросил я своего нового знакомого.

— А то нет? — ответил он вопросом на вопрос, что было вполне в характере черноморцев, и буркнул:

— А вы отрадник?

— Отрадник. Вы пишете стихи?

— А вы — нет?

Знакомство укрепилося. Черноморцы и отрадники в данный момент находились в военном союзе против новорыбников.

Потом, среди прочих соискателей, мы сидели рядом на стульях перед небольшой эстрадой, куда, вызываемые один за другим по списку, выходили молодые поэты и читали свои стихи.

Курьезный парад молодых подражателей, взволнованных,



Рыцарь
(Рис. Э. Багрицкого, 1911 г.)

вспотевших, полных то чрезмерного пафоса, то беспредельной грусти, совершенно неоправданной ни летами, ни цветущим состоянием здоровья!

В их петушинных голосах звучало искаженное эхо всей русской поэзии от Пушкина до Игоря Северянина, с явным преобладанием Апухтина и Надсона.

Мы слушали стихи своих соперников, злорадно переглядываясь, и ядовито хихикали в кулак всякий раз, когда строфа была особенно отвратительна. Мы следили друг за другом исподтишка, как бы взаимно испытывая литературные вкусы, а так как они в большинстве случаев совпадали, то мы внутренне сближались все больше и больше, поощрительно друг другу улыбались и уже чувствовали себя как бы в молчаливом заговоре против всех.

Между тем каждого окончившего читать просили удалиться в соседнюю комнату, заперев за собой дверь.

Тогда Пильский, который, не переставая, тянул из зеленой рюмки удельное, вздергивал свое лошадиное лицо, интеллигентно взнузданное черной уздечкой пенснэ, и не вполне твердым голосом ставил претендента на баллотировку.

О, в какое волнение приходило тогда наше маленькое учредительное собрание! С какой поспешной яростью поднимались испачканные чернилами руки, отвергая кандидата, и с какой нерешительностью и неохотой — принимая!

Томный студент, подручный Пильского, лениво подсчитывал голоса, и после этого сам мэтр произносил свой окончательный приговор.

Дверь отворялась. Крупно глотая слюну и растерянно улыбаясь, входил кандидат, сжимая в потных руках уже бесполезную тетрадь. Он останавливался у стола для того, чтобы услышать свою участь.

Принятому предлагали занять место в президиуме, и он садился на стул, заложив ногу за ногу с гордостью новоизбранного бессмертного.

Отвергнутый вынужден был, спотыкаясь, слезть с эстрады и возвратиться на свое место, где ему уже нечего было ждать и не на что надеяться, вкусив всю горечь высокомерных усмешек и ободрительных замечаний.

Вскоре был вызван некий Эдуард Багрицкий.

Я поспешил злорадно фыркнуть, чтобы показать соседу свое отношение к этому безвкусному псевдониму. Я не сомневался в его сочувствии. Каково же было мое удивление, когда он вдруг поднялся с места, засопел, метнул в мою сторону заносчивый, но в то же время как бы извиняющийся взгляд — и решительно вспрыгнул на эстраду.

Он согнул руки, положил сжатые кулаки на живот, как борец, показывающий мускулатуру, стал боком, натужился, вскинул голову и, задыхаясь, прорычал:

— Корсар!

Он прочел небольшую поэму в духе «Капитанов». В то время я еще не имел понятия о Гумилеве, и вся эта экзотическая бутафория, освещенная бенгальскими огнями молодого темперамента и подлинного таланта, произвела на меня подавляющее впечатление силы и новизны.

Он читал превосходно и наизусть. Может быть, он слишком рычал и задышался. Но я тотчас простил ему и пафос, и псевдоним. Во всяком случае я до сих пор помню некоторые строфы:

Нам с башен рыдали церковные звоны,
Для нас поднимали узорчатый флаг,
А мы заряжали, смеясь, мушкетоны
И воздух чертили ударами шпаг!

Казалось, что он действительно наносит, с пеной на искривленных губах, страшные удары шпагой.

Еще в середине были какие-то

... тихие ритмы, как шелесты роз...

И заканчивалось все это так:

Когда погибал знаменитый «Титаник»,
Тогда твой мираж трепетал в небесах.
Летучий Голландец! Чарующий странник!
Через вечность летишь ты на всех парусах!

Успех был так велик, что тут же Эдуарду Багрицкому объявили о принятии и он, не сходя с эстрады, занял место в президиуме.

Через пять минут рядом с ним сидел и я. Из всех претендентов только мы двое были избавлены от унижительной процедуры и приняты без всякой баллотировки.

Это нас сблизило еще больше.

Я сказал — приняты. Но куда?

Впоследствии это выяснилось. Петр Пильский открыл прекрасный способ зарабатывать деньги. Он выбрал группу «молодых поэтов» и возил нас все лето по увеселительным садам и дачным театрам, по всем этим одесским «ланжеронам», «фонтанам» и «лиманам», где мы, неуклюже переодетые в штатские костюмы с чужого плеча, нараспев читали свои стихи изнемогавшим от предвоенной скуки дачникам.

Сам же Пильский, цинично пьяный, произносил вступительное слово о нашем творчестве, отчаянно перевирая наши фамилии и названия произведений. Денег он нам, разумеется, не платил, а выдавал только на трамвай, и то не всегда.

Очень часто нам приходилось возвращаться домой ночью, пешком, при пыльном свете степной луны, вдоль моря, среди хрустального звона сверчков и далекого собачьего лая...

Так началась наша дружба на всю жизнь.

Мы вышли вдвоем из Литературки. На соборной колокольне било одиннадцать. В небе вспыхивала и гасла рубиновая реклама «какао Кадбури». Под наркотической луной висела гигантская калоша акционерного общества «Треугольник». Одесса горела крашеными разноцветными лампочками «иллюзионов», — так назывались у нас кинематографы, — и вся напоминала большой шикарный иллюзион.

Молодые, безвестные, очень одинокие среди фланеров с папиросами «Сальвэ» в зубах — южных франтов в желтых ботинках и панамах, наполнявших жарким шарканьем подшв улицы центра, мы долго шлялись по городу, провожая друг друга, — и читали, читали стихи, которые казались нам в эту ночь замечательными.

РАННИЕ ГОДЫ

(1909—1914 гг.)

Школа, в которой Багрицкий провел несколько лет своей жизни, ничем не отличалась от любой школы царской России. Это было реальное училище Жуковского на Херсонской улице.

От мещанской обстановки родительского дома, от серой казенщины школы двенадцатилетнему Эдуарду легче всего было отгородиться книгами. И, действительно, в этот период он с головой ушел в огромный красочный мир, который раскрылся перед ним в литературе.

Багрицкий читал так, как читали, вероятно, все в этом возрасте — без разбора, отдавая предпочтение авантюристическому роману и путешествиям.

Но было бы ошибкой думать, что мир, который раскрылся перед Эдуардом в книгах, оторвал его от окружающей жизни. За порогом его бедной квартиры, за дверьми его школы шумел большой южный город, уходило вдаль море, был чудесный порт, покачивались корабли всех стран, плыли дубки, полные арбузов, рыбацьи шаланды. В шумной, многоязыкой толпе жили наяву герои прочитанных им книг, — будущие герои его стихов. Багрицкий любил этот сверкающий мир, любил исключительной любовью, которая с детских лет сделала его «веселым бродягой».

«Бездомная» молодость Багрицкого началась задолго до того, как он расстался с родительским домом.

К двенадцати годам своей жизни Эдуард приобрел уже

все основные черты, свойственные тем ребятам, о которых в обывательской среде принято было говорить, что «они растут на улице». В его кармане лежала тонкая, намотанная на палочку леска — с крючком и медной пуговицей вместо грузила. Эдуард забирался в порт удить рыбешку, умело спасая свои уши от цепких пальцев портовых стражников. Ему не надоедало наблюдать, как ловко перелетают из рук в руки полосатые арбузы при разгрузке дубков в Арбузной гавани, — он был далеко не последним в искусстве вылавливания свалившихся в воду арбузов.

Улица, на которой жил Эдуард, спускалась в порт. Этой улицей — в мешках, брошенных на тяжелые биндюги, — перевозили на маслобойный завод расколотые кокосовые орехи.

Медленно ползущую вереницу биндюгов сопровождали тяжелые, как их кони, биндюжники. Переругиваясь и выбивая привычными ударами пробки из «шкаликов», они пили и закусывали на-ходу. Приученные лошади шли не останавливаясь.

Эдя хорошо знал, что лучшего момента для нападения на вожделенные мешки не существует...

Уже в то время Багрицкий читал наизусть отдельные главы «Евгения Онегина», проглатывая Достоевского вперемежку с Луи Буссенаром, Густавом Эмаром и Вальтер-Скоттом. Но ни один, — даже самый снисходительный, — воспитатель не квалифицировал бы его как «ангелочка»...

Зимой Багрицкий еще кое-как занимался, но едва наступала весна, как он одним из первых открывал сезон «казны». На школьном жаргоне того времени «править казну» значило: уйдя утром с ранцем из дому, вместо школы удрать куда-нибудь за город.

Любимыми местами Эди были Александровский парк и Ланжерон. Однако в самый разгар «сезона» эти места становились небезопасными. Нередко классы пустели так заметно, что школа устраивала облавы на «казноправов». Багрицкого ловили, изобличали при помощи родителей. А он... стойко переносил кары и вскоре снова оповещал своих единомышленников: завтра правим казну...

Позже, вспоминая об этом периоде своей жизни, Эдуард любил рассказывать, как однажды на «казне», поставив за-

падню и подкарауливая птицу, он увидел издалека направлявшегося к нему классного надзирателя. Позабыв в охотничьем азарте все на свете, Эдя бросился навстречу своему «педелю» с криком:

— Не ходите туда, Семен Петрович, вы мне птичку спугнете!..

За лето Багрицкий и окружавшая его братия порядочно дичали. Во всяком случае крепость черноморского жаргона усиливалась значительно, а во время одного из путешествий случилось так, что один из «пиратов» прострелил другому руку.

При всей своей привязанности к природе, Эдя никогда не был сентиментален. Птиц и рыб он всегда любил больше всего, но крючок, проглоченный рыбой слишком глубоко, он вырывал с жабрами и внутренностями...

Живой и темпераментный, Багрицкий увлекался иногда самыми неожиданными вещами. Когда он узнал, что герой купринского «Гамбринуса» Сашка-музыкант продолжает здравствовать и играет в том же кабаке, он немедленно отправился туда, свел знакомство с Сашкой, очень гордился этим знакомством и одну зиму вообще никаких других развлечений, кроме посещения «Гамбринуса», не хотел признавать.

«Гамбринус» к тому времени сохранил почти полностью обстановку, описанную Куприным. Сашка сидел на положенном месте и под аккомпанемент гармонии и фортепиано играл попеременно то на скрипке, то на окарине.

Обмотав пуговицы ученических тужурок специально изготовленными черными коленкоровыми лентами и запрятав подальше форменные фуражки, Эдуард и его компания не без натяжки сходили за «легальных» посетителей. Впрочем, ни одно учебное начальство не рисковало спускаться во владения пивного короля.

Изредка, в перерыве между музыкальными номерами, Сашка подсаживался к расцветавшему от гордости Эде, выпивал кружку пива, хлопая поочередно всех по плечу, называл «фартовыми парнями» и награждал другими, менее

приличными эпитетами, долженствовавшими обозначать высшую степень одобрения...

Однажды вечером, в «Гамбринусе» же, какой-то дядя, изрядно хвативший, подошел к Багрицкому и, порывшись в карманах засаленного пиджака, воротник которого был поднят, торжественно вручил слегка оторопевшей от подобной галантности компании визитную карточку. На ней стояло: Иван Николаевич Мельников, парусник¹.

Отчаянный пьяница и уже начавший опускаться человек, парусник оказался веселым и занимательным рассказчиком, питавшим, очевидно, особенную слабость к молодой аудитории. Врал он самым бессовестным образом, хвастун был неимоверный, но рассказывал так увлекательно и хвастал так убедительно, что, если бы он когда-либо всерьез задумал реализовать свой боевой «номер» — прокатить любого из нас на шаланде под парусом до Марселя и обратно, — никто не рискнул бы ответить отказом.

Эдя ему нравился больше других, — вероятно, потому, что был весьма внимательным слушателем сочиняемых историй. Никогда не беря под сомнение правдивость последних, Багрицкий и сам любил выдавать за быль эпизоды, почерпнутые им из Жюль-Верна, Стивенсона, Хаггарда...

С раннего детства Эдя любил рисовать.

Рисовал он очень быстро, — широкими, размашистыми штрихами, как-то по-особенному, боком.

Упрашивать Эдю не приходилось, — он охотно выполнял любые задания и, к удовольствию окружающих, просиживал за рисованием иногда целые вечера. Часто под этими рисунками тут же появлялся стихотворный текст. Много таких рисунков ходило в то время по рукам.

Как-то сама собою родилась мысль об издании рукописного журнала. В те дни (1911—1912 гг.) издание подобных журналов широко практиковалось в школах, несмотря на строжайшее запрещение их учебным начальством.

Журнал решено было выпускать в школе, где училось

¹ Парусник — парусный мастер.

большинство его инициаторов. Эдя оказался единственным «посторонним» сотрудником. Журналу дали название «Д н и н а ш е й ж и з н и». Огромный, подлинный успех имел только Багрицкий. Журнал был разрисован акварелью, цветными карандашами, пером — им одним, начиная с титула и кончая обложкой.

Между прочим, Эдя долго никак не мог подобрать себе псевдоним. Журнал уже был готов, рисунки вклеены, но подписи художника на них все еще не было. Багрицкий сидел, вертя в руке карандаш, и отвергал один псевдоним за другим.

После того как были отвергнуты все традиционные «осы», «жала» и «комары», раздосадованный редактор «Дней нашей жизни» вдруг категорически заявил:

— Вот что. Ты будешь именоваться «Дези». Твоя фамилия Дзюбин, — первая буква «Де» остается, ко второй — «З» — прибавим «и», в итоге «Дези»... Правда, псевдоним получается вроде как женский, но теперь у нас не хуже чем в «Сатириконе»: там у художника Ремизова псевдоним «Ре-ми»...

Все это было произнесено настолько решительно и быстро, что Эдя не успел даже собраться с духом и отказаться.

Всего вышло четыре или пять номеров этого журнала, и все они были разрисованы Багрицким. Стихов он тогда еще почти не писал, довольствуясь славой и высоким званием «главного художника»...

В 1931 году я случайно обнаружил у себя тетрадь с юношескими рисунками Эдуарда. Рассматривая эти разрисованные им двадцать лет назад листки, Багрицкий с оттенком некоторого сожаления в голосе обронил:

— А ведь я когда-то действительно не плохо рисовал...

Многим, кто рос в те годы с Эдей, впервые из его уст довелось услышать, как звучат стихи Блока. Все мы только от него узнали о существовании Иннокентия Анненского.

Первые приступы астмы надолго заперли Эдуарда в полутемную конуру на Ремесленной улице. Он сидел на ши-

рокой кровати, с черной повязкой на долго не заживавшей ране на щеке (последствие флюса).

Появились его первые стихи,— в них были мачты, морская пена, таверны, смелые юнги. На столе росла стопка книг любимых поэтов...

Так начинался путь Багрицкого-поэта. Не легкий, славный путь будущего романтика революции, будущего певца гражданской войны.

1917—1921 ГОДЫ

I

В седьмой аудитории Новороссийского университета я впервые познала страх и томление первой славы. С фронтов в отпуск приезжали прапорщики и не по-военному толпились в коридорах. Контуженные дергали головами, контуженные заикались. Раненые бережно, как букеты, проносили в аудиторию свои забинтованные руки, и девушки уступали им места.

Между защитными гимнастерками порхали крепдешиновые бантики поэтов. В Ботническом шхерном заливе тяжело поворачивались миноноски, а для нас там все еще благоухала Мирэллия Северянина. Поэзия Анны Ахматовой в Одессе выродилась в «ахматовщину». Такого рода произведениями мы услаждали в тот вечер слух публики.

И вот появился Багрицкий.

Я увидела его в узком канале, между двумя массивами скамей. Он шел, накрываясь, неся перед собой руку со сведенным пальцем, слабо повторенный сдержанным блеском пола. Чем-то смутно он напоминал парусное судно. Толстый и легкий Ленька Грек приплясывал перед ним.

«Это лощман», подумала я.

Багрицкий шел громить эстетов. Я это поняла по его решительному виду и по страху, который начался во мне где-то с середины живота.

Но не я одна его узнала. Вся аудитория вскочила на ноги. Все закричали:

— Багрицкий!

— Полководец!

— Суворов!

— Багрицкий!

Это было похоже на клички. Но я уже понимала, что это — названия стихов.

— Багриценко, — сказал Ленька Грек, изгибаясь в поклоне, — оставим малюток в покое. Взойдите на эшафот.

Электричества не было в этот день. На кафедре терпеливо потрескивали два огарка. И вот — началось.

На кафедре, как леопард,
Взлетел Багрицкий Эдуард.

— Полководец! — опять заорали в публике.

Но Багрицкий остановил их движением руки.

— Я прочту настоящие стихи, — сказал он.

И он читал чужие стихи. Леконт де-Лиля, Гумилева. Он давил криком пламя. Оно пригибалось, и тогда огромная тень Багрицкого шарила по стене. Вдруг она перехватывала угол. Она клевала носом скромную девушку в косынке сестры милосердия. Это было так страшно, что девушка пересела на другое место.

Сходя с кафедры, Багрицкий тяжело дышал. Мне было слышно и видно, как билось его сердце.

Но толпа пробкой стояла в проходе. Багрицкому не давали уйти.

— Суворова! — орали молодые люди. — Полководца!

— Я прочту им «Полководца», Ленька, — сказал Багрицкий.

Эти его юношеские стихи я помню до сих пор:

За пыльным золотом тяжелых колесниц,
Летящих к пурпуру слепительных подножий,
Курчавые рабы с натертой салом кожей
Проводят под уздцы нубийских кобылиц.
И там, где бронзовым закатом сожжены
Кроваво-красных гор обрывистые склоны,
Проходят медленно тяжелые слоны,
Влача в седой пыли расшитые попоны.
Свирепых воинов сзывают в бой рога;

И вот они ползут, прикрыв щитами спины,
По выжженному дну заброшенной стремнины
К раскинутым шатрам — становищу врага.
Но в тихом лагере им слышен хрип трубы,
И видно, как орлы взнеслись над легионом,
Как пурпурный закат на бронзовые лбы
Льет киноварь и медь потоком раскаленным.
Ржавеет густо кровь на лезвиях мечей,
Стекает каплями со стрел, пронзивших спины,
И трупы бледные сжимают комья глины
Кривыми пальцами с огрызками ногтей.
Но молча он застыл на выжженной горе,
Как на воздвигнутом веками пьедестале,
И профиль сумрачный сияет на заре,
Как будто выбитый на огненной медали.

Стихи эти были, конечно, крайне схожи и гораздо хуже Эредиа, но тогда, на фоне «вервен», они казались открытием.

Не сговариваясь, мы вышли вместе.

— Отчего же вы, поэтесса, не читали стихи? — спросил Багрицкий.

— Хватит, — сказала я.

Туманом надвигало на нас собор.

Мы вышли на площадь. Галантным жестом Багрицкий вытер фуражкой скамейку:

— Садитесь, герцогиня.

Я села.

— А ну-ка, почитайте, что у вас там есть за Гекубу, — сказал Багрицкий.

И тотчас же это стихотворение показалось мне самым лучшим из всего написанного мною. Я немедленно исполнила его приказание.

Он помолчал.

— Да, — сказал он, — не хо-ро-шо. Но ничего, я научу вас писать хорошие стихи. И, потом, снимите эту байду с головы.

Байда — это был золотой обруч, который несколько дней назад я купила на последние деньги. Я сняла шляпу, а затем обруч. Багрицкий хозяйственно потрогал его пальцем:

— Золото?



Э. Багрицкий в Реальном училище (1911)

— Американское, — сказала я.

Он смял его в руке и бросил в кусты. С этого дня началась наша дружба.

2

Эдя приходил ко мне ежедневно по утрам, съедал все съестное, что могло уцелеть в доме, и, убирая в рот пальцем крошки со стола, спрашивал:

— Триолет написали?

— Я написала хорошее стихотворение, — говорила я робко.

— Хорошие стихотворения вы будете писать в тысяча девятьсот тридцатом году. Давайте триолет.

За эти два месяца учебы я писала триолеты, терцины, октавы, сонеты и отдыхала на французских балладах и газеллах.

Вдвоем с Эдуардом мы написали настоящую французскую балладу, не хуже Франсуа Виллона (как мне тогда казалось). Эдей было написано только *envoye* и в середине — две-три строки. Он занес это произведение в редакцию, получил деньги и пропил их, и я понимала, что так оно и должно было быть.

Я не припоминаю ни одного поэта, о существовании которого я бы узнала не через Эдуарда. Вплоть до Шиллера, Клопштока и Гете, которые в свое время для меня были опорочены гимназией. Эдя первый научил нас читать и понимать Маяковского.

3

Багрицкий пришел к нам мэтром. Но учеником сел он вместе с нами за учебу.

О, мы умели обращаться с вещами! Мы их не бросали как кольца, на какой колышек попало — там и останется. У нас слова не шатались, они были плотно пригнаны и не страдали от перевозок. Юношеские катаевские рассказы, перевезенные в Москву, не стали от этого хуже. А многие ли провинциалы могут этим похвалиться?

Мы были волчата. Мы не баловали друг друга похвала-

ми. Когда я прочла свой роман в стихах о любви и смерти Толи Фиолетова и Багрицкий сказал, что это «очень хорошо», — я подозрительно оглядела всех: я была уверена, что они надо мной издеваются.

Целые полчища слов мы вывели из употребления: «красивый», «стильный», «змеится», «стихийно»... Мы их затапывали, как окурки.

Я помню, как кто-то (вероятно, Адалис), под шумок, протаскил к нам слово реминисценция. Оно прижилось и уже побрякивало кое-где в разговоре. И я точно помню день, когда Багрицкий его убил. Он расправился с ним в упор, как честный враг.

— Слова реминисценция не существует, — сказал он. — Говорите — литературная кража, воровство, плагиат, наконец, если вам уж так нравится.

И слово реминисценция перестало существовать.

4

Мы были безжалостны к себе и другим. Говорят, что это проходит с молодостью. Но Эдя был старше нас всех, а именно он ввел безжалостность в догму. Помню, Олеша читал стихи о Моцарте. Там были строки:

... и плотно сжал Сальери
Иссохший рот средневековых пап.

Что-то в этом было не «то». Мы обдумывали. А Багрицкий сказал просто:

— Иссохший рот средневековых мам.

И кончено. Стихотворения больше не существовало. Мы были изумительно безжалостны. Сентиментально настроенный киевский поэт Григорий В. прислал мне любезное товарищеское письмо. Он слышал о нас, ему это так нравится, — он просит разрешения навестить поэтессу Шишову на ее даче. Желательно было бы, если возможно, собрать всех остальных.

Собирать всех не нужно было. Все сами сходились ко мне ежедневно к пяти часам дня. У меня в комнате не было стола и стульев. Двери тоже не было. Единственная —

в соседнюю комнату — была заложена кирпичом. Входили ко мне через окно. Я не была любезной хозяйкой, внешняя сухость была у нас в большом ходу. Но я ждала товарищей и волновалась, когда они запаздывали.

Раньше всех приходил Багрицкий. Он шел ворча, и камни скатывались из-под его ног. Визжали подошвы по щебню. Он шел напрямик через Мало-Фонтанские свалки по битым чашкам и куриным перьям. Он приходил и требовал есть.

Потом легко спрыгивал Толя Фиолетов. Я и сейчас узнала бы его походку. Олеша в то лето мало у меня бывал. Мы были разделены территориально, так как не ходил трамвай.

Не знаю, что ожидал найти у нас Григорий В., но ему «очень, очень понравилось».

— До поры до времени не бьют по темени, — сказал Багрицкий, — почитайте-ка стихи.

Тут-то оно и началось.

Какие-то музыкальные шкатулки, гномы, незнакомки. Как можно было не понимать, что Блок неповторим!

— Вы, наверное, ставите по три звездочки в начале каждой строфы? — нежно спросила я.

Григорий В. беспокойно вытягивал свою лисью мордочку:

— Это, собственно, безразлично, можно звездочку, можно тире. Мне важно, главным образом, ваше мнение о моих стихах.

— О стихах! — вдруг заревел Багрицкий. — А что вы, собственно, называете стихами?

Мы лежали на траве. Это была выносливая одесская трава, которую не вытоптать слонам. Она была тонкая и желтая и лезла на глаза, как волосы. Земля под ней была сухая, и в ней поблескивала соль. Над всем этим стояло широкое одесское небо, оно заканчивалось широким одесским морем. Над Дофиновкой летел синий косячок, — на том берегу шел дождь. Может быть, даже цвели акации.

Как видите, все было приспособлено для чтения стихов, дружественного обмена мнениями.

Таким, вероятно, представлял себе этот вечер Григорий В., подъезжая к Малому Фонтану.

Но было совсем другое. Рев Багрицкого стоял столбом.

Немецкий часовой, шагая вдоль колючей проволоки, все время поглядывал в нашу сторону. На Григория В. жалко было смотреть. Он дрожащими руками запихивал в новенький портфельчик свои стихи, а из карманов его валялись багажные квитанции.

Мне вспоминается, как однажды, гуляя над Тилигульским лиманом, я со своим сыном нашла чью-то круглую норку. Марик засунул туда палку.

— Мамочка, здесь, наверно, живет зайчик.

Из норки выскочило нечто. Оно было чуть поменьше куницы и чуть побольше хорька. Оно взлетало почти к самым нашим лицам, грызло палку, свистело, шипело и сверкало зелеными глазками.

Такими, вероятно, запомнил нас Григорий В., отъезжая в Киев...

5

Но волчата иногда разрешали себе порезвиться. Ведь все-таки нам пятерым было меньше ста лет, а самому старшему из нас не минуло еще двадцати трех. Забавлялись мы разное, но всегда Эдуард был инициатором и главным актером.

Иногда расставлялись на ковре белые, даренные «на счастье», фаянсовые слоны, и он извивался между ними и шипел. Он был «старший питон» джунглей.

Я очень хорошо помню, как Эдуард, по-пиратски повязанный красным платком, с петлей на шее изображал Фому Ягненка, идущего на виселицу, а Толя Фиолетов с подушкой на животе — его беременную и вероломную подругу.

Этот же красный платок участвовал в другой картине. Эдя повязывал им лицо, нахлобучивая кэпи на глаза, подымал воротник, вытягивал вперед руку и крючком выпускал палец. Он крался вдоль стены, как кошка. Это была «Маска», которая смеется, или Железный Коготь».

Это был грубый, пантагрюэлевский юмор.

Остроты Багрицкого вообще были далеки от логики. Они строились на абсурде, на игре слов. Эдуард любил давать прозвища, иногда бессмысленные, иногда имеющие глубоко-

кое содержание, но всегда прилипающие к человеку (одесского журналиста Незнакомца он прозвал «насекомец»).

Не одессит, попадавший в нашу компанию, вообще не мог уловить, что, собственно, было смешного в Эдиных плясках: «Данс Маккаби», «Танго Геховер» или «Мазурка Бродского». Причем, из-за отсутствия слуха, Эдя танцевал их под мотив «Яблочка» или «Дерибасовской».

Сколько я ни стараюсь, я не могу припомнить ни одного личного врага Багрицкого. Он горячо и остро ненавидел только бездарных, тупых и глупых людей, претендующих на место в искусстве.

От поэта, художника, актера Багрицкий требовал высокой, исступленной артистичности, отсутствия мещанства.

Не плохой декоратор, Эдя был приглашен как-то художником Предаевичем расписывать антре одного из театров малых форм Одессы. Мы с Фиолетовым, помню, принесли ему завтрак. Было ветрено. Стояли лужи. Летали занавески.

Манерно отставляя мизинец, актриса П. стояла в окне над сиренью, поправляя модные красные волосы. Сиреневые глаза. Сирень в вазах. Сиреневые лужи. Стояла настоящая весна, чорт побори, и женщина была прекрасна.

Эдя тоже был не плох в расстегнутой рубаше с серой чолкой, падающей на глаза. Он, подмигнув нам, подошел к окну. Актриса была довольна. Она повернула к нему отчетливое белое лицо и ждала.

— Тетя, — сказал Багрицкий, — тетя, дайте мне бузок!¹

Стукнула ставня, и ни в этот, ни в следующие дни актриса у окна не появлялась.

А между тем она, несомненно, нравилась Эдуарду и даже, может быть, виделась ему в снах.

Но он ей мстил за отставленный мизинец, за претенциозность, за дурной тон.

К сожалению, я никогда не записывала Эдиных «хоxm». Но кое-что уцелело в моей памяти.

¹ Бузок — по-украински — сирень.

О Ю. Олеше в период его ухаживаний за Лидией С—ой, которая носила японский халатик:

Ах, ходит в кимоно кореец, —
Чего не делает вино, —
На что Олеша европеец,
Но тоже лезет в кимоно.

Обладая отменными плечами, упомянутая Лидия С—ва любила, чтобы с них как бы незначай соскальзывали одежды, на что Эдей было замечено:

Даже Олешу любя,
Не надо выходить из себя.

Я не могу восстановить очень смешную песенку Багрицкого о членах одесской литературной организации «Поток» (пародию на Киплинга), которая начиналась так:

Там справа Захаров, и слева Чернов,
И Я-ко-вен-ко есть,
Там столько еврейских и гойских голов,
Там прямо талантов не счесть...

Об одесском поэте Семене К., который появлялся в обществе исключительно об руку с мамашей, Эдя написал:

Мне мама не дает ни водки, ни вина,
Она твердит: вино бросает в жар любовный,
Мой Сема должен быть, как камень, хладнокровный,
Любить родителей и не кричать со сна.

6

Где-то в статье о Багрицком я прочла слово «гетто». Где они могли его отыскать под нашим веселым одесским небом! Выходец из гетто — да это ведь мальчик с бледными ушами, ешиботник, человек, который говорит: «птичка», «цветочек», «травка».

(Да-да, именно — даже у такого большого поэта, как Хаим Бялик, вы читаете: птичка, цветочек, дерево.)

Багрицкий говорит: зяблик, щегол, пеночка. Он говорит: вяз, тополь, осина.

Не помню, кто говорил или писал, что Багрицкий сутулился, что у него были, непропорционально туловищу, тонкие ноги. Это неправда. У Багрицкого было всего три изъяна: нехватало переднего зуба, не сгибался палец на правой руке, и щеку пересекал шрам (фистула — знали мы, сабельный шрам — думали девушки). Неуклюжим его делала скверно сшитая и невнимательно, как слепым, надеваемая одежда.

Я говорю, конечно, о молодом Багрицком. Седым и толстым я его уже не видела...

7

В 1919 году Багрицкий, Катаев, Олеша работали в Бупе¹. Их частушки ходили по всей Украине. Их «Петрушки» собирали толпы на улицах и заставляли забывать о тифе и голоде.

Ананьевский комиссар т. Брухнов вербовал охотников в продотряд. Под Ананьевым хозяйничали гандрабурские лесники, на Балту двигался Махно, на Одессу наступал атаман Григорьев.

Я уехала с Брухновым. Эдя еще раньше меня должен был отправиться на фронт с агитпоездом. Была суматоха и спешка, и мы даже не попрощались...

За два дня мы проехали семьдесят пять верст. Наконец что-то случилось, и поезд совсем остановился.

Я выглянула в дверь. Было раннее утро. На запасном пути догорал небольшой состав. Плечо к плечу с нашим поездом стоял поезд Мишки Япончика — уже, очевидно, не первые сутки. Это было заметно по незначительным признакам оседлости — ведром с кипятком, засыхающим на пути помоям, картофельной шелухе.

О Мишке Япончике и людях его отряда пели песни в Одессе и рассказывали анекдоты. Я с интересом заглянула к ним.

Человек с добрым собачьим бельмом на глазу, голый по пояс, умывался из крошечной жестяной кружки. Мне пока-

¹ Буп — Бюро украинской печати (Роста на Украине).

зали Мишку Япончика. Он, тоже голый по пояс, стоял в классической позе со скрипкой в руках.

Скрипка взвизгивала и выдиралась из его пальцев, но он ловил ее подбородком и снова подымал смычок. Он был пьян. У ног его грудами были навалены финики.

Все это было похоже на сон.

И, вдруг, уже совершенно как во сне, откуда-то сбоку набежал поезд, весь забронированный фанерными щитами плакатов. Полотна с лозунгами вились над ним, как свитки торы. Глаз так привык к желтым, синим и зеленым пассажирским цветам и краплаку товарных вагонов, что не воспринимал как поезд то, что двигалось на нас.

Столкновение было неминуемо, но чудовище остановилось за метр до нашего паровоза.

Внезапно я поняла, что это и есть агитпоезд. Я соскочила и пошла отыскивать Багрицкого. Я в пути отсидела ноги, они подламывались, и я уже думала повернуть обратно. Эдя первый увидел и окликнул меня. Он сидел с машинистом в кочегарке, был измазан сажей и смеялся.

Путь, по которому следовала агитка, был взорван, и ее перевели на другие рельсы. Этим и объяснялась наша остановка. Их поезд был тоже завален финиками.

Оказалось — это было оставленное бежавшими французами наследство.

Багрицкий насыпал мне полные карманы фиников. Конечно, это было лучше французского же горохового хлеба, которым мы питались в Одессе.

8

Через С. Пиговича я получила привет и записочку от Багрицкого. Он просил меня подробно писать все о жизни продотряда. Он уже вернулся в Одессу и работал в губполитпросвете.

Я ему тотчас же ответила. Я подробно описывала ему кулацкие восстания, деянки Балтского лесничества.

Еще, очевидно, действовала потребность в ежедневном общении.

Я послала ему второе письмо, мокрое от слез, с расска-

зом о смерти нашего товарища по отряду Ремизова, которому кулаки распорол живот и насыпали пшеницы.

Ответа я не получила.

Потом меня свалила лихорадка.

Когда я очнулась, мне дали письмо в конверте из обоев. Оно было все захватано и производило впечатление дактилоскопической карточки. Оно было расклеено и заклеено двадцать раз, — ребята берегли меня от дурных известий.

Это было не так уж просто — получить по почте письмо в тысяча девятьсот двадцать первом году. Тогда в газетах печатались объявления:

«Студент едет в Балту, принимает за небольшое вознаграждение поручения и письма».

Письмо было от Багрицкого. Он писал так нежно, что я заплакала. Я, несомненно, выздоравливала.

«Зикочка, мне вас очень нехватает. Как вы там крутитесь? Стреляет ли ваш наган, и умеете ли вы его чистить?..

Посылаю вам очередную дрель, ее поют в Одессе в «Кро-тах». Можете исполнять ее на мотив еврейской мелодии.

Целую ваши маленькие лапочки, хотя они, наверное, не мытые.

Эдя

Надо писать стихов. Надо мыть рук и чистить зубов!»

9

Вспоминая молодость, я замечаю, что слишком много о ней помню. Поэтому так трудно обо всем этом писать. Даже вкусовые ощущения и запахи возникают со страшной убедительностью. А люди и вещи — их я как будто трогаю руками.

С Эдей я рассталась только вчера.

Я хочу пройти мимо всего этого, — мне сейчас нужна схема, обобщение, скелет. Я подвожу итоги.

1917 год. Февральская революция.

Сказать по правде, я ее не заметила. Для меня она ничего не изменила. Все так же жизнью города управляли врачи и адвокаты.

Первые большевики прошумели над Одессой весенним дождем. Но земля высохла. Ветер гнал пыль.

Все слова и поступки покрывал истерический вопль Керенского.

Для меня революция по-настоящему началась только в 1919 году. Наступала директория. Несколько генералов зараз примеривали треуголку Бонапарта. Предлагалась уже последняя «Чашка чая» в кадетском клубе, в который была превращена Литературка (Литературно-артистическое о-во. На афишах так и печаталось: «Третья чашка чая» и т. д.) и где желтый и желчный Бунин стучал палкой на советскую власть.

И еще раз подтвердилась правильность оценки, которую Эдуард умел давать людям. Задолго до этого дня Эдя предсказал и творческий и общественный путь Бунина.

В Югроссте печатались проскрипционные списки. Мне некого было там искать...

А Багрицкий пришел в революцию, как в родной дом. Бездомный бродяга и романтик, он пришел, сел, бросил кепку и спросил хлеба и сала.

Тиль Уленшпигель и Ламме Гоодзак слились в нем в одно. Это было самое прекрасное сердце, какое только билось для революции.



Э. Багрицкий в 1917 году

В ПАРТИЗАНСКОМ ОТРЯДЕ

Умер Эдуард Багрицкий. Страна советов знает его как пламенного революционного поэта. Мы знаем его как поэта-бойца.

Эдуард Багрицкий—наш товарищ по Особому партизанскому отряду им. ВЦИК; он провел с нами горячие, незабываемые дни. Тов. Багрицкий, находясь в отряде, пишет прекрасные стихи, воодушевляющие бойцов. Он—автор множества листовок, разъясняющих трудящимся сущность событий, призывающих к защите советской власти и укреплению диктатуры пролетариата.

Мы прекрасно помним, как небольшие желтые листочки разбрасывались нашими разведчиками далеко впереди цепей и читались по деревням крестьянами и рабочими.

Оружие т. Багрицкого всегда разило, всегда мгновенно отзывалось на запросы момента.

Деникин занял Донбасс, неустойчивые элементы дрогнули, в рядах Красной армии остались самые испытанные, закаленные. Особый партизанский отряд перестроивается в Отдельную бригаду 14-й армии, пополняется рабочими и бывшими солдатами.

Багрицкий был нашим любимым, чудесным и самоотверженным товарищем, скромным и задушевным. Сегодня, когда вся страна говорит: умер поэт,—мы говорим: умер наш соратник-красноармеец.

Склоним боевые знамена!

1934 г.

Командиры и бойцы бывшего партизанского отряда им. ВЦИК: Д. ДМИТРИЕВ, В. БОЛЯ, РАИСА АЗАРХ, Н. НИКОЛАЕВ, А. ДАТКОВ, Ф. МИНИН, ДНЕСТРОВСКИЙ, С. БЕРЕЗОВ, МУКОМЛЬ, О. ШОР, Р. РОМАШОВ, А. КРИЖАНОВСКИЙ, Л. ЕРЕМЕЕВ.

Воззвание.

Товарищи рабочие, крестьяне и бывшие солдаты!

В час последнего напряжения наших сил, направивших все свои замыслы против борцов за свободу и правду, нельзя оставаться безучастным. Всякий, кто не хочет, чтобы злоден затиснул тот священный пламень революции, который должен зажечь весь мир, должен с открытым сердцем и смелым взглядом взяться за дело освобождения. Нам много, но мы должны повести за собой и другие народы, которые еще и до сих пор в темноте, окружающей их ночи, с нетерпением жагут спасительного огня революции.

Товарищи рабочие!

Мы боремся за защиту Ваших «роковых» прав против угнетателей, под игом которых вы находились столько лет и чья власть не позволяла вам ни широко вздохнуть, ни раскрыть глаза на происходившее. Они, эти враги революции, еще надеются на то, что к ним возвратится их прежняя сила. Товарищи! Лишите их этой надежды. Кто может носить оружие, записывайтесь в ряды Красной Армии, кто оружия носить не может, пусть записывается по специальности.

Товарищи крестьяне!

Помните, что враги революции прежде всего отнимут у вас землю для тех, которые помогут им занять прежнее положение и вернуть прежнюю власть. Знайте, что все обещания контр-революционеров лживы, что они хотят ослепить вас блеском золота, которое потом окажется навозом.

Идите отстаивать землю, залитую вашим потом, записывайтесь в ряды красной армии.

Товарищи бывшие солдаты!

Вы еще до сих пор помните оскорбления, которые наносились вам офицерами, неужели вы хотите снова сделаться послушными орудиями в их руках? Вы, чья опытность может принести огромную пользу делу революции, не поддавайтесь, идите и записывайтесь в красную армию.

Запись производится в Штабе отдельной бригады и в Николаевском военном комиссариате.

Командир отдельной бригады ДМИТРИЕВ.

(Одна из листовок Э. Багрицкого)

К ОРУЖИЮ.

Наш главный угольный центр в руках бандитов—Донецкий бассейн заняли скопища Деникина. Товарищи рабочие и крестьяне, теперь не время разговорам и обсуждениям создававшегося положения, теперь время дела и успешной работы. Озверевшие банды офицеров и ослепленных лживыми обещаниями казаков, материально подкрепляемые привазами буржуазии всего мира хотят разрушить ту прекрасную статую Свободы, которую вы создали собственными руками и чей пьедестал залит вашей кровью. Красная армия хочет увидеть вас товарищи рабочие в своих рядах; она с нетерпением ждет вашего притока. Не заставляйте ее долго ждать! Уже больше года Красная армия своей грудью отбивает наступления контр-революционеров. Большие года она высоко держит красное знамя революции, освещенные лучами пятиугольной звезды. Теперь банды Деникина заняли наш угольный центр, без которого немислима трудовая жизнь. Товарищи рабочие, если вы хотите, чтобы снова начали работать фабрики, чтобы можно было наладить ввоз и вывоз товаров, запишитесь в Красную армию. Товарищи! преступление сидеть сложа руки, когда Советская Россия зовет вас на помощь! Товарищи! Вы защищаете свои права, вы защищаете власть Советов, в которых находятся ваши же братья рабочие! Какие же разговоры тут могут быть. Все слова лишни. Всякий, кто может носить оружие, пусть берет винтовку и идет с нами на фронт. Колебаний быть не может. Кто не с нами, тот против нас.

В последний час тревоги и труда,
Над истомленными бойцами,
Красноармейская звезда
Сияет грозными лучами.

Ружье, лопата, молот и кирка,
Теперь оружие героя,
Ничья злодейская рука
Не сможет выбить Вас из строя.
Идите братья к нам! Тревожен час!
Враги грозят свободе и народу,
Пока огонь Свободы не угас,
Идите биться за Свободу.

Запись производится в штабе Отдельной стр. бригады
Рождественская ул. Едасской.

Командир бригады Дмитриев.

(Одна из листовок Э. Багрицкого)

*Один из листовок; отню-
дней и т.ж. к
неформату французской
войны - началу 1919 г.
составленное Дмитриев
Багрицкий - в бытность
его инструктором Ко-
м.отдела Огидельной
Рождественской бригады
28.11.20г.
Д. Дмитриев*

НАС ВЕЛ ЭДУАРД

Уже год, как наш товарищ Эдуард не может больше ни чувствовать, ни действовать, ни сознать себя. Эгоистически он существует только для других. Но он любил жизнь, и смерть, как бы она ни была близка, казалась ему невозможной..

Люди, любящие жизнь, сознают лучше других, как ложно понятие «смерть», порожденное ограниченностью незрелого индивидуалистического сознания. Мы уже не совсем дикари. Работник большого, живого мира начинает реально ощущать свое социальное тело — свои рабочие отношения с другими людьми. Личный конец уже не означает для него конца всего мира. Если бы в мире не существовало возможностей света и формы, самые зоркие глаза остались бы слепыми. Любовь к жизни учит нас быть смелыми и презирать смерть.

В юности, в Одессе, Эдя считался нашим главарем не только потому, что был искусней в стихотворчестве, а потому, что был он замечательный малый, и ему хотелось жить так, как жили герои его стихов — замечательные малые: Робин Гуд и Эдвин, и Ламме Гоодзак, и сам Уленшпигель — бродяги и бунтовщики. Он завидовал тем, о ком писал и о ком читал; он воображал себя ими, он рассказывал о своих похождениях, которых подчас и не было; он дружил с рыбаками и грузчиками, но не брезговал и авантюристами и приписывал своим приятелям несуществующие биографии...

Почему же Эдя не мог жить так, как хотел? В ту пору по Одессе ходили и контрабандисты, и искатели приключений, и «стивенсоновские» моряки. Но контрабандисты были в действительности рабами тусклых круглобрюхих скупщиков... Искатели приключений занимались карманной рулеткой и шантажами зубных врачей. Белокительным бульварным капитанам плевать было на мальчишку с Ремесленной улицы, и ему было плевать в их пустые, чужие лица... А матросская жизнь была однообразна и сурова.

В ту пору в Одессе глухо кипела подпольная жизнь будущей революции; на Молдаванке, на Пересыпи, в нескладных матросских квартирках и в душных переплетных мастерских, и в подвалах на Старопортофранковской были явки молодежи, героев и бунтовщиков, не организованных еще для политических выступлений... Многие из тех ребят погибли потом в партизанских боях. Но ни Иоська Гершенгорн, заика, ни подручный слесаря Петя Курцев, ни другие такие же — не были похожи на Уленшпигеля и Гоодзака, у них не было ни знамен, ни фаготов, и пароли их были смешны (вроде — «ключ»). И не подходили к тем ребятам ни широкозеленое слово «Фландрия», ни слово «Пикардия», в котором цвел шиповник и синели рыцарские пики, и атели на закате башенные зубцы... Счастлив тот, кого сказочные слова не увели от прямого дела, кто твердо знал и песню, и правду. Эдуарда это счастье обошло...

В доисторические времена нашего детства поэзия была еще проклятьем и безумием. Жар поэзии сожрал Эдуардову жизнь: огромные двигательные силы и физическая воля перегорели в нем, как у не кормящей матери молоко. Так велик был этот жар, что даже прямые провода, соединяющие человека с остальной вселенной, — его легкие, его бронхи, его артерии — стали негодными для широкой и смелой жизни.

Мы называли Эдуарда лентяем и бездельником, обмачуемые его веселыми, грубыми шутками и жадностью к вкусной жратве. Он был смертельно болен своей преданностью поэзии. Тупая и жестокая жизнь доисторических времен требовала или — или: или песня, или правда. Выбрать песню значило больше, чем умереть — значило стать калекой. Эдуард не сдавался. Он ловил и приручал птиц. Он пугал

Студенческий Литературно-Художествен. Кругокъ

1-й Четвергъ 1918-19 г.

10 н. с. Октября 1918 г.

Зданіе Юридическаго Факультета

Преображенская, 24.

АУДИТОРІЯ № 8. — АУДИТОРІЯ № 8.

ПРОГРАММА.

ОТДѢЛЕНІЕ I-е.

Петръ Ершовъ . . . докладъ „Тургеневъ и мы“.
Валентинъ Катаевъ . . . „Октябрь“.
Георгій Долиновъ . . . Мелодекламация „На пляжъ“
исп. Вадимъ Долиновъ,
у рояля авторъ.

Антрактъ 5 минутъ.

ОТДѢЛЕНІЕ II-е.

Ефимъ Брилъ . . . „Създа дѣвушка“, стихи.
Валентинъ Катаевъ . . . „Нервы“, рассказъ.
Вадимъ Долиновъ . . . „Передъ дорогой“, стихи.
Зинаида Шишова . . . Цикль стиховъ.
Анатолій Фиолетовъ . . . Стихи.
Эдуардъ Багрицкий . . . 4 пѣсни поэмы „Послѣдній
переваль“.
Корчмаревъ Собственныя приведенія
для фортепіано.

Антрактъ 5 минутъ.

ОТДѢЛЕНІЕ III-е.

Юрій Олеся „Пракситель“, „Нарциссъ“,
стихи.
Адались Изъ цикла „Афродитъ—
Адались“.
Сергій Гольденфельдъ „Мелькартъ“, „Милетъ“,
стихи.
Георгій Долиновъ . . . „Третій“, стихи.
Э. Соминскій Ритмическая мелодекламация
къ стихамъ В. Катаева
исп. В. Долиновъ,
у рояля авторъ.

Conferencier Лидія Скринникова.

Начало ровно въ 7 часовъ.

Правленіе.

обывателей. Он шлялся по приморским окраинам и в порту. Он вел молодых поэтов в бой с мещанами литературных салонов и продажных газет. Он хотел жить в полную силу своего внутреннего огня...

У нас в детстве не было барабанов. То, что звучит и прыгает в руках пионера, звучало для Эдуарда лишь в прекрасном слове «Брабант». А двенадцатилетний сын Эди владеет огнестрельным оружием, переплывает Москва-реку и ездит гостить в припамирский город Ош. Так, сам того не сознавая, он мстит истории за отца. Дети нашей эпохи играют на красных с золотом «брабантах» и пишут письма пионерам зеленой Фландрии. Мы, оставшиеся в живых, владеем в легендарных степях поместьями совхозов, строим небывалые города. У нас есть широкие бархатные знамена, владетельный герб, приморские виллы. Поэт будет отомщен. Наши дети доучатся за него и мореходству и пилотажу.

Эдуард был узником. Как демонстрация протеста, кипела под окнами его квартиры братская жизнь. Он радовался ей. В свои последние годы он сидел на тахте под телефоном, у квадратного стола, засыпанного табаком. Кругом шла толчея. Приходили и уходили молодые поэты и старые товарищи — писатели, краскомы, чекисты, рыбоводы, шофера, летчики... Приходили прощаться, отъезжая в командировку, и здороваться, вернувшись с края света; советоваться, куда ехать; справляться, о чем стоило бы написать. Эдуард любил напутствовать отъезжающих и приветствовать вернувшихся. Он выпрашивал, нетерпеливо кивая головой: «Ну? Ну? Ну?» Бывало, рассказываешь Эдуарду о поездках, — и рассказывать уже нечего: начинаешь врать. Но врать нельзя было. Мастер «брехни» и «понта», Эдя унюхивал ложь за тридевять земель. Не раз и не два пыталась я навести экзотическую тень — для собственного возвеличения и для удовольствия Эдуарда. Но он умел мгновенно мобилизовать по телефону армию разоблачителей. Твердыми шагами вступал в комнату слегка смущенный своей миссией прямодушный начдив, корректно вливал хитрый, длинноносый художник и влетал всезнающий юноша в очках. Так, холодея от ужаса, я узнала, что южный склон величавого пика Гармо, излюбленный мной как

декорация для автобиографических рассказов, отстоит много северней тех скромных припамирских предгорий, где я занималась не столько высокогорным туризмом, сколько переписью малоземельных кишлаков... Пришлось сознаться и в том, что басмач, доставленный мной в милицию Эски-Чарджуя, был не столько Джунаид-ханом, сколько запуганным баями старым дураком.

— Уж я бы взял настоящего, — буркнул Эдя, — а ты — понтовщица...

Но, разоблачая товарищей, Эдя был печален. На его ястребином лице отражались одновременно искренняя жалость и напускное презрение. Он страстно желал, чтобы наши рассказы оказались правдой. И однажды он сказал мне как-то очень по-хорошему и словно по секрету:

— Ты, когда идешь в горы, учись управлять дыханьем, дыши вот так, — показать ему бедняге, конечно, не удалось, — а когда путник спускается вниз, он должен переносить центр тяжести на задние ноги, то-есть на каблуки. Я это знаю точно. Я тебе дам секретное письмо к одному человеку, тебя возьмут в совершенно невероятную экспедицию...

Эдя умер и не дал мне секретного письма к «одному человеку».

С конца марта до конца мая в Одессе дуют перед закатом золотые ветра... Имитируя холмы Шотландии и Умбрийские предгорья, покрывались розовыми, как вереск, сорняками бугры приморских дорог... Имитируя Марсель и Барселону, порт разноязычно бранился и благоухал смолой, а на уличных перекрестках, на теплом и сыром ветру, исступленно дрались ранцами школьники, а лавки «восточных сладостей» торговали поддельным турецким шербетом... По вечерам в раскрытые окна грязных, перенаселенных домишек тянуло медовым ароматом с блаженных островов, но то был запах сорного клевера и каши, цветших на неведомых задворках наших трущоб; он заглушал до утра селедочную вонь бакалеек и трупный дух мясных. Огромная голубая луна плыла в одесском небе. За великолепным городским театром белел, как Акрополь, музей древностей; памятник Пушкину стоял перед колоннадой бывшей городской думы...

Мы шлЯлись табуном, крича стихи или издеваясь друг над другом. Здоровые, полуголодные ребята, мы были злы, веселы и раздражительны. Нас вел Эдуард. ЧтО скрывать! Нас томили голод, зависть к богатым, хитрые планы пожрать и пошуметь на счет презираемых жертв — богатых студентов и наивных или полусумасшедших старух. Нас томила неимоверная жадность к жизни, порождающая искусство, — та жадность, когда цвет халвы, недоступной губам, уже становится цветом воспеваемой аравийской пустыни, и смазливая лавочница снится мраморной, качающейся на волнах...

Нас томило предчувствие великой судьбы, тайная и неясная мечта об участии Колумбов и полководцев. «Бригантины», «каравеллы», «Персеиды», «Афродита», «Лопе де Вега», «Стрелец», «жареный кабан на вертеле», «туманность Андромеды» — упоительные слова владели нашим отрочеством. Бригантинами мы именовали паршивые ланжероновские лодчонки. Мы чувствовали себя преувеличенно сильными, ловкими и красивыми. Был ли это так называемый «мелкобуржуазный индивидуализм», актерская жизнь воображения, «интеллектуальное пиршество» фармацевтов и маклеров? Нет, не был. Наши мечты сбылись. Мы принадлежим к поколению, которому не пришлось разочароваться. Мы действительно стали «управителями», «победителями», «владельцами» шестой части земли. Советские журналисты, советские служащие, мы проводим каналы в степях, заброшенных со времен Тамерлана. Мы проходим из колхоза в колхоз историческими путями Александра Македонского. Туманное созвездие Стрельца обернулось значками ворошиловских стрелков. Мы плаваем в Северном море. Мы выбираем в Совет. Когда Эдя умер, самая доблестная в истории армия послала проводить его в последний путь взвод молодых кавалеристов. Эдуард Багрицкий принадлежал к поколению и классу победителей. Все, чтО было завоевано ими, принадлежало и ему.

Но в тридцать пять лет Эдуард был совсем сед, бледен, как воск, отечно-толст и неподвижен. Его сделали таким и тяжелая астма, и лень. Смешного не было в этой лени; она была губельна, как туберкулез и рак. То действовал яд вредной и жестокой профессии поэтического вдохновенья.

В четырех стенах своей комнаты, пропахшей астматическим табаком, Эдуард прожил трагическую жизнь. Для этой трагедии драматургия еще не имеет ни слов, ни мизансцен. Великое горе — сознавать, что твоя победа, твоя власть, твое право быть великолепным поэтом завоеваны для тебя не самим тобой. «Перо — оружие», «песня — взрывчатый снаряд», — так утешают себя поэты. Эдуард любил стихи; жизнь его была наполнена стихами. Но винтовку он любил больше, чем перо...

Поэт близкого будущего исполнит мечту Эдуарда — вла- деть равно действительной жизнью, и словом, и мелоди- ей. Эдуард еще добьется своего от исторической судьбы! Нельзя сказать о человеке, что он умер, пока он работает на будущее. Реальнейшее, что есть в человеке, это его рабо- та; она бессмертна, как всякая материя, — не потому, что о ней будут помнить, а потому, что она движется вперед. Дружба велит живому сказать мертвым: можешь еще смот- реть моими глазами, строить моими руками: ты меня учил. У нас, по старой, доисторической памяти, еще заклиняют мертвых: «спи с миром». Это — злые, дикарские слова, ра- бочей дружбы в них нет. Нам не пристало спать с миром, даже когда мы умираем.

БАГРИЦКИЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Об Эдуарде Багрицком нельзя сказать, что он писал о животных. Нет: животный мир себя писал в Багрицком. Багрицкий был переводчиком с языка фауны на язык поэзии, и, о чем бы он ни писал, почерк у него был всегда звериный. По диагоналям бумажных клочков, на которые он заносил свои стихи, пробегали звездчатые следы голенастых птиц. Волосатые хищники терлись об них своими боками и размазывали невысохшие чернила. Щучьи хвосты заляпывали рукописи Багрицкого поемной водой, и в этой воде кишели инфузории...

Обязательным персонажем в басне всех времен и народов было животное.

Но шакалы арабского цикла «Калила ва Димна» и журавль русского баснописца Крылова — только аллегории, только символы абстрактных понятий. Герои поэмы римского поэта Эмилия Макра «Ornithogonia» — птицы. Но это не более как научный труд, которым пользовались натуралист Плиний и эпик Лукан. Древнегреческая «Батрахомиомехия» — это «война мышей и лягушек». Но каких мышей и каких лягушек? Это — только злободневная политическая сатира. Звери Гюго служат ему зеркалом божьего и человеческого величия. Звери Леконта де-Лиля служат ему натурой для академических стихотворных изваяний. Звери Бодлера — материал для инсценировок парижского театра «Гран-Гиньоль». Звери Эдгара По, его черные вороны и черные пантеры, восходят по прямой линии к анималистскому культу древних народов. Звери Киплинга,

даже в тех редких случаях, когда они не говорят человеческим голосом, выступают как многоликие подданные ее величества королевы Великобритании. Тигрица из лермонтовско-шиллеровской «Перчатки» или барс из лермонтовской поэмы «Мцыри» самодовлеющей роли не играют.

Для поэтов-акмеистов звери — лишь то, о чем стоило порой написать, причем один (Н. Гумилев) это делал потому, что ему надо было показать в своих стихах великолепие экзотических форм, необходимых ему как атрибуты его устремленной в черный материк поэзии; другой (В. Нарбут) это делал из побуждений, совершенно противоположных, потому что ультра-реалистическое изображение свиньи он мог, например, противопоставить враждебным ему красотам символистской поэзии; третий, наконец (М. Зенкевич), это делал потому, что его голосу был свойственен апокалиптический регистр, а махайродусы допотопной фауны таковому соответствовали.

Был, впрочем, один поэт, которому был очень сродни Багрицкий в своем подходе к животному миру. В творчестве этого поэта так же, как и в творчестве Багрицкого, животный мотив был предельно активизирован, но в порядке обратной пропорциональности, — воля поэта в выборе им эпитета, трюпа, фигуры, наконец, просто лексики, была предельно пассивизирована за счет властного языка господствовавшей над ним фауны. Это был безымянный автор «Слова о полку Игореве». Оба они понимали язык зверя и птицы настолько, что древнерусский язык одного и советско-русский, пересыпанный меридионализмами, язык другого были перешиблены каркающими, щебечущими, рычащими и брешущими акцентами необозримых лесостепных пространств нашей родины. И не случайно сам Багрицкий подчеркнул это свое родство с автором «Слова о полку Игореве» в отношении к фауне, когда прострочил свою «Думу про Опанаса» целыми парафразами из «Слова о полку Игореве»: «брешут рыжие лисицы на чумацкий табор» — у Багрицкого, и «лисицы брешут на чръвленныя щиты» — у его предшественника; «Див сулит полночным кличем гибель Приднестровью» — у одного, и «Дивъ кличетъ врѣху древа, велитъ послушати земли незнаемѣ, Вльзѣи Поморію, и Посулю»... — у другого. Помню, как летом 1920 года в одес-

ском кафе поэтов «Пеон IV» Багрицкий читал стихотворение, которое было сплошным, нарочитым и прекрасным перепевом зверистости и птичности «Слова о полку Игореве»...

Не только однородное самозабвенное служение фауне связывает творчество Багрицкого с творчеством великого гусельника. В «Думе про Опанаса» есть еще много общего с поэмой о походе на половцев Игоря Путивльского...

Не говоря уже о стихах, специально посвященных животным, у Багрицкого почти нет ни одного стихотворения, где бы живая природа не напоминала через те или иные строки о своем существовании, о сиамской связанности с ней психики этого поющего двуногого. Но несостоятельны и пошлы были имевшие когда-то место попытки обвинить Багрицкого в чрезмерном увлечении биологическими темами. Во всех своих стихах Багрицкий был высокочеловечен и мучительно предан своему времени, а его поэтический язык от самого его рождения уже был так устроен, что звуки человеческой речи, вылетающие из его горла, процеживались то через бузинный, то через сосновый, то через березовый манок Дидея.

Не вся живая природа в равной мере властвовала над Багрицким: фауна имела здесь огромный перевес над флорой. Служа первой и в творчестве и в быту, по отношению ко второй, как и по отношению к элементам неживой природы, Багрицкий приносил только ту дань, на какую его обязывало чувство художественной меры.

Подробный анализ фаунистических черт в творчестве Багрицкого необходимо было бы где-нибудь сделать: помимо того, что значение Багрицкого как поэта обязывает нас к всестороннему анализу его творчества, анализ именно этих фаунистических его черт важен с точки зрения литературоведческой (стилеведческой) методологии вследствие крайнего своеобразия и почти экспериментальной чистоты данного явления. Наряду с этим стоит еще и задача изучения и лексикологизации словаря Багрицкого, исключительного по своеобразию, богатству и целеустремленности языка...

Я никогда не сомневался в том, что из Багрицкого вышел бы очень плохой распространитель идей какого-нибудь бур-

жуазного «Общества покровительства животным». Без всякого лицемерия он, может быть, даже слишком это подчеркивая, утверждал, что его отношение к животным базируется не на сентиментальной любви к ним, не на способности его привязываться к отдельным особям, а исключительно на страстном исследовательском интересе (пример — его аквариумы), на эстетической потребности (пример — его певчие птицы), на промысловой заинтересованности (пример — его частично осуществленная мечта настрелять себе беличью шубу) и даже на честолюбии (пример — его спортивное стремление к обзаведению такими экземплярами, которых нет «ни у кого в городе»)...

Зимой 1920 года Багрицкий в первый раз пришел ко мне. Зима была голодная и холодная. Незадолго до этого одна за другой погибли от холода мои живородящие тропические рыбки, и только одна из них еще доживала свои дни, пересаженная в маленькую банку, стоявшую около железной печки, которую все равно нечем было топить. Увидев рыбку, Багрицкий, не задумываясь, назвал ее полным латинским титулом. Заметив маленький игрушечный микроскоп с десятикратным увеличением, служивший мне для наблюдения инфузорий и мелких ракообразных, он судорожно припал к нему глазом и с плохо сдерживаемым волнением долго наблюдал живую дафнию, которую с каплей воды я положил между объективом и предметным стеклышком. Этот сфероидальный прозрачный рачок, отливая всеми цветами радуги, работал перед изумленным и восторженным взором Багрицкого своими дыхательными, кровообращающими и пищеварительными органами, как работает перед взором часовщика тончайший времяобращающий и минутоварительный механизм, с которого сняли заднюю крышку.

Потом мы пустили дафнию к рыбке на ужин и занялись разглядыванием в тот же микроскопик ландышных сувоек, которые устилали на своих тонких подставочках мелкие листики моей аквариумной элодеи. Ударяя ногтем по микроскопу, Эдя (тогда еще для меня Эдуард Георгиевич) заставлял сотни сувоек, которые обсели оторванный нами ли-

сток элодеи, дружно, как по команде, приседать на своих пружиночках, чтобы через секунду-две, когда, по их мнению (конечно, если может идти речь о каком-нибудь мнении у инфузорий), опасность уже была далеко, выпрямляться снова — так же дружно и весело...

Вскоре он решил снова обзавестись рыбным хозяйством, — далеко не в первый раз в своей жизни, — и, так как ему приходилось начинать все сначала, то к нему перекочевал мой полуведерный аквариум.

Эдуард уже тогда говорил, как говорил впоследствии и в Москве, что в рыбках его интересует возможность наблюдать функции многоклеточного организма и законы, управляющие им, в наивозможной чистоте и с наивозможным удобством. Вслед за аквариумом к нему перешел на постоянное жительство и мой Золотницкий. Эта книга (носившая название «Аквариум любителя») была настольной книгой всякого рыбовода. Но у меня было старое издание, — в нем почти ничего не было о входивших в моду экзотических рыбах, и, когда Эдуард много времени спустя получил возможность обзавестись самыми последними, самыми авторитетными ихтиологическими руководствами, выписанными им из-за границы, он добродушно посмеивался над самим собою, вспоминая, что когда-то благоговейно штудировал дряхлого Золотницкого.

К бывшим тогда у меня чижу и зеленушке он отнесся скептически, заявив, что из певчих птиц ценит только аристократию: соловьев, славков, дроздов. В 1921 году он заселил свою комнату на Новосельской улице многочисленными птицами. Жадный до пения, он стремился приобрести нежных насекомоядных птиц, проблема кормления которых доставляла ему много хлопот. На подоконнике единственного окна была устроена целая птичья кухня. Здесь растирались и смешивались в различных комбинациях различные составные части сложного птичьего стола.

Птицы все-таки долго не протягивали. Однажды, придя в комнату на Новосельской, где клетки уже сильно поредели, я застал Багрицкого причащающим святых тайн черноголовую славку, которая уже была вынута из клетки и лежала перед ним на подоконнике лапками кверху с закрытыми перепонками голых век и тяжело и прерыви-

сто дышала. Он набирал в рот воды и опрыскивал свою птицу, как прачка опрыскивает белье при глажении...

Славки, дрозды, соловьи, которых немало погибло у Эдуарда в Одессе и потом в Кунцеве, — все эти бедные пичуги были в один прекрасный день вознаграждены и увековечены «Стихами о соловье и поэте»...

Часто, по базарным дням, Эдуард ходил в Одессе на Дальницкий рынок, который соответствовал московскому Трубному. Ходил с ним туда и я. Когда Эдуард попадал на рынок, где его многие торговцы знали и где относились к нему с уважением, несмотря на то, что он часто приходил с пустым карманом, — начиналась дегустация птичьих щибетов и разговоры с продавцами на таком специфически охотничьем жаргоне, что я далеко не все понимал из того, что они говорили.

Недалеко от Дальницкого рынка жил в окружении своего бойкого товара главный Кит Китыч одесской зооногции. Недавно еще только у него был блистательный зоологический магазин на Греческой улице. Но, попавши под удары борьбы с частной торговлей донэповского периода, он, представлявший в своем лице всю животноторговую стихию города, отхлынул на Молдаванку, где продолжал свое дело полуподпольно. Эдуард к нему не ходил. Слыша его имя, он как бы «бледнел, терзаясь тайно, и взоры в землю опускал». Приблизительно то же самое делал и вышеупомянутый Кит Китыч, когда слышал фамилию Багрицкого. В основе их распри лежала таинственная история с черноголовой славкой, на которую оба противника заявляли чуть ли не нотариальные претензии. Спор был академический, так как злополучная славка давно уже отошла в иной мир. Поскольку с нее уже нечего было взять, оба ревнивые воспоминателя канонизировали ее каждый в своем сердце и приписывали ей такие чудодейственные свойства, какими вообще никогда не обладала ни одна славка в мире. Кит Китыч, например, уверял, что она умела петь в четыре россыпи. Эдуард его глушил на месте горьким напоминанием о том, что по овсянистости напева она превосходила канарейку...

Как-то весной 1920 года, после совместного выступления в одном из рабочих клубов на Слободке Романовке, мы пешком возвращались в город, идя полями, пустырями и огородами. Казалось, что вокруг все мертво. Не будь со мною Багрицкого, я бы, может быть, ничего и не заметил. Но он мне доказал, что вокруг все живет. Он обращался к желтым комочкам придорожной глины с чревовещательными заклинаниями, и эти комочки превращались в суетливых перепелов. Засунув в рот пальцы, он кидал вызов безжизненным на первый взгляд веткам акации, и заинтригованные ветки отвечали птичьими голосами. Он останавливался посреди дороги с блаженным выражением лица, судорожно хватая меня за руку и задрав к небу голову, и заставлял признаваться в том, что я слышу пение жаворонка. И я признавался, хотя, грешным делом, не всегда слышал пение. Эдуард издавал предупредительное шипение, делал стойку и предлагал мне на расстоянии сорока шагов распознать греющуюся на солнце ящерицу. В ржавой окраске застоявшихся дождевых луж он учил меня распознавать скопища циклопов и запоминать местоположение этих луж, чтобы потом сюда можно было вернуться за этим идеальным рыбным кормом...

Летом 1921 года мы с ним попали на воздушные полеты каких-то цирковых «чертей». Представление происходило в одном из громадных корпусов Одесского крытого рынка. Это было время, когда все — и люди, и здания — было использовано не по прямому назначению. Ветеринарные врачи тогда служили в статистических управлениях, генералы продавали спички, портовая эстакада разбиралась на дрова, в цирке раздавались пайки, а в помещении крытого рынка шли цирковые представления.

Мы сидели с Эдуардом почти под самой трапеей, которая была не единственной под волнистой крышей громадного рынка. Этих трапеей было подвешено штук пять на большом протяжении, и отчаянные люди в черных трико перепархивали, как Эдины птицы, с одной трапеей на другую. Эдя смотрел на них горящими глазами и шептал: «О них надо написать стихи! Я непременно напишу о них стихи!»

Он пришел ко мне однажды на Софиевскую улицу и, про-

изнеся имя тогда мне еще совершенно неизвестного Мих. Зенкевича, стал читать его стихи из «Дикой порфиры». В певучем рокоте его неповторимого голоса стихи об акулах, проткнутых, как бабочки, в залах Зоологического музея, приобретали огромную силу. Он любил акмеистов как поэтов, и любил их за звериные мотивы в их стихах. К Гумилеву, между прочим, относился тогда прохладно...

Была пора кунцевской жизни Эдуарда, — пора охотничья, пора, нашедшая себе блистательное отражение в его стихах. Звериные мотивы пошли густо. Одновременно вспоминался юго-запад с его скумбрией и медузами. Печатались «Кинбурнская коса», «Лето».

В 1927 (или 1928) году Эдуард пришел ко мне в охотничьих сапогах и выпалил единым духом свою «Весну», своих «Контрабандистов» и «Синих гусаров» Асеева. Все это было ново, все это было блестяще, везде была фауна. И в «Синих гусарах» — Эдуард так читал эти стихи, что кони, казалось, летели тут же, под нашими окнами, «белыми копытами лед колотя».

Эдуард чувствовал коня нежно и тонко, как настоящий кавалерист. Когда он читал в Доме Герцена куски из еще не законченной «Думы про Опанаса», то в том месте, где у него говорится: «жеребец подымет ногу, опустит другую, будто пробует дорогу, дорогу степную», — Эдуард это показывал выразительнейшими, хотя и скупыми жестами, которых он, между прочим, никогда не стеснялся, особенно если читал стихи, в которых действовали живые существа. Оттого он так завораживал, читая «Скифы» Блока или строки Кузмина: «Кони бьются, храпят в испуге, синей лентой обвиты дуги. Волки. Снег. Бубенцы. Пальба...».

Несколько лет тому назад (кажется, в 1927 году) Эдуард сказал, что я должен, наконец, познакомить его с В. Л. Дуровым, с которым я был сам хорошо знаком. Когда я предупредил Дурова о том, что хочу приехать с поэтом Багрицким, он сказал, что будет этому очень рад, так как и сам считает себя поэтом и, во всяком случае, художником. На несколько часов Эдя попал в окружение собак, морских львов, обезьян, попугаев, крыс и многих других дрессиро-

ванных существ. Несколько часов любезный Владимир Леонидович показывал ему такие интимные стороны своей работы с зверями, которые было невозможно увидеть на цирковой арене во время его парадных выступлений.

Дуров, отличавшийся огромной проницательностью, при первом же взгляде на Багрицкого понял, что имеет дело с охотником. «А ведь вы — убийца!» — сказал старик с мягким упреком. Эдуард ответил, что охота — борьба, соревнование между человеком и природой. Однако прибавил, что охотник действительно убийца, и против этого невозможно спорить. («И, обдаваемый красной жижей, прямо под солнцем убийца рыжий... И над косматыми тростниками вырос убийца, одетый в пламя...») Потом Дуров, под конвоем десятка собак, повел нас в свой дом и по дороге, в шутовском тоне, спросил: «Так как же, товарищ Багрицкий, расценивать ваш визит? Вы пришли ко мне как поэт к поэту?» — «Нет, — ответил Эдуард, — как зверовод к звероводу». — «Вы хотите сказать: как зверогуб к зверолоубу?» — «Владимир Леонидович, сойдемся на том, что я к вам пришел как зверовод к звероведу!» На этом они помирились.

Дольше всего Эдуард был способен увлекаться рыбами. Однажды члены редакционного совета одного из издательств, которые не хотели начинать своего заседания без Багрицкого, были поставлены в известность о том, что Багрицкий приехать не может, так как у него рождает *girardinus decemmaculatus*...

К остальным животным он быстро охладевал. Когда я принес ему оригинальных тропических насекомых — «палочников», то несколько дней он очень радовался этим ярчайшим эксплуататорам способности живой природы к мимикрии, этим живым веткам, которых даже птица не трогает, когда они замирают, сложив или растопырив свои лапки и слегка раскачиваясь, как бы поколебленные ветром. Но очень скоро у него их не стало, несмотря на их долговечность и выносливость. Мне он, по крайней мере, сказал, что они просто у него разбежались. И того попуга, который был свидетелем последнего года его жизни,

он отдал довольно скоро. В первое же время он им очень увлекался. С горящими глазами он мне читал выисканное им в немецком издании Брэма стихотворение про попугая, оставшегося единственным хранителем нескольких слов языка, на котором говорило одно дикое племя, вымершее вплоть до последнего своего представителя...

Он особенно гордился, когда к нему приходили специально как к зоологу. А такие визиты были не редки. И были среди рыбоводов такие, которые видели его основное призвание в ихтиологии, а поэзию считали блажью, оправдываемую разве только что в плане необходимости зарабатывать деньги на дальнейшее расширение рыбного хозяйства. Как-то Эдуарда даже посетил директор одного южного зоопарка. С огромным юмором Эдуард рассказывал о том, как этот директор борется со скупостью местного исполкома и, чтобы иметь достаточное количество продуктов для себя и служащих, выписывает медвежий рацион по неестественно повышенным нормам...

По отношению к животному миру Багрицкий не был только дилетантом. Он, как я уже говорил, штудировал серьезную, узко-специальную литературу. Свое большое аквариумное хозяйство он вел по всем правилам строгой науки, вплоть до динамомашин для снабжения рыб воздухом.

Мужественный и прямой Эдуард без ложной скромности отметил в своей «Последней ночи», что вузовец, поэт или слесарь могут встать на почетный караул у его гроба в клубе, «среди лампочек и цветов». Но он вряд ли предполагал, что и животные придут на почетный караул, что сотня партизанских «гривунов», вкопавшись копытами в обледенелый покров кладбищенской почвы, отдаст ему воинские почести от имени всех тех животных, которые занимали такое огромное место в огромном Эдуардовом сердце.

„ХАРЧЕВНЯ“

В то время в Одессе литература была устной.

И в Одессе торговали сахарином и камешками для зажигалок. Спекулянты толпились в Пале-Рояле — в сквере у городского оперного театра, а на улице Петра Великого помещался Коллектив поэтов.

Был тогда Митя Бендер. Сам он стихов не читал, но знал со всеми пишущими. А главное — умел устраиваться.

Каким-то образом он занял обширную квартиру с обломками мебели. С ним поселился Багрицкий.

Сюда начали ходить: Олеша, Валентин Катаев, Адалис, Миних, Тарловский, Ильф, Славин, поэты «Зеленой лампы», художники и девушки, интересующиеся стихами. Заглядывал Шенгели.

Ильф тогда не был Ильфом: знали его фамилию. Он не читал, но его мнением дорожили: предполагалось, что он пишет какие-то исключительные, не похожие ни на что вещи. Он больше молчал, сидя в углу, в пенснэ, но все же он, Славин и Эдуард Багрицкий были в числе опасных и самых едких голосов с мест. Это от них пошел по рукам трепанный том Рабле.

Народу собиралось много.

Олеша писал романтические поэмы. Маленький и молодой, он внятно декламировал, как, впрочем, и теперь читает прозу.

В то время Олеша читал частями поэму «Беатриче». В

поэме говорилось о дождях, розах, о девушках и круглых матовых латах. «Конь бел, как горlinka, — произносил чтец, — конь бел, как рыба...» Поэма заключалась следующей строфой:

Отвергнутый, я к богу прихожу.
И спросит он: «Чего тебе я не дал?»
Чего желать, — тогда ему скажу, —
Коль я любовь великую изведal?

Короткое время просуществовал журнальчик «Облава». Журнал редактировался Нарбутом, заведывавшим тогда Югрой. Багрицкий, Олеша и Катаев работали в Югрой.

Для первого номера «Облавы» решили написать стихи на тему заголовка. Собрания в Коллективе происходили по средам и пятницам. В одну из пятниц читались эти стихи на тему. Это был один из первых примеров социального заказа.

Олеша и Катаев прочитали длинные, но шуточные стихотворения. Олеша начинал так:

Двадцатый год. Как низко пал ты!
Перегружен, теряя дух,
Бредешь от Жлобина до Балты,
И от Борщей до Попелух...

И это стихотворение Олеша прочитал внятно и «с ударением». Как первый ученик. Прочитал он, Катаев...

— Теперь, — важно сказал Олеша, — будет читать Багрицкий.

Багрицкий читал, слегка кривя рот, слегка пришепетывая, но мужественным, твердым и хрипловатым голосом. Он только что пришел с Ланжерона, где целый день провел на шаланде в море.

Багрицкий читал, опустив голову, полуприкрыв глаза и строго взглядывал из-под ресниц вкось. Ресницы были у него длинные. Руками он упирался в стол.

Своим стихотворением Эдуард дал неожиданное решение задачи. Стихотворение так и называлось «Облава». Описывалась облава на медведя.

Оно было непривычно. Белые стихи усиливали это впечатление...

Все слышавшие Багрицкого помнят его манеру. В Одес-

се не многие читали так хорошо, как он, но, вероятно, это помогло многим уяснить для себя пафос поэзии.

Он любил тогда читать Блока. Чаще всего Багрицкий читал «Шаги командора», «Новая Америка», «Возмездие»... Багрицкий был молодым — равный среди других. Еще немного было в то время начато. Катаев начинал писать прозой. Рассказ «В осажденном городе» похвалил Бунин. Багрицкого похваливал Максимилиан Волошин. Олеша нравился всем.

В стихах недостатка не чувствовалось, и все стихи были вполне литературные.

Улица Петра Великого была прямая, тихая, с акациями и каштанами вдоль тротуаров. Из-за отсутствия керосина на «пятницы» и «среды» собирались как можно раньше. Но все равно засиживались, и чтение шло в темноте: сыпались огоньки грубых, плохих самокруток. Над вершинами акаций появлялась луна...

Многое было — как всюду. Выдавались талоны в лучшие кафе города, известные по именам прошлых владельцев — Фанкони и Робина. Устраивали это через ИЗО губнаробраза.

Полагалось читать стихи здесь же, у столика. В кафе шумели, стучали на столах миски, но это не мешало. Время от времени кто-либо приподымался, держа на ладони плоску с морковным чаем, и декламировал перед рабфактовцами, красноармейцами и служащими губнаробраза. В большинстве случаев стихи о лампах, снеге, Пушкине или фонтанах звучали тут неудачно...

Однажды шум как-то сразу затих, только гремели вдалеке ложки, вываливаемые буфетчицей. Такая тишина не могла быть случайной, — тишина длилась, над столиками разрывались колеблющиеся пологи дыма, все слушали.

Багрицкий читал «Харчевню», драматическую поэму с прологом и эпилогом...

Содержание поэмы было таково:

В придорожной харчевне останавливаются двое проезжих. Они — надменны, молоды и требовательны. Престарелый хозяин харчевни старается им угодить. За ужином у

очага, из разговора проезжих, выясняется, что они спешат в Лондон, где должно состояться соревнование поэтов. Они читают друг другу свои стихи и горячо спорят о их достоинствах, когда вдруг из-за стойки раздается голос трактирщика:

— Стихи нехороши!

Поэты недоуменно оборачиваются на этот возглас.

— Стихи нехороши, — повторяет трактирщик и объясняет, чем именно они нехороши. Проезжие уже с интересом прислушиваются к его словам, и тот читает им стихотворение «Ода бифштексу». Превосходно! Один из гостей узнает в трактирщике когда-то популярного поэта, стихи которого любимы и теперь. Молодые поэты восхищенно его приветствуют и убеждают ехать вместе с ними: его ждут друзья и слава. Но поэт, записывающий свои стихи в счетную книгу, рядом с расходами, ехать отказывается: здесь, у очага трактира, он успокоился, здесь его место, и он не променяет закопченных стен своей харчевни на суетный Лондон. Нет, он не уйдет отсюда!

Рожок омнибуса — и гости с сожалением прощаются с поэтом-трактирщиком...

Поэма теперь утеряна. Тогда ее знали наизусть...

Время уже шло к зиме, и вскоре Багрицкий исчез. Это была зима 1921 года. Перестали бывать в Коллективе и Олеша с Катаевым. Уже читал свои «будетлянские» стихи Кирсанов.

Багрицкий появился снова, когда Коллектив из прежней квартиры перешел в новую, на той же улице. Все объяснилось: за это время Багрицкий женился. Женильбу Эдуарда описал Валентин Катаев.

Перемен было много. Открывшийся после Фанкони «Пэон IV» уже прогорел, оставив после себя куплеты, написанные Багрицким:

Всем, кто, прозой жизни стертый,
Нежность чувствует к стихам, —
Объяснит «Пэон Четвертый»,
Как им жить по вечерам.

Куплеты были длинные, последние слова подхватывались и пелись хором: «Он четвертый! он четвертый!.. рам!... рам!...»

Вместо «Пэон IV» в подвале на Херсонской улице открылось кафе «Мебос». Здесь способы увеселения публики были более совершенны: решили разыграть в лицах «Харчевню».

Для большей живости действия Багрицкий присочинил в поэме несколько песенок. Распределили роли, девушки притащили из дому шарфы, трости и шляпы, — инсценировка была готова.

Хозяина харчевни изображал Багрицкий, проезжих поэтов — Славин и застенчивый Ильф. Всем им раскрасили носы, Багрицкому приклеили седые бакенбарды. Он стоял за прилавком в фартуке. За столиками были рассажены солдаты с девушками, извозчики и почтальоны. Ужин, отпускаявшийся предпринимателем «Мебоса» автору и исполнителям инсценировки, зарабатывался добросовестно. Всегда готовый к какой-нибудь выходке, Багрицкий в этом случае держался весьма солидно, с воодушевлением читая стихи из своей роли.

— Стихи нехороши! — строго начинал он, поднимая склоненную к стойке голову, и к концу действия симпатии аудитории действительно оказывались на стороне стареющего поэта, избравшего своим уделом харчевню, наполненную простым народом.

Тема, с большей силой повторенная Багрицким в «Трактате»¹:

О, господи, ты дал мне голос птицы,
Ты языка коснулся моего,
Глаза открыл, чтоб скрытое узреть,
Дал слух совы и сердце научил —
Лад отбивать слагающейся песни.

Но, господи, ты подарить забыл
Мне сытое и сладкое безделье,
Очаг, где влажные трещат дрова,
И лампу, чтоб мой вечер осветить.

¹ Вариант 1921 года.

И вот глаза я подымаю к небу,
И руки складываю на груди —
И говорю: О, боже, может быть,
В каком-нибудь неведомом квартале
Еще живет мясник сентиментальный,
Бормочущий возлюбленной стихи
В горячее и розовое ухо.

Я научу его язык словам,
Как мед, тяжелым, сладким и душистым,
Я дам ему свой взор, и слух, и голос, —
А сам подмышки фартук подвяжу,
Нож наточу, лоснящийся от жира,
И молча стану за дубовой стойкой
Медительным и важным продавцом.

Но ни один из мясников не сменит
Свой нож и фартук на судьбу певца...

Эта тема, но в иной расстановке, проходила и через «Харчевню». Гости уже уехали: хозяин харчевни, проводив их, задумался, склонясь над стойкой...

Среди публики за столиком сидела стриженная молодая женщина с веселым лицом. Она была в пенсне и пытливо наблюдала за всеми несложными событиями инсценировки. Это была Лида Суок — жена Эдуарда...

Гаснут дрова и свечи, пустеют столы. Подвыпившая компания поет за столиком:

Джен говорила: не езжай,
Мой милый, в путь опасный!
Пройдет апрель, наступит май,
И в щебетаньи птичьих стай
Вернется мир прекрасный.

Но судно быстрое не ждет,
Оно расправит крылья —
И вновь направит свой полет
В кипучих волн водоворот,
Нырять без усилия.

.....

Прошел апрель, настал уж май,
Я сплю на дне песчаном.
Прощай, любимая, прощай —
И только чаще вспоминай
Мой взгляд, встающий за туманом!..

ВЕЧЕРА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ КЛУБЕ

Затяжная московская осень! Над головой — радиорупор, и два диктора, чередуясь, читают последние известия. Неужели лыжный пробег уже начался? Как-то не верится, что где-то — мороз, снег, белые поля, белые дороги. Диктор сообщает: лыжники, направляющиеся в Москву, уже пришли из Бочкарева в Иркутск. Они идут к нам, ведя за собой зиму.

Я задумываюсь, высчитываю: когда же они будут в Москве?

И мне приходит в голову, что наши дальневосточные ребята прибудут в столицу ко дню первой годовщины смерти Багрицкого. Я вспоминаю: в эти дни так же вышла из Иркутска в прошлом году группа лыжников-красноармейцев. Мы стояли у гроба Эдуарда, когда они подходили к Москве...

Глотая километры, скользили лыжи системы Муртома. Молодые красноармейцы в синих спортивных костюмах, с зелеными рюкзаками за спиной, шли по полям и оврагам Восточной Сибири, мимо знаменитых красноярских столбов, — так называют здесь цепь горных вершин, — к Енисею, уносящему свои холодные воды в Ледовитый океан, по великой и гладкой, как стол, Западной Сибири, по замерзшим болотам Барабинской степи. Падала в термометрах ртуть. Горели щеки, болели глаза. Лыжники останавливали свой ход, терли снегом нос, кормили горячей и холодной смазкой обструганные с краев лыжи.

Когда они покинули Арзамас, мне позвонили из центральной военной газеты и предложили выехать навстречу, в Муром. Кончалась зима. Прощаясь, она обжигала землю теми морозами, о которых принято говорить:

— Ну, не страшно. Последние!

Я сидел на чемодане и слушал радио. Через десять минут надо было отправляться. Бодрое настроение, обычно вызываемое отъездом, подогрела в свой черед веселая пьеса Валентина Катаева, которую передавала одна из московских станций. Мне очень понравилась издевательская сцена, где в семейную трагедию внезапно врывается канитель с шубой и забавный спор лжеинтеллигентов о твердых и коммерческих ценах. Я позвонил автору веселой пьесы и сообщил ему о том удовольствии, с каким я слушал его вещь по радио. Но Валентин Катаев меня прервал. Голос его был тревожен.

— Вы не знаете, что с Багрицким? — спросил он. — Как его здоровье?

Я удивился:

— Разве он болен?

С того дня, как мы последний раз виделись с Эдуардом, прошло две недели. Тогда я нашел его в обычном для него состоянии, читающим стихи, острословящим и курящим астматический порошок. Эдуард был всегда болен, тяжело болен, но мы — его старые друзья — так привыкли к его болезни, что считали ее чем-то законным и, надо сознаться, иногда даже подтрунивали над ней. Случалось, что мы упрекали его в лени и неповоротливости, когда он отказывался от дальних поездок и прогулок, а, между тем, ему было трудно двигаться и дышать...

Есть больные, щеголяющие своей болезнью. Они чуть гордятся ею и любят часто о ней напоминать. Эдуарду, наоборот, хотелось казаться здоровым и статным. Он и сам подтрунивал над своей болезнью, и мы, видя его всегда на диване, полуодетым и подвернувшим по-турецки ноги, считали его прикованность к постели и замкнутую домашнюю жизнь причудой, одной из многих его причуд. Сейчас мне ясно: многое из того, что мы считали причудами, было куда серьезней и органичней. Страстный любитель природы, Багрицкий был обречен на вечную с ней разлуку. Он не

мог притти к ней, к природе — и таскал ее в свой дом. Природа жила, пела и размножалась в его доме. Он прекрасно знал птиц и рыб, и в этом я имел возможность не раз убедиться, когда попадал с ним на охотничьи базары — в Одессе, за Дальницкой, в Москве — на Трубной и Миусской площадях. Старые профессионалы-птицеловы и рыбоводы говорили с ним почтительно и долго, записывали его адрес, расспрашивали. Так старики не разговаривают с дилетантом. Кстати, признанием птицеловов и рыбоводов Эдуард гордился, пожалуй, больше, чем признанием литературной критики.

— Послушайте, как поет юла, — говорил нам любимый немногими и известный в Одессе поэт.

— Посмотрите, как размножаются калиурусы... или поллицентрус хомбурга... — говорил любимый многими и известный всему Союзу поэт.

Бывало, гость слушал или смотрел нехотя, из уважения к таланту и литературной славе хозяина. Эдуард это замечал и, по совести, всегда немного презирал такого гостя.

Он любил поиздеваться над литераторами, не знающими или плохо знающими природу...

В тот вечер, когда Валентин Катаев сообщил мне с тревогой о его болезни, я почувствовал нехорошее и стал звонить друзьям:

— Что с Эдуардом?

Мне сообщили: у него воспаление легких, его отвезли в Кремлевскую больницу. До поезда, уехавшего в Муром, оставалось всего двадцать минут, и я помчался на вокзал, где встретился с товарищем по поездке, красным командиром и журналистом Хоросановым.

— Мы приедем в Муром на рассвете, — сказал Хоросанов. — Отчего вы мрачный?

— Багрицкий тяжело болен, — ответил я.

К моему удивлению, Хоросанов не знал Багрицкого. Я стал ему рассказывать о поэте и пожаловался, что из-за спешки мне не удалось позвонить в больницу.

— Но ведь мы едем на один день, — сказал Хоросанов, — и послезавтра утром будем в Москве...

В Муроме — крутой мороз. Домъ завалило по самые окна. Люди сбивают топорами лед с водопроводных колонок. Мы стоим с командиром Хоросановым на берегу реки. Оттуда, из-за Мухтолова, должны показаться лыжники. По ледяно-снежному покрову Оки тянутся сани, бегут мальчишки, идут рабочие с кошелками и вязанками дров за спиной. Командир Хоросанов любит поэзию и с удовольствием слушает мой рассказ о том, как любит поэзию Эдуард Багрицкий, проживающий в проезде Художественного театра, уже не терпящий сейчас, слава богу, нужды и всеми признанный.

Я рассказываю и вспоминаю.

Конечно, когда я познакомился с Эдуардом, меня удивила в нем больше всего его любовь к поэзии — советской, русской, мировой. Мне уже были известны некоторые его стихотворения и поэмы, опубликованные в одесских газетах — и «Чортовы куклы», и «Москва», и «Петербург», и «Дидель», я уже пел вместе с другими прекрасные, хоть и традиционно-романтические песни раннего Багрицкого:

Увы, мой друг, мы рано постарели
И счастьем не насытились вполне.
Припомним же попойки и дуэли,
Любовные прогулки при луне.

Пускай наш путь покрыт сырым туманом.
Что из того? Наш разговор не смолк
В тех погребах, где забудыгам пьяным
Не отпускают больше пиза в долг.

О, да, теперь вино нас не волнует,
И отрезвленью наступает срок!
Пора! Пора! Уже нам в лица дует
Воспоминаний слабый ветерок.

И у сосновой струганой постели
Мы вспомним вновь в предсмертной тишине —
Веселые попойки и дуэли,
Любовные прогулки при луне...

После Багрицкий переделал эту песню. Здесь я привел ее первый вариант, так как именно в таком виде мы и пели ее тогда. Сам Эдуард приспособил для своих стихов мотив «Моего старого фрака», мотив скорее грустноватый,

чем залихватский, очень удачно использованный певцом Хенкиным — братом заслуженного артиста — для Бс-ранже.

Когда я познакомился с Эдуардом, я уже был его поклонником. Многих поэтов перевидал я с тех пор — и значительных и незначительных, — но никто из них не был так поэтически образован и осведомлен. В первые же дни я услышал от него стихи (я слышал их впервые в жизни) Франсуа Виллона, Рембо, Баратынского, Анненского, Гумилева, Нарбута, Третьякова, Хлебникова, Асеева. Он читал наизусть поэмы Олеши («Вечный жид» и др.), которые вряд ли помнит сам Олеша, и стихи В. Катаева, которые вряд ли помнит сам Катаев («Самогон», «Били их рыбаки острогою»).

Он проверил мои познания в области поэзии и сказал: — Вы знаете, конечно, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, то-есть всех тех, кто стал достоянием хрестоматий и народных библиотек, но вы не знаете еще многих прекрасных поэтов...

Он выкапывал для меня (я был новичок и малопосвященный, а Эдуард любил вводить в мир поэзии) Каролину Павлову, Случевского, Дельвига, Дениса Давыдова, Киплинга, Эредиа. Он восторгался, восклицал:

— Мировые стихи, а? Мировой поэт!

Кашель, бывало, задушит его восторг и сорвет голос. Тогда он набивал трубку абиссинским порошком с тяжелым ядовитым запахом и прочищал горло. Мы ждали, когда он откашляется и отхаркается и снова начнет читать и петь. Если для своего стихотворения «Увы, мой друг» он взял чужой мотив, то впоследствии уже придумывал их сам. Так пел он Блока («На островах», «Шаги командора») и других. К счастью, «Шаги командора» записаны на пленку...

Я познакомился с Эдуардом в конце 1922 года, когда он жил в Лермонтовском переулке, на берегу моря. Его близкие друзья — С. Бондарин, Е. Голованевская, Т. Лишина — помогли ему перебраться в более приличную комнату. Какова же была его прежняя квартира, если та, в которую я попал, выглядела страшно! Это был темный подвал с покоробленным полом, вечно мокрым, и решеткой вме-

сто окна. Здесь не было никакой мебели, кроме топчана, столика и скамейки.

Он выслушивал, оценивал и тут же вспоминал отрывки, стихотворения, поэмы, и тут же читал их.

— Эх, вы не застали здесь Эзру Александрова, — сказал он мне в первый же день. — Вот был поэт!

Он прочел мне все стихи чрезвычайно интересного поэта, прекратившего свою литературную деятельность, называл имена способных мальчуганов Тепера и Тарловского, хвалил поэму Бондарина «Наливное яблоко», которую вытащил из-под подушки, прочел множество стихов Нарбута, Адалис, Хлебникова... У него был свой поэтический счет, и, надо сказать, почти безошибочный. Многие с удивлением слушали, как он выделял никому неизвестных поэтов и уничтожал знаменитых. Время показало, что он был прав. Так, Эдуард привез в Одессу весть о Сельвинском, которого еще никто не знал. От него я впервые услышал о «чудном писателе», который живет на углу Ришельевской и Почтовой.

— Как фамилия? — спросил я.

— Бабель, — ответил Эдуард, — ну, это классный писатель! Вот мы потащимся к нему в гости, он нам почитает. Он пишет книгу о конармии. Это будет книга, дай бог!

В те дни одесские литераторы собирались в железнодорожном клубе на Степовой улице. По субботам читали сами, по средам обсуждали произведения какого-нибудь московского поэта или классика. Эдуард часто выступал с лекциями и читал вещи поэтов, о которых шла речь. Я помню, как он однажды прочитал аудитории ряд стихотворений Гейне на немецком языке. Интерес к литературному нашему кружку возрастал. Если сперва вечера происходили в маленькой, набитой битком комнатке с круглым столиком посередине и медвежьей шкурой на полу, то правление клуба было вынуждено потом перенести наши шумные литературные собрания в большой зал (на шестьсот человек). Нас стали приглашать на Джотовую фабрику, в Январские мастерские, в больницы.

Я помню, что на наших собраниях первым всегда выска-

звался Эдуард, и все внимательно прислушивались к его речам. Кроме него, на собраниях бывали и читали свои вещи: Бабель (читал «Одесские рассказы»), Кирсанов (читал поэму «Туннель» и множество других вещей), Славин (отрывки из романа «Свиньи в апельсинах», рассказы «Тысяча и одна ночь»), Ю. Золотарев, И. Микитенко, А. Югов, Д. Бродский, Г. Гребнев, Н. Матьяш, Чернов, Захаров и другие. В полночь мы расходились по домам, и Эдуард шел, провожаемый мною, через весь город, ежась от холода. У него не было ни пальто, ни теплой шапки, ни теплого белья. Он шел быстрым шагом, свесив на грудь свою большую, седую и лохматую голову...

Не признанный еще и нищий, он много и часто смеялся и острил. Когда он смеялся, то хватался руками за голову, весь приходил в движение, сопел и заливался тонким хохотом. Любо было смотреть, как веселилась эта нищая семья, где мужу не в чем было выйти на улицу, и жена кроила ему из своей старой юбки штаны-галифе. И вдруг — радость, материальные блага! Преподаватель совпартшколы и поэт А. Л. Рубинштейн решил устроить большой литературный вечер в клубе милиции с тем, чтобы весь сбор поступил на обмундирование Багрицкого. Все взялись за это дело, вечер состоялся, был успех, а над кассой — аншлаг. Женская комиссия — жена Эдуарда и жена Рубинштейна — пошли с выручкой на базар и купили ему там много вещей. Они помнили все время о вкусах поэта — ему хотелось всегда выглядеть бравым героем, этаким партизанским командиром, несколько картинным и даже лубочным. Они помнили о его вкусах — и приобрели на Новом базаре лихую бекешу, невероятной величины папаху и штаны-галифе. Когда он все это на себя напялил и, вычистив сапоги, вышел в таком виде на улицу, прохожие, глядя на него, на его большую голову и чуб, торчавший из-под папахи, думали: вот идет бывший атаман или батько, который осоветился. А может быть, сам Григорий Котовский?..

И это не причуда. Я вспоминаю, как потом, четыре года спустя, был у него в Кунцеве разговор с Иваном Катаевым о несвершенных биографиях. Эдуард говорил в том духе, что, если грянет новая война и мы опять окажемся под ударом, надо будет направить прямее линию своей жизни:

— Мы будем с вами комбатами или комбригами!..

Он часто огорчался, что не был им, то-есть комбатом или комбригом, в войну гражданскую. Мы не раз упрекали себя в том, что прошли по боковым дорогам революции, и — что греха таить! — когда заходил разговор о боевых годах, Эдуард иногда присочинял кое-что к своей подлинной биографии. Он никогда не делал это из корысти, нет — ему хотелось видеть т а к о й свою биографию, и часто она представлялась слушателю в виде смеси, где наряду с настоящими событиями были и выдуманные. Ему хотелось, чтобы они произошли в его жизни, и фантазия приходила на помощь.

— Вот увидите, в будущую войну...

Будущим он хотел заштопать дыры, которые, к неудовольствию своему, видел в своем прошлом. Он гордился знакомством с красными командирами, с людьми, успевшими заработать себе славу комбата и комбрига. Ему нравилось, что они считают его своим, и Багрицкий часто подчеркивал, что он совсем не штатский, а боевой парень, и чисто детским был его восторг, когда один знаменитый комдив подарил ему боевое оружие. В тот год, к которому относится наша беседа о будущих подвигах, Багрицкий написал «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым», где воплотил в реальных поэтических образах свои мечтания...

...В Муроме — крутой мороз. Я рассказываю командиру Хоросанову о пристрастии молодого Багрицкого к таким определениям, как «тугой», «крутой». У Багрицкого, говорю я, нет тихой природы. Она всегда движется и шумит. Это не та природа, к которой пришел человек, а та, которую он притащил к себе в дом. Он с ней в разлуке, и потому она входит в его стих не как гость, а как побежденный враг. Странная, преувеличенно-шумная и резкая природа — особенность его таланта. Я читаю Хоросанову отрывки из «Думы про Опанаса», «Арбуза», «Летучего Голландца»...

Быстро гаснет короткий зимний день. Пустеет берег Оки, разбежались мальчишки. В гору ползет колхозный обоз; свирепый мороз покрыл коней сединой, окутал их туманом.

— Идут! — закричали на реке. — Ура!

Откуда-то вынырнул оркестр, и музыканты, хватившие водки, чтоб не простудиться, заиграли приветственный марш. Усталые лыжники пересекли ледяную Оку. Мы побежали за ними, и пока они умывались, смазывали лыжи, ужинали и играли в шахматы — у них был турнир, который они начали в Иркутске и никак не могли закончить, — пока они занимались своими делами, Хоросанов и я выпытывали у них свежие новости о пробеге, расспрашивали, копались в их дневниках.

В тот же вечер мы выехали в Москву.

— Приеду в Москву, обязательно раздобуду книги Багрицкого, — сказал Хоросанов.

Как только мы оказались на московском вокзале, я побежал к автомату с тем, чтобы позвонить в Кремлевскую больницу и узнать о здоровье Эдуарда. У автомата была очередь. Человек, стоявший впереди меня, развернул газету. Я мельком взглянул на газетный лист — и первое, что я увидел, был некролог об Эдуарде и его фамилия, напечатанная крупными буквами и заключенная в траурную рамку...

МОЛОДОСТЬ

Продолжалась блокада, и море в то лето было пустынным. Одесский порт превратился в исполинский пруд для рыболовов. Вдоль набережных тесно сидели сердитые старики с тяжелыми бамбуковыми удочками. Когда в гавань заходила скумбрийная стая, сотни удочек вздымались от одного края мола до другого, будто их подбрасывала резвая волна. И на каждом крючке трепетала, брызгая солнцем, сиреневая скумбрия.

За спинами рыбаков прятались облезлые кошки — портовые воры. В сумерки глаза у них горели ненавистью и зеленым огнем, как маленькие автомобильные фары, и итти сквозь строй этих кошек было страшно. Казалось, что они точат когти о камни и дрожат, готовясь к яростным прыжкам.

В это лето я впервые увидел Эдуарда Багрицкого. Я увидел его в сумерки, на молу. Он сидел и беседовал с рыбаками. Он рассказал мне о рыбаках и кошках несколько замечательных историй, придуманных тут же, на месте. Блестящие и легкие выдумки, крепкие шутки, мистификации переполняли его. Мы шли из порта, и он рассказывал мне чудовищные и смехотворные биографии всех незнакомых встречных, и я жалею лишь о том, что не записал их вовремя.

Через несколько дней Багрицкий принес свои стихи в редакцию газеты «Морьяк». Это была необыкновенная газета. В ней было шестьдесят сотрудников, не получавших

за свою работу ни копейки. Расплата велась черным кубанским табаком, ячной кашей и соленой камсой.

В этой газете Бабель впервые напечатал свой рассказ «Король», — «Конармия» еще не была написана. Рассказ был напечатан на обороте розовых акцизных бандеролей от чая (газета печаталась на бандеролях очень мягких цветов — зеленого, голубого и розового). В этой газете среди статей о маячных фонарях Далена и бое дельфинов печатались стихи Тристана Корбьера (только потому, что он был моряком) и биографии матросов и капитанов — участников Парижской коммуны. На первой странице был лозунг «Пролетарии всех морей, соединяйтесь».

Комплекты этой газеты перелистываешь сейчас, как самый увлекательный роман. Казалось, прибор намывал у порога редакции свои морские дары — вести с кораблей и залитые воском бутылки с замечательными рассказами. И, действительно, как из чудесных бутылок появлялись в «Моряке» неожиданные прекрасные стихи, новеллы, воспоминания.

Багрицкий пришел в lined ситцевой рубашке с расстегнутым воротом и веревочных туфлях. Он читал свои стихи, у него билось горло, как оно бьется у птиц, когда они поют. Он задыхался, и тогда его голос падал до шопота и свиста. Стихи были о Черном море. Строфы летели и ударялись, как птицы бьются о клетки, падали, летели снова и снова ударялись, и было ясно, что Багрицкому тесно среди этих слов, что ему, может быть, нужно заглушить море.

Сотрудники газеты — старые капитаны и масленщики с облезлых пароходов, тертые одесские репортеры и голодные машинистки — слушали стихи, боясь кашлянуть и пошевелиться. Когда Багрицкий окончил, величайший скептик боцман Бондарь глухо сказал:

— Сердце у людей заходится от такой песни...

Багрицкий — наша молодость. Для меня он неотделим от первых лет революции, пустынной Одессы, зараставшей с окраин полынью, моря, качавшегося у подножья степных берегов. На берегах этих пели любимые Багрицким джурбаи. Поэтому и воспоминания мои о Багрицком слиты во-

едино с памятью о юности, о смехе, о жизни приморского города, где только и мог появиться Багрицкий.

В Одессе Багрицкий был нищим. Он жил в сырых подвалах и на крикливой Молдаванке, голодал и за прекрасные стихи получал иногда — без всяких метафор, а совершенно точно — кило черствого хлеба.

В то время по Одессе бродил назойливый и раздражительный старик. Он просил милостыню. Это был плотный седобородый человек с красным и злым лицом. Он входил в столовые, останавливался у столиков и кричал:

— Вот вы сидите здесь, кушаете брынзу и пьете пиво, а я с утра хожу порожний, как боченок! На что это похоже, я вас спрашиваю!

Говорили, что старик этот до революции вел обширную торговлю краденными вещами.

Как-то летом мы зашли с Багрицким в столовую на Греческом базаре. Рыдал тощий оркестр. Звуки скрипок напоминали икоту. Мы были голодны и жадно пили кофе из гималайского жита с сухарями. Багрицкий был бледен и худ до того, что в профиль напоминал птицу. Незадолго перед этим Багрицкий встретил человека, хвалившего стихи Надсона, и был раздражен.

Вошел придиричивый нищий. Он приставал ко всем, бранился, лез в ссору, от него никак нельзя было избавиться. Разгорался скандал.

— Ха, — сказал Багрицкий. — Пусть он подойдет к нам. У меня есть против него верное средство.

Нищий подошел, посмотрел на наши стаканы с жидким кофе красными склеротическими глазами и закричал:

— Вот, каждый молокосос пьет кофе, как порядочный, а я не имею даже столько масла, чтобы понюхать, как оно пахнет.

Багрицкий, глядя ему в глаза, начал читать проникновенным голосом:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был — не падай душой...

В глазах у нищего появился ужас. Старик начал медленно пятиться к двери, потом стремительно повернулся и убежал из столовой.

— Вот, — сказал Багрицкий, — видите, даже одесские нищие не выдерживают Надсона. Это самый испытанный способ. Действует без отказа...

Багрицкий, несмотря на свою мягкость, умел ненавидеть. Он ненавидел плохие стихи и людей, писавших плохие стихи. Таких людей он считал негодяями. Он говорил им это в глаза, — он умел уничтожить врага насмешкой и быть беспощадным.

Он пронес через всю жизнь, как носят за пазухой птиц, все лучшее, что было в мировой поэзии. Он берег его и охранял. Он пел свои и чужие стихи. Он находил недосказанное у поэтов и говорил за них полным голосом. Переводы Багрицкого были выше оригиналов.

Только громадной поэтической культурой, свежестью зрения и способностью схватывать в несколько мгновений величайшие комплексы мыслей и ощущений можно объяснить то, что Бёрнс и другие поэты звучат для нас в стихах Багрицкого с той силой, с какой они не звучали на своей родине.

Багрицкий был рожден югом. В Одессе много света, моря, ветра и веселья, и Одесса должна была дать такого жизнерадостного поэта, как Багрицкий.

Может быть, это утверждение покажется неверным, но я думаю, как и раньше думал, что Багрицкому не надо было покидать Одессу. Он вырос в воздухе полынных степей и Черного моря, в том сухом, стекловидном воздухе, где краски существуют как бы независимо от вещей, где сущность вещей особенно ясна. Он вырос в полуденной стране, в городе, соединившем в себе многообразие культур, в узле величайших мировых путей. Здесь жили Пушкин и Гарибальди, лейтенант Шмидт и Котовский. Здесь жили фанариоты и роялисты, цадика и потемкинцы.

Сюда, к этим рудым берегам и руинам Фонтанов, напоминавшим Македонию, приходили корабли из всех портов мира.

В Одессе я видел с Багрицким старый пароход «Скотиш менестрель» («Шотландский певец»). В каютах его висели пучки сухого вереска. Он как бы принес с собой воздух Шотландии, рассказы Оссиана. В степях под Одессой еще стоят курганы, еще живы заунывные казачьи «думки», в

стенах дворца Ришелье сидят пули зуавов, а в Бакалейную гавань турки из Анатолии привозят холодные апельсины.

Отсюда, очевидно, щедрость, спелость и свежесть поэтического языка Багрицкого. Он ввел в поэзию ряд местных слов, зазвучавших не как провинциализмы и заимствования, а как полноценные элементы русского языка.

В Москву Багрицкий не надолго приехал в 1925 году. Он остановился у меня на Остоженке, в сухом полутемном подвале.

По его собственным словам, он не жил у меня, а «стоял постоем». Была гнилая зима с туманами, слякотью, липкой грязью. Багрицкий не выходил из комнаты. Его душила астма. Он боялся холода, московской слизи, заменившей воздух, суеты, озабоченности. Он сидел весь день на диване, нахохлившись, сложив по-турецки ноги, и был похож на большую озябшую птицу. Только к вечеру, когда за окном исчезало белесое московское небо, он оживал, смеялся, читал стихи.

В редакции он почти не ходил. Для него это было мучительно. Он не любил учреждений, бухгалтерий, деловых разговоров.

Его стихи были всюду приняты, начинался успех, но Багрицкий нетерпеливо ждал дня отъезда из Москвы в Одессу, к морю, к своим стихам и рыбам, к чистому небу.

Я не встречал человека, столь равнодушного к славе и успеху и вместе с тем так хорошо знавшего себе цену в поэзии, как Багрицкий.

После окончательного переезда Багрицкого в Москву я видел его очень редко. Москва не сберегла его. Мы до сих пор еще не научились уважать работу и время людей, особенно таких, как Багрицкий. Бремя известности легло на Багрицкого всей тысячетонной тяжестью. Он был нужен всем, но редко думали о том, когда же у него останется время для стихов, для работы, для сосредоточенности. Сотни побочных дел, сотни случайных людей, сотни настоящих требований от газет, журналов, издательств отодвигали все дальше то главное, на что нужна вся жизнь и все время.

Летом 1933 года я лежал в сыпняке, в Боткинской больнице. Рядом со мной лежал сын Багрицкого — Сева. Он выздоровел раньше меня. Багрицкий приехал за ним. Ко мне Багрицкого не пустили, и я через дверь, сквозь тифозную глухоту и усталость, вдруг услышал грудной, знакомый, милый голос. И сразу же вокруг меня ветром, зеленью и морем зашумело одесское лето.

А через полгода знакомый прокричал мне в телефонную трубку — сквозь скрежет трамваев, хриплые вопли авто и собственные слезы — страшную весть, — и будто железным кулаком раздавило сердце...

Не мне вспоминать о Багрицком. Я его слишком мало встречал в жизни, но любил его, как можно любить только молодость.

ДАЛЬНИЦКАЯ, 3

Сцена была затянута черным бархатом, стояли цветы, и посредине, окруженный траурным крепом, висел большой портрет.

Сбоку на сцену внесли странный металлический ящик. Два монтера возились возле него, прилаживая штепселя и проволоки. Затем все стихло, раздался треск, хрип, слабое шипенье, — и граммофонный голос дикторши произнес негромко:

— У микрофона поэт Эдуард Багрицкий.

Сцена была пуста, ее заполнял только голос. Он бродил один, пережив тело, обретя вдруг трагическую самостоятельность, — голос поэта, записанный для радио.

Сила выразительности этого голоса была так велика, что бесплотность его казалась ошибкой. Голос звучал, и мы видели: вот поэт опускает голову, борясь с удушьем. Он подымает плечи, астматическая его шея раздувается, как у птицы. Он читает все громче, сверкая глазами, покачиваясь. Вот он вытягивает вперед руку с длинным большим пальцем и отбивает ею лад... Голос гремел, — и мы искали поэта глазами, мы ждали: вот он сейчас выйдет, он появится откуда-то, огромный, с седой головой...

В клубе имени Ленина при Одесских железнодорожных мастерских организовался литературный кружок «Потоки». Это была трогательная организация. Маленькая комната

была обставлена роскошно и наспех. Белый медведь лежал на полу, у стен стояли неудобные, хрупкие стульчики с золотыми ножками. На эти стульчики садились пожилые токаря и машинисты. Охрипшими от смущения голосами они читали свои стихи. Некрасовский запев строчек был бесхитростно подрифмован. Кружком руководил бывший преподаватель словесности в женской гимназии, старый и равнодушный человек. Он обучал токарей секретам анапестов и ямбов.

Однажды в клубе был устроен вечер. Это был один из обычных вечеров той поры, на которых делались доклады о Леонардо да-Винчи, выступали частушечники, и балерина, которую привозили из города на единственном автомобиле, танцевала танец умирающего лебедя. Зал был полон. В конце вечера должны были выступать члены нашего кружка. В это время открылась дверь — и в зал вошел отряд красноармейцев...

Красноармейцы осторожно сели возле эстрады на пол. Человек, который привел их, был Багрицкий. Это были курсанты, которым он читал литературу.

Через несколько минут Багрицкий вышел на эстраду. В зале мало кто знал его. Это была аудитория рабочего района, не привыкшая к выступлениям поэтов. Вытянув вперед руку с длинным большим пальцем, Багрицкий начал читать стихи «Петербург»:

... Но сила в костях жила,
Сухое сердце в ребрах билось,
И кровь, что по земле текла,
В тайник подземный просочилась.

Вошла в глазницы черепов,
Их зрячей напоив водою,
Сухие кости позвонков
Связала бечевой тугою.

И финская разверзлась гать,
И дрогнула земля от гула,
Когда мужичья встала рать
И прах болотный отряхнула!..

И остоны, в пластах земли,
Исполнившись гудящей дрожи,
Горячим мясом обросли
И тонкой обтянулись кожей.

Багрицкий читал, поводя головою, серый клочок волос падал ему на лицо. Зал слушал, оцепенев. Красноармейцы тихо сидели на полу, аккуратно подложив под себя длинные шинели...

С этого дня Багрицкий начал бывать в нашем литературном кружке. С его приходом в «Потоках» изменился самый воздух. Багрицкий внес туда пафос и трудолюбие настоящего поэтического ремесла. Впервые в жизни услышали мы, что стихи нужно «делать», что они должны быть хорошо «сработаны». Он учил нас поэзии, как мастерству, как труду. Пожилые рабочие трудились над книжками с усердием школьников...

Был 1924 год. По вечерам маленькая комната заполнялась народом. Пешком из города шли новые поэты. Славин прочел здесь новый рассказ. Кудрявые мальчики, грозно картавя, объявили себя представителями футуризма и импрессионизма. Это были Кирсанов и Колычев.

Центром «Потоков», их руководящей силой продолжал быть Багрицкий. Он не только учил нас поэтическому ремеслу. Он проделал огромную культурную работу с аудиторией, — со своеобразнейшей аудиторией наших литературных вечеров, почти сплошь рабочей. Если сейчас пройти по цехам Январского завода, можно найти много людей, которые до сих пор помнят Багрицкого. Он научил их любви к литературе, вдумчивому и серьезному к ней отношению.

«Потоки» росли. После каждого выступления брала слово аудитория. Здесь уже были постоянные, ревнивые посетители, не пропускавшие ни одного вечера. Это были дошнющие критики, — они многому научились за это время, они работали по-настоящему. И вот однажды, после выступления какого-то поэта, встал Костров, молчаливый человек, старый машинист с рыжеватыми, моржовыми усами, и сказал негромко:

— В этом стихотворении есть сильное влияние Нарбута. Факт.

И тогда Багрицкий поднялся и, хлопнув ладонью по столу, зарычал торжествующе:

— Товарищи, сейчас я могу сказать: в «Потоках» была проделана настоящая работа...

Но вот наступила пора отлета журавлей. Поэты и прозаики начали стаями тянуться в Москву. Там были журналы, издательства, большая жизнь, — там была возможность работать и расти в полную силу.

Уехали Ильф и Петров. Отчалил Славин... Одесса постепенно пустела. Печататься в ней было негде: существовала одна газета и слабенький журнальчик с могучим названием «Шквал». «Потоки» таяли. И вот наступило время, когда от основного литературного ядра в Одессе остался один Багрицкий...

В те годы Багрицкий много работал. Сидя на Дальницкой, он умудрялся не пропускать ни одной интересной книги. Недоучившийся реалист, он был одним из самых образованных поэтов.

Денег в доме было очень мало. Газета, в которую Багрицкий давал стихи, платила гроши. Эдуард начал работать в клубе Джутовой фабрики, которая находилась недалеко от него. Платили там тоже ерунду. Продукты приходилось брать в долг. Неликвидированный частник отпускал поэту в долг хлеб и брынзу. Кредиты были очень ограничены. Деньги нужно было занимать, а это было совсем не легко.

Почему Эдуард медлил с переездом в Москву? — Он любил Одессу настоящей трогательной любовью. Мысль о жизни в другом городе не радовала его. Пересадка на другую почву, в другой климат и воздух даже несколько его пугала. В Москве кипела жизнь, его товарищи уже начали пробиваться в большую литературу. Эдуард продолжал сидеть на Дальницкой. Он ходил с дворовыми мальчишками в степь; он спускался, задыхаясь, в порт по длинной лестнице, арбузные корки плыли мимо него по черной, тяжелой воде. Он писал балладу об «Арбузе» и переводил Вальтер-Скотта. Наконец товарищи приехали за ним и увезли его в Москву...

В московскую жизнь Багрицкий вошел не сразу. Он писал мне: «...Моя жизнь в Москве мало чем отличается от жизни на Дальницкой. Разница только в том, что сейчас я живу в доме, сделанном из лучшего соснового дерева, и плачу тридцать рублей в месяц, а на Дальницкой меня окружали камни, и я ничего не платил (плачь, домоуправление!).

Всю зиму я, конечно, проболел. В Москве бывал раз в неделю¹, и потому мои заработки были довольно ограниченными. За все время я читал всего один раз в Союзе писателей, несмотря на различные приглашения... В «Красной нови» у меня не все благополучно: мои «Голуби», принятые и оплаченные еще в декабре, пойдут только в апрельской, а то и в майской книжке... Мой мрачный характер и абсолютное отсутствие подхалимства мне иногда мешают, хотя большинство поэтов и редакторов относятся ко мне с уважением...»

Об Одессе он продолжал упоминать с неизменной нежностью. Он справлялся о погоде, о весне, о море. Он не терял своих одесских охотничьих связей. В дальнейших письмах он писал: «...Живу я сейчас в собственной квартире, как помещик. У меня две собаки, причем одна из них на всероссийской выставке получила серебряный кубок. В Москве я встретился с Кипеном: чудесный старик. Я думаю в Одессе купить собаку, птиц и рыб...».

Но все это было позже. В пору же, о которой я пишу, мы еще продолжали сидеть в Одессе. На расстоянии квартала от моего дома начиналась степь, жаворонки свистели в ней напропалую. Возвращаясь из своих птицеловных путешествий, Эдуард заходил к нам. Раздавался собачий лай, топот, Багрицкий входил, начиная бурно острить еще с порога. Моя мать, желая сделать ему приятное, как-то разыскала на чердаке большую клетку для птиц и подарила ему. Никогда в жизни еще я не видела такого восторга на лице Эдуарда. Он вертел клетку в руках, щелкал по дну и с упованием рассказывал, как он теперь разместит свое птичье хозяйство...

Но прошло несколько дней, и наступили печальные события. Неожиданно ко мне пришла жена Багрицкого.

— Эдя заболел, — сказала она. — Кажется, воспаление легких.

Мы прибежали. Эдуард сидел на кровати, опухший, и раскачивался, как маятник. Он дышал шумно, воздух проби-

¹ Багрицкий жил тогда в Кунцеве.

рался к нему в легкие с каким-то шипеньем. Но он поглядел на меня веселыми глазами и сказал:

— Где вы бегали! Меня уже черти хватают со скуки...

Эдуарда перевезли в больницу. Он болел трудно и мучительно. Денег не было. Лидия Густавовна дала мне балладу об «Арбузе». Эти стихи, через год, вся поэтическая Москва знала наизусть. Я понесла их в редакцию одесской газеты. За столом торчала унылая личность. Проглядев стихи, личность сказала, что сезон арбузов еще не наступил, и поэтому стихи не ко времени. «Багрицкий тяжело болен», — сказала я. После длительных колебаний мне выписали не много денег, но стихи все же не приняли...

Наконец настал день, я вошла в палату, Эдя лежал желтый, легкий, как лист, и страшно веселый.

— Жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба», — сказал он хриловато. — Как вам это нравится?

Голос его был слаб, кожа обтянула лицо, на обритой голове торчал жесткий ежик. Но он уже острил и рассказывал фантастические истории о своих соседях по палате, он дышал легче, температура упала, — и это уже было выздоровление...

Болезнь боролась с Эдуардом всю жизнь. Справиться с ним было не легко: в жилах его текла здоровая кровь, у него были широкие, крепкие кости, — природа отнеслась к нему с любовью. Болезнь одолевала его исподтишка, постепенно. На наших глазах она превратила охотника в домоседа, она заставила мореплавателя задыхаться от резкого движения собственной руки. Но его стихи были полны яростного здоровья, — здоровья нашей страны, ее жизнерадостности, ее воли к победе!

ЭДУАРД В НИКОЛАЕВЕ

В начале июля 1923 года я получил письмо от Эдуарда. В письме он сообщал, что сидит в Одессе без дела, что от Вальки¹ и Юрки² из Харькова никаких вестей нет и что он хочет приехать в Николаев работать. Джурбаев, голубей и морских свинок он передал на попечение моему брату Арчибальду, а жена и сын, — писал он, — прокормятся как-нибудь сами.

Обеспечив таким образом все разнообразное население своего дома на Дальницкой, Эдуард должен был в ближайшие дни погрузиться на пароход «Буг» и пришвартоваться к новым берегам.

Даты в письме не было, и поэтому никак нельзя было установить, в какой день он приедет. Тем не менее я решил подготовиться. Я вызвал мою квартирную хозяйку, Анну Карповну Орешникову, и попросил купить на базаре брынзы, молока и нажарить картошки на постном масле. Меню Эдуарда мне было точно известно, и я хотел, чтобы он с первой же минуты чувствовал себя хорошо.

Было жаркое июльское утро. Несмотря на близость реки, каменный Николаев в такие дни накалялся, как печь.

Пока я умывался, на улице возле дома, где я жил, произошли события. Ко мне прибежала взволнованная соседка и сказала, что какие-то два странных человека, в сопровождении целой толпы, спрашивают меня.

¹ Валентин Катаев.

² Юрий Олеша.

Зрелище, которое я увидел, выйдя за ворота, было действительно странное.

Впереди толпы стоял высокий человек в бурке и огромной, манчжурской папахе. Рядом с ним седоусый старик в плаще и панаме, размахивая гитарой с голубым бантом, что-то кому-то объяснял. Пока я пытался достойным образом оценить происшествие, человек в бурке подбежал ко мне.

— Здорово, Янкель! — закричал он своим хлопающим басом. — Эти «шляпы» приняли меня за Махно и хотят вести в милицию...

— Ты с ума сошел, Эдя, в июле месяце так одеваться!..

— Что я, буду с собой постельные принадлежности брать!.. Бурка вполне заменяет матрас, одеяло и даже егерское белье... Знакомься. Это — Гаврила Иванович Шульц. Бывший преподаватель арифметики, а теперь — ученый зоолог. Он, может, четырех Брэмов за пояс заткнет.

Старик с гитарой под плащом изящно расшаркался, подкрутил усы и протянул мне руку.

— Сыграйте что-нибудь веселенькое, Гаврила Иванович, — сказал Эдуард.

Гаврила Иванович быстро откинул полу плаща и, став в позу подгулявшего гранда из Севильи, хотел было начать.

— Подождите, — сказал я, — раньше подыдем висячий мост, чтобы враг прекратил преследование. Осада нам не страшна. Пищей мы обеспечены на сутки.

Я пропустил обоих путников во двор и закрыл ворота на засов.

— Только имей в виду, — сказал Эдуард, — у старика исключительно легкомысленный репертуар. Классика ему не известна. Если у него сбрить усы, получится самая настоящая цыганка Маша...

Старик тем временем куда-то исчез, и его музыкальные таланты мне пришлось узнать несколько позже.

— Чудесный двор, — здесь будет жизнь! — Эдуард указал рукой на пустовавшую голубятню: — Где тут в городе птичий базар? Ты там бываешь?..

Старика Шульца мы нашли в моей комнате. Он мгновенно освоился с новой обстановкой. Его плащ, гитара и панама были небрежно брошены на мою постель. Ставни были почему-то закрыты. Солнечный свет, пробившийся через

щель, пересек комнату пополам и лег яркой полосой на стол, за которым сидел Гаврила Иванович.

Он громко чавкал и сопел. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я увидел, что в тарелках ничего не было.

— Хороша брынза, — сказал Гаврила Иванович, — нельзя ли еще полквартиры молочка? У нас в Одессе такого не бывает-с.

Он лукаво, как проворовавшийся кот, поглядывал из-под седых бровей на меня и Багрицкого.

У меня сжалось сердце. Все мои заботы пропали даром.

— Не дрефь, Янкель, — сказал Эдуард, хлопая меня по плечу, — я забыл тебя предупредить, что у Шульца чудовищный аппетит. Он жрет, как Гаргантюа. Ему надо с утра набить желудок десятью фунтами кондера с кониной — тогда он станет безопасен. Тонкой пищи он не поймет, и она ему без пользы. Все равно, что голодного льва кормить рябчиками в сметане. После такой еды лев самого повара съест.

Гаврила Иванович шуршал хлебной коркой по внутренней стенке глиняного кувшина, добывая оттуда остатки молока. Лицо его сделалось каменным, как будто наш разговор касался другого человека.

Через несколько дней жизнь начала входить в нормальную колею. В моей комнате были установлены две добавочные койки. С рассвета на плите весело журчал гигантский бак кондера для Гаврилы Ивановича, и проблемы его питания на некоторое время потеряли остроту.

Эдуард начал работать секретарем в газете «Красный Николаев», которую я тогда редактировал, заменив ушедшего в отпуск поэта Яшу Городского.

В результате нескольких экскурсий Эдуарда на заводы «Наваль» и «Руссуд» наша комната превратилась в клуб. По вечерам десятки молодых парней приходили читать свои стихи и рассказы.

Удивительное свойство было у Эдуарда. Знакомства он заводил на лету и с самыми разнообразными людьми. Через несколько дней без особого труда он сколачивал из всех дружную компанию.

С одним он долго спорил о преимуществе египетских голубей над вертунами, с другим выяснял возможность разводить рыбок-скалярий в мелких и прохладных водах.

Но главное начиналось, когда приходили поэты. Охотники, рыболовы и птицеводы отступали на второй план. Вечер заканчивал всегда Эдуард. Он терпеливо выслушивал чтение десятков стихов и рассказов и, почти всегда внезапно, начинал читать сам. Я никогда не забуду его замечательный голос, седеющий вихор на лбу и глаза, устремленные далеко, через головы онемевших слушателей.

Он был необычайно скромен и очень неохотно читал свои стихи. Он ошеломлял своих слушателей лирикой Лермонтова, романтикой Гумилева, печалью Блока и потрясающими строфами Киплинга, которого необычайно ценил и любил.

— А ну-ка, Гаврила Иванович, ударьте что-нибудь повеселее... — говорил Эдуард, когда закрывалась дверь за последним посетителем.

Гаврила Иванович медленно опускал ноги с кровати, брал гитару, стоявшую у изголовья, и начинал петь:

Одна красотка из Гренады
Любила очень серенады...
Но муж ее, седой старик,
Считал, что это наглый крик...

— Старик был не дурак, — говорил Эдуард, ворочаясь под своей тяжелой буркой на постели и попыхивая крученкой из абиссинской травы, которую курил из-за астмы.

Скоро Шульц исчерпал весь свой репертуар, и мы с Эдуардом писали ему невероятные песенки про общих знакомых, которые он исполнял под аккомпанемент гитары.

Когда мы засыпали, Шульц подымался с постели, как сомнамбула. Спотыкаясь и цепляясь за мебель, он пробирался к этажерке, где стояли остатки ужина. Из мрака потом долго доносилось хрустение арбузных корок, которые он догрызал с хлебом.

Утром он заявлял с невинным видом, что в квартире, кажется, завелись крысы.

— Знаете, Гаврила Иванович, — сказал Багрицкий как-то вечером, — сегодня крысам не поздоровится. Мы с Бельским остатки ужина отравили цианистым калием...

Гаврила Иванович промолчал. В эту ночь он спал спокойно, а я думал о необходимых изменениях в рецепте кондера...

В начале сентября Гаврила Иванович уехал в Одессу. Этому предшествовали небезынтересные обстоятельства.

По просьбе Эдуарда, я устроил его лектором по натуроведению в клубе металлостов.

— Если вам нужна литература, — сказал я Шульцу, — выпишите названия. Я вам все достану.

— Пустяки, — возразил Гаврила Иванович, — я все это отлично знаю. Необходимые натурпособия я раздобуду сам.

Утром после завтрака он взвалил на плечи какое-то подобие рюкзака, взял палку и исчез в направлении к реке.

В этот день мы с Эдуардом очень задержались в редакции. Дело в том, что нам удалось снять на один вечер помещение кинотеатра, не получившего почему-то фильма из Одессы.

Багрицкий решил устроить там вечер поэзии. Пришлось наскоро печатать афиши, торговаться с кассиршей, билете-рами, монтером, рабочим сцены, завкино. Сам Эдуард сидел с ныне умершим журналистом Гришей Магри и спешно натаскивал его по вопросам поэзии.

— Скажи мне еще раз, — говорил Гриша, — только точно: какая разница между акмеистами и реалистами, чтобы я не перепутал...

Магри должен был выступать докладчиком, а Эдуард — иллюстрировать его доклад стихами.

— Как ты можешь перепутать? — волновался Эдуард. — Я ведь буду стоять сбоку, а Яшка будет председательствовать. В случае чего он тебе подскажет. Если ты заговоришь об акмеистах — я прочту их стихи, или наоборот. Перепутать тут невозможно...

Вечер, несмотря на широкую рекламу, состоялся далеко не при переполненном зале. В первых рядах сидели друзья Багрицкого — птицеводы, рыбководы, охотники и поэты. К сентябрю их число достигло потрясающей цифры. Все они, увы, были контрамарочники. Эдуард никому не мог отказать.

— Чтò ты делаешь, — сказал я, когда увидел этот «безумный поток» контрамарок, — мы ж прогорим вдребезги!..

— Не учи меня, — сказал он, — я знаю, чтò значит работа в маленьких городах. Нужно, чтобы в двери начала валить толпа, тогда другие будут брать билеты за деньги.

Толпа, ввалившаяся по контрамаркам, оправдала его расчеты, но тех, других было мало.

Вечер прошел сравнительно удачно, но когда мы подошли к кассе, она уже была атакована всем персоналом театра. За покрытием расходов выручка составила девять рублей с копейками. Мечты Эдуарда о зимнем пальто для жены разлетелись в прах.

Когда мы шли домой, нас догнал какой-то человек.

— Молодые люди, — сказал он. — Я костюмер театра. Денег я у вас не прошу. Я знаю, что у вас осталось девять рублей... Я старый человек, и у меня большая семья. Я прошу одолжить три рубля.

Я вопросительно посмотрел на Эдуарда. Он вдруг рассмеялся своим гогочущим смехом и протянул костюмеру трехрублевку...

— Ну, так шуба у Лиды, — сказал Багрицкий, — будет без бобрового воротника.

Дома мы застали Гаврилу Ивановича. Он сидел на кровати «на корточках», с головой, повязанной полотенцем.

— Чтò с вами? — спросил я.

— Лекция не понравилась, и меня прогнали. И все из-за нее, — сказал Гаврила Иванович, указывая в угол. — Я не успел ее выдрессировать.

В углу стояла живая цапля с подбитой ногой.

— На окне змеи, — продолжал Гаврила Иванович, — и два тарантула. Но они все в специальных мешочках, так что вы не беспокойтесь...

— Какие змеи? — грозно спросил Эдуард.

— Пустяки, — шесть ужей, две медянки и одна гадючка, совсем молоденькая. Она еще яда не вырабатывает...

Эта ночь была одной из самых страшных ночей в моей жизни. Часа в два ночи закричала цапля. Спросонья мне показалось, что я сплю под тропиками, где-то вблизи берегов реки Ориноко. Чтò-то холодное и скользкое обвилось вокруг моей шеи...

Чудовищным усилием воли я превозмог страх и повернул выключатель. На соседней кровати сидел Эдуард, держа дрожащими пальцами тарантула. Разбуженный старик до рассвета собирал свои «натурпособия». Он все волновался, что нет гадючки. Наконец он радостно бросился к моей постели.

— Ах, подлая, куда залезла! — крикнул он и с торжеством вытащил из-под моей подушки змею солидного размера.

— Это та самая малютка, — сказал Эдуард. — Я думаю, Гаврила Иванович, что у нее уже прорезались молочные зубки. Поцелуйте ее в ротик.

Делая невероятные телодвижения, Гаврила Иванович запихивал змею в мешок.

Утром Багрицкий был серьезнее, чем обычно.

— Гаврила Иванович, — сказал он, — берите свой сад Гагенбека и едем на пристань. Шесть сорок пять — как раз хватит на билет второго класса.

Так бесславно погибли последние остатки доходов от вечера поэзии.

— Понимаешь, — сказал Эдуард, вернувшись из гавани, — обо всем я тебя предупредил, когда мы приехали, — я забыл только сказать, что он немного малахольный...

Круг знакомых Эдуарда увеличивался. В моей квартире его гости уже не уместались. Мы начали устраивать литературные вечера в редакции. На дом ходили только немногие избранные. Любимцем Эдуарда был молодой пекарь Ванька Гусев, писавший стихи и прозу. Гусев был девятнадцатилетний красавец с потрясающей льняной шевелюрой, составлявшей предмет его гордости.

— Продай ее мне, Ванька, — сказал ему как-то Багрицкий, — шевелюра как раз подойдет к моей фигуре.

— Ты бы мне лучше свою фигуру продал, — ответил Гусев, — она как раз подойдет к моим волосам.

Гусев был необычайно способный и впечатлительный малый. Услышав, как Эдуард читал отрывки из «Уленшпигеля», он на другой же день принес поэму в шестьсот строк под названием «Дидель на «Руссуде». Марта в его поэме

была комсомолкой и работала токарем по металлу на «Навале». Отчим Марты, злой мастер цеха, изгонял Диделя навеки из своего дома...

Эдуард быстро отучил Гусева от безумств, и парень начал писать складные стихи и неплохую прозу.

Кроме Гусева, к нам на квартиру ходил токарь с «Навала» Поливанов, проработавший на заводе около сорока лет. Поливанов написал несколько огромных тетрадей воспоминаний о революционной работе в Николаеве при царизме. Эдуард целые ночи читал и правил его рукописи и потом заплатил машинистке из своих скудных средств за перепечатку. Однажды утром они пошли вдвоем в Истпарт, и часть воспоминаний Поливанова вошла затем в сборник «Революционный Николаев».

Стихи Поливанова Эдуарду не нравились.

— Пиши прозой, Николай Софронович, — говорил Багрицкий. — В шестьдесят три года все поэты становятся прозаиками.

С Поливановым Эдуарда связывала еще общая страсть к охоте. Иногда они, вскинув на плечи старинные одностволки, уходили далеко на Буг, в камыши.

Они возвращались всегда под вечер, злые и голодные, и долго ругались.

— Знаток, — говорил Эдуард, — знает места, где утки. Да ты, Николай Софронович, даже на базаре, за деньги домашней утки не найдешь, не то что дикой...

Николай Софронович угрюмо сопел, крутил усищи, но молчал, признавая свой грех.

В таких случаях я ставил на стол графин водки. Разговор постепенно переходил на литературу, и о ружьях и патронташах, брошенных в угол, забывали на неделю.

В середине октября Эдуарда уже знали на всех предприятиях Николаева.

В этот город часто приезжали поэты, но ни один из них никогда не был так близок рабочей аудитории, как Багрицкий. Его считали своим и любили. Простая одежда, брезентовые обмотки, манера говорить и обращаться с людьми создавали необычайно интимную обстановку на его выступлениях в рабочих клубах. Десятки людей всегда про-

вожали его домой и потом долго, по ночам, гуторили под окнами квартиры.

На письменном столе нашей комнаты всегда лежала груда рукописей рабочих авторов. Эдуард внимательно читал их и накладывал короткие, исчерпывающие резолюции.

Как-то вечером к нему пришла высокая, красивая девушка. Она стояла на пороге нашей холостяцкой, как говорил Эдуард, «хавиры», — прекрасная, как Федра, и смотрела влюбленными глазами на поэта. Эдуард растерялся и молчал.

— Что у вас — проза или стихи? — спросил, наконец, Багрицкий.

— Я не пишу, — ответила девушка, — я художница. Мне нравится, как вы читаете.

— Вы мнительны. Я — поэт, Бельский — художник. Обратитесь к нему.

Это было одиннадцать лет назад, чорт возьми, и все мы потом долго и непростительно молчали...

Эдуард, в конце концов, пошел на уступки и заинтересовался ее рисунками.

Федру звали Полиной, но роман быстро кончился из-за отъезда Багрицкого.

В середине сентября Эдуард начал чаще, чем обычно, писать домой. Когда пошли осенние дожди, он совсем затосковал по семье.

— Ты понимаешь, — говорил он по несколько раз в день, — Лида ведь совсем беспомощный человек. Севку надо одеть, обуть. Я поеду домой. Кроме того, в сентябре можно наловить хорошую «колюжку». Если ее ловить в сентябре, она выживет и отнерестуется...

Однажды, туманным утром, в конце октября Эдуард надел свою бурку и папаху, и мы поехали на пристань.

Провожать пришли Гусев и Поливанов. Было чертовски грустно. Поливанов долго вертел в руках какой-то сверток, потом ткнул его Эдуарду.

— Что это — рассказ? — спросил Багрицкий.

— Пирожки, — сказал сконфуженный Поливанов. — Жена тебе напекла на дорогу. Может, кушать захочешь...

— Вот чудило, — сказал Багрицкий, но быстро отвернул голову в сторону, и мне показалось, что в его серых глазах блеснули слезы...

Когда я вернулся домой, наша комната показалась мне нежилой. На столе лежали стихи, которые Багрицкий за-был вернуть автору. В верхнем левом краю на них была написана резолюция: «Семидолный паузник — трудно, гекзаметр — хуже. Пиши ямбом, босяк!»

Я долго потѣм не мог привыкнуть к одиночеству. Просыпаясь по ночам, я всматривался в темноту, и мне казалось, что я сейчас увижу огонек его цыгарки из абиссинской травы и услышу ее легкое потрескивание...

И, может быть, из-за Багрицкого я до сих пор горячо люблю Николаев, в котором протекли лучшие дни нашей дружбы, дни юности и весны.

Когда я думаю о Николаеве, я — еще юноша, и Эдуард Багрицкий жив.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

В трамвае у Покровских ворот я извлек прилипший к моей подошве грубо вырванный лист из неизвестного мне журнала. На листке были стихи:

...Там розовая стынет ветчина,
Подобная прохладному рассвету,
И жир, что обволакивает мясо,
Как облак, проплывающий в заре.

О, пирожки, обваренные маслом,
От жара раскаленной духовой
Коричневым покрытые загаром,
Вас нежный сахар инеем покрыл —
И вы лежите маслянистой грудой
Средь ржавых груш и яблок восковых!..

Стихи произвели на меня странное впечатление. Вначале мне представилось, что это — перевод не то из французского, не то из немецкого поэта. В найденном отрывке поэмы было что-то от мертвой красоты, и потому, несмотря на мастерство, стихи показались мне нематериальными. Такое же впечатление производили на меня тогда стихи акмеистов. Их поэзия всегда напоминала мне световые отражения — не людей, а книг, живущих вне времени и пространства и написанных неизвестно кем. Подобное чувство испытывают, — мне думается, — когда смотрят на древнюю звезду или на статую в музее...

Тогда же я высказал эти мысли товарищам, согласившись, что в таких стихах есть все же нечто притягательное.

Спустя некоторое время я снова — не помню где — прочел стихи Багрицкого. В балладе его шумело Черное море, плыл арбуз с «нарисованным сердцем»...

Не знаю почему, я написал ему письмо, приглашая в Москву. Ответа на письмо я не получил.

Встретился я с ним в первый раз в институте им. Брюсова (ВЛХИ). На нем была шинель старого покроя с двумя рядами диковинных пуговиц. Карманы шинели были узки, и в них с трудом умещались его крупные руки. Был он большим, тяжелым и рыхлым, с проседью на висках, и выглядел значительно старше своих лет.

По дороге в общежитие «Молодая гвардия», куда мы пошли, он часто кашлял, задыхался, отставал. Рассказывая, пересыпал рассказ шутками, одесским жаргоном, смеялся неожиданно и добродушно.

— Э-э, — сказал он об одном нашем общем знакомом, деликатном и крайне вежливом человеке, — знаю я этого биндюжника... Старый биндюжник!

— Но ведь он совсем молодой.

— Э, старый биндюжник...

За ужином я снова обратил внимание на его руки — крупные, похожие на лапы большой птицы, с оттопыренным указательным пальцем. В комнате стоял полумрак. Угловой уличный фонарь бросал через разрисованное морозом окно зеленоватый свет. Последние трамваи с грохотом и скрежетом шли в депо, сотрясая окна здания — бывшей гостиницы третьего разряда...

Для меня это было творчески-мучительное время — без сложившейся литературной среды, полное исканий. На поэзию многие смотрели еще как на забаву, а на желание отдаться ей целиком — как на измену комсомолу.

Немало горьких и смутных мыслей возникало из-за недоверия товарищей к моей работе. И в работе, и в жизни это недоверие выливалось в обиду — насмешки, несправедливые упреки. Я, в свою очередь, обвинял оппонентов в оппортунизме, в рабском фетишизме и в других смертных грехах. В минуту особой запальчивости меня прижимали к стене вопросом: «А что тебе ближе — партия или поэзия?»

Багрицкий пришел из другой среды, и вопросы эти не трогали его. Идеи вне конкретной формы почти не волновали Багрицкого.

Он очень любил английских поэтов и читал их наизусть. Из старых поэтов он прочел мне тогда стихи Соути, Попа, Бёрнса. Из новых — Киплинга. Читал он стихи неповторимо, — как никто.

Подвернув под себя по-турецки ноги, чуть-чуть пригнув голову, Багрицкий задыхающимся голосом гнал перед собой строфу за строфой, придавая стихам страшную быстроту света. Он то снижал, то поднимал голос, усиливал интонации, выдыхая предельно из грудной клетки остатки воздуха...

Впоследствии я неоднократно слышал молодых поэтов, подражавших ему в чтении. Но, как и всякое подражание, оно лишь искажало манеру читки Багрицкого, вызывая недоумение в публике.

Расстались мы с ним под самое утро...

В начале 1926 года в редакции «Молодой гвардии» Багрицкий читал отрывки из незаконченной вещи — «Песня об Устине». Стихи напоминали Шевченко, но в них автор уже пробивался к своей «Думе про Опанаса»:

... Ой, Дунай, река большая,
Вода голубая!
А сыночек посередке
Плывет по Дунаю.

Голосит над ним чеграва,
Крылом задевая,
Вкруг него пером играет
Плотвиная стая.

... Тресни, полотно тугое,
Разрывайся в клочья,
Падай, молоко густое,
На мертвые очи!

Молоком набухли груди,
Грудь, не томите!
Я убила, добры люди, —
Берите, вяжите!..

Песня была напечатана в 3-й книге «Молодой гвардии» и прошла незамеченной: в стихах отсутствовала та незаметная на первый взгляд мелкая деталь из советского фольклора, которая так запоминается в «Думе про Опанаса».

В эти годы я не раз бывал у него в Кунцеве, а он заходил ко мне — на Зарядье. О нем писали все чаще, и он неоднократно шутил над критикой. Он не понимал, как можно говорить о поэте, что он «яркий» или «красочный», или что у него «несвежие рифмы». Статья А. Лежнева вызвала в нем припадок злости и стихи «Вмешательство поэта»...

В комнате у Багрицкого вечно толпились люди, от которых он отделялся, вывесив на дверях квартиры записку: «Багрицкий занят — работает». Но при первом же звонке радушно приглашал к себе в гости:

— Конечно... Заходите, пожалуйста.

Я удивлялся:

— Зачем же ты приглашаешь к себе, а потом жалуешься?

— А что же мне делать, — отвечал он, размахивая руками, — что я могу поделать!..

С каждым годом он все реже выходил на улицу, жалуясь на астму. Собравшись куда-нибудь, обязательно нанимал извозчика, предпочитая его машине. Выступал он публично редко, а уж выступив, волновался, говорил задыхаясь, и всегда о поэзии...

Из всех поэтов он один наиболее прямо и последовательно работал над поэтическим наследством прошлого.

КАК ПИСАЛАСЬ „ДУМА ПРО ОПАНАСА“

В 1925 году, когда Багрицкий только приехал из Одессы и поселился в Кунцеве, мы почти каждое воскресенье ездили к нему: я, Дементьев и еще несколько вузовцев. Багрицкий был старше нас, но мы всегда относились к нему, как к молодому, и в некоторых отношениях считали себя более взрослыми. Так это и было в действительности. Юношеские и даже детские черты в характере Эдуарда остались до самой смерти.

В то время «Дума про Опанаса» еще не была написана, рыб еще не было, — были птицы, Эдуард воображал себя охотником и держал собаку. Одесское землячество в Кунцеве еще хранило традиции домосковского периода, романтические традиции литературной Одессы годов гражданской войны.

Эдуард был беден, ходил почти круглый год в резиновом плаще («как Дон-Кихот», говорил он), но был гостеприимен и всех, кто приезжал к нему, встречал хорошо. Главный интерес поездок в Кунцево был, само собой разумеется, не в бедной кунцевской природе — хотя сейчас мне кажется, что в Кунцеве летом и особенно весной было тогда очень хорошо. Но главное — был сам Багрицкий. Эдуард был настоящий пропагандист поэзии, он знал и помнил наизусть чуть ли не весь ее золотой фонд, и мог научить любить стихи всякого.

Читал он, как это помнят многие, очень своеобразно. Ритмику чтения он ухитрился каким-то образом приспособить

к своей астме. Мы очень любили это чтение, и Дементьев научился воспроизводить все его интонации.

Однажды Дементьев приехал из Кунцева и сообщил, что Багрицкий пишет поэму из эпохи гражданской войны, что написаны уже большие куски и что получается замечательно. В следующую нашу поездку Эдуард прочитал написанное, и потом все время, пока писалась «Дума», мы буквально дежурили возле Багрицкого, брали каждую новую главу из-под рук, переписывали тут же на листках, заучивали наизусть и распространяли потом в Москве среди товарищей.

Эдуард был на большом подъеме в это время, писал быстро, почти что набело. Замысел поэмы и ее содержание он пытался рассказывать не раз, пока поэма писалась. Но рассуждений при этом никаких не было — он просто цитировал отдельные строфы или строчки и рассказывал поэтический ход вещи, ее сюжет и характеры. Увлечен он был чрезвычайно и героями своими, — и наиболее удачными, поэтически наиболее сильными местами поэмы откровенно любовался.

Это была любопытная черта в характере Эдуарда. Обычно говорят о скромности. Конечно, Багрицкий был скромн, никогда в нем не было никакого чванства, самовлюбленности, высокомерного причисления себя к избранным, которое отличает иных «прославленных» тотчас же, как они начинают прославляться. Но в конце концов так ведут себя только не слишком умные и чаще всего не слишком талантливые люди. В том смысле, в каком был скромн Багрицкий, скромны среди наших писателей многие.

Отличие Багрицкого было в другом. Это скорее можно назвать бескорыстием, бескорыстным и совершенно индивидуалистическим отношением к своему таланту. Багрицкий очень гордился своими стихами, он высоко ценил себя как мастера, и никакого самоуничижения у него никогда не было, но и к сделанной вещи он относился, как к чему-то уже от себя отчужденному, и удачным своим произведением он мог восхищаться вместе со своими слушателями уже как бы со стороны, никогда и ничем не подчеркивая, что это сделано именно им.

К критике он тоже относился своеобразно, — с крайней, можно сказать, чрезмерной терпимостью. Сейчас, когда

вспоминаешь, сколько нелепостей писалось о нем, особенно в первые годы, сколько напыщенных и невежественных пу-
стыков говорилось ему многими людьми изустно, по поводу
тех или иных отдельных его стихотворений, то прямо удив-
ляешься его безответности. Но тут была уже другая при-
чина. Багрицкий в первый период (в эпоху «Юго-Запада») —
сам еще не вполне ясно сознавал себя, свое место и роль в
революционной поэзии¹.

Кроме того, он был не мастер рассуждать. У него нико-
гда не было склонности к теоретизированию. Не было у него
и теоретического образования. Он никогда не стремился
стать поэтическим вождем, напротив, он искал сам, особен-
но в первый период, к какому бы берегу прибиться. Так
попал он к конструктивистам. Я помню, как отмахивался
он, когда мы требовали у него по этому поводу объяснений.
«Что у тебя общего с конструктивистами?» — спрашивали
мы. Багрицкий смущенно улыбался и говорил что-нибудь
невразумительное. Только он, вероятно, и сам не мог этого
объяснить.

Багрицкий очень ценил Сельвинского как поэта. «Уляла-
евщиной» он был увлечен. Чтение отрывков из «Улялаев-
щины» в 1925 — 1926 годах было одним из главных но-
меров на домашних литературных вечерах в Кунцеве. И
увлечение это было неслучайно. В этот период писалась
«Дума». Интерес к большой социальной теме, к реальному
историческому сюжету и сюжетной поэзии и самый выбор
проблемы — мелкобуржуазная крестьянская стихия в соци-
алистической революции, — тут была общность. Разработана
эта тема, однако, у обоих поэтов столь различно и в от-
ношении содержания, в основных идейных мотивах, и по
форме, что всякие попытки их сближения на основе пресло-
вutoй творческой платформы конструктивизма выглядят
весьма смехотворно. В период «Думы про Опанаса» Баг-
рицкий искал поэтических форм, которые позволили бы по-
новому использовать народный песенный элемент, реаль-

¹ Один только раз вступил он в спор с критикой — в стихотво-
рении «Вмешательство поэта». Но это было как раз в переломный
момент, когда прежняя тема была уже исчерпана и Багрицкий искал
поэтических путей к новому.



**„Папиросный коробок“
(Рис. Э. Багрицкого, 1927 г.)**

ный быт и язык эпохи. Сельвинский задавался той же целью. Но и народность у Багрицкого, и принцип поэтического ее использования были совсем иными...

Несмотря на то, что Багрицкий числился за определенной литературно-творческой группировкой (сначала — за «Перевалом», потом — за Конструктивистским центром), этому обстоятельству большого значения как-то не придавалось. Путь свой он прошел под влиянием общих процессов, совершавшихся в среде, близкой к пролетариату, демократической интеллигенции.

По рапповской схеме Багрицкий всегда числился в левых, наиболее близких попутчиках. Когда в 1930 году он вступил в РАПП, этому никто не удивился, и в РАППе это приняли как должное. К стыду нашему, надо сказать, что РАПП занимался им позорно мало и плохо. Откровенно говоря, первое время просто не знали, что с Багрицким делать. Это была вообще целая проблема в РАППе — как быть с попутчиками, которые начнут вступать в РАПП. Логически из рапповских установок вытекало, что попутчики, перевоспитавшись и сделавшись «союзниками», постепенно все вступят в РАПП — и за бортом останутся только «враги». Так мыслился в более или менее близкой перспективе следующий этап в развитии нашей литературы. Вступление Луговского и Багрицкого, казалось, подтверждало эту теорию на практике — и вместе с тем, на практике, получалась «неувязка». Пролетарскими поэтами они, мол, называться еще не могут, а в организации состоят, и как, мол, их освоить и выйдут ли из них вообще настоящие пролетарские поэты — закрадывалось сомнение. Все эти «неразрешимые» проблемы были разрешены, как известно, весной 1932 года в нескольких строках постановления ЦК.

В дальнейшем Багрицкий сблизился с некоторыми рапповцами: с Сурковым, с Селивановским и другими, но это была уже дружба не столько с рапповцами, сколько с литераторами-коммунистами. В последние годы с целым рядом коммунистов, и литераторов и не-литераторов, Багрицкий был связан очень тесно...

В период увлечения «Улялаевщиной» Багрицкий интересовался еще и Киплингем, — много и охотно читал его наизусть. Вообще вкусы его в поэзии были очень широки, и в оценке художественных достоинств никакими групповыми пристрастиями он не страдал. (Исключение составляли лишь одесситы. Одесситы были всегда его слабым местом.) Прочная неприязнь была у него только к двум или трем и ныне здравствующим поэтам, да еще не терпел он халтуры, приспособленчества, литературного «блата», в каких бы формах это ни проявлялось. Как всякий мастер, он умел уважать чужую работу и равно внимательно относился к людям с «именами» и без таковых. В последние годы около него толпилось немало поэтического народу. Как-то само собой получилось, что он стал признанным учителем многих, и у него на дому создавался своеобразный литературный семинар. Начинаящим и молодым нашим поэтам он был полезен, пожалуй, не столько критикой их собственных произведений, сколько тем, что он прививал им любовь и интерес к чужим стихам, к поэзии вообще, к совершенному и подлинному искусству в поэзии.

Печатался Багрицкий скупой: только вещи, которые он считал отличными. Но написал он не так уж мало. Не только в одесский, но и в кунцевский период в ходу были стихотворения, которые в книгу потом не вошли. Читался, например, первый вариант «Трактира», подготовительные стихи к «Думе» (печатались в 1926 г. в «Молодой гвардии»), читались некоторые стихи одесского периода. Я помню, что для праздника «комсомольской пасхи» (в 1923—1924 гг.) текст антирелигиозных частушек одесский губком комсомола заказал Багрицкому. Багрицкий задание выполнил очень хорошо. В 1925 году Багрицкий принес в редакцию комсомольского журнала «Смена» стихотворение. Начиналось оно так:

Из Петербурга в Хамадан,
Над реками паря,
До пограничников дошли
Раскаты Октября.

Стояли горы в башлыках,
Из голубого льда,
В долинах пели джурбаи
И пенилась вода...

Стихотворение нам понравилось, и мы решили напечатать его в Октябрьском номере. Багрицкий тогда очень нуждался в деньгах, и с большим трудом удалось нам достать в небогатом нашем издательстве малую толику денег за эти стихи. В книжку он это стихотворение не включил, а спустя несколько лет признался как-то, что он перепечатывал его несколько раз в глухих, никому неизвестных журналах. Мы посмеялись тогда над его «ловкостью». Багрицкий не включал в книжку стихов, которые он считал средними. Но средние его стихи относительно того, что печаталось повседневно, были очень хороши, и, я думаю, Багрицкий имел право на то, чтобы напечатать несколько раз одно из своих стихотворений.

Была в его характере и во всем его складе одна черта, которая полностью отражена в его творчестве и которая привлекала к нему советских людей из очень широкого круга. Багрицкий был скорее плебей, чем интеллигент, он вышел не из буржуазии, а из низов, — в нем была демократичность. Это проявлялось во всем: в его манерах, шутках, в незатейливом его балагурстве, в простоте и товарищеской общительности. Он был человек настоящей культуры, но без интеллигентского индивидуализма, без многих интеллигентских предрассудков и вывертов, которыми грешили и грешат многие его собратья по перу и некоторые из его земляков...

В последний раз я виделась с Багрицким за неделю до смерти. В этот вечер было все, как обычно — в гостях были товарищи и любители поэзии, Эдуард сидел с ногами на тахте, вдывая себе в нос из особого стеклянного приспособления какой-то порошок (очередное снадобье от астмы), читал Державина, балагурил. И все же, если бы Эдуард и не умер, забыть этот вечер невозможно. Багрицкий в этот вечер пел! Пел он эстрадные песенки дореволюционных годов, а потом спел удивительно трогательную, очень грустную песню Беранже «Старый фрак». Пел он смешно (это нельзя назвать пением в обычном смысле), но получалось очень поэтично. Кто-то уже сказал о Багрицком: «Это был не только замечательный поэт, но и замечатель-

ный поэтический характер». Верно! Поэтичность была не только в его стихах, но и в нем самом, во всех его проявлениях. И за внешней грубоватостью, которую Эдуард иногда напускал на себя для большей мужественности, было бесконечно много лиризма. С какой особенной, удивительно лиричной интонацией читал он строки:

Шаманит в сырых беседках
Оранжевая оса,
И жаворонки в клетках
Пробуют голоса...

Или прелестные эти эпиграфы — пейзажи из «Последней ночи»! А сколько нежности вложено в стихи «Смерть пионерки». Когда вспоминаешь все это сейчас, делается грустно. Удивительно чистый был человек!

Этому человеку в высшей степени было присуще чувство изящного и то живое, глубоко-жизненное чувство художественной правды, которое не позволяло ему фальшивить ни с другими, ни с самим собой.

ИЗ ЖИЗНИ ПОЭТА

1

В дверях «Круга» меня остановили перевальцы Борис Губер и Николай Зарудин; Губер сказал:

— Подождите, сейчас Багрицкий будет читать.

Обстановка была несколько странная. Мы стояли в узких полутемных сенях, в которых обычно путались попавшие с уличного света посетители, не зная, где «Круг», а где «Красная новь». В качестве мебели в сенях торчал длинный убогий стол. На него сел высокий, одутловатый человек и начал читать стихи.

Фамилия «Багрицкий» мне ничего не говорила; я знал, что он был членом «Перевала» — и только. Однако легкий, песенный склад стиха заставил насторожиться. Но, конечно, дело было не только в песенном складе. Вместе с ароматом голубых украинских степей и звоном придорожной бандуры в стихах билось что-то грозное, предостерегающее...

Вот мелькнуло имя Махно. В отрывистых строках вспыхнул полнокровный образ, за ним — другой, третий... Буйная и страстная партизанщина, дикий гайдамацкий разгул, лихой разбойничий посвист зазвенели в ярких и напористых стихах.

На руке с нагайкой крепкой —
Жеребьяче мыло,
Револьвер висит на цепке
От паникадила! —

бросал поэт щедрые, красочные мазки. Он словно надвигался на нас, насупись и подчеркивая ритм стиха едва уловимыми движениями корпуса, словно приказывал подчиниться своей поэтической воле...

А где-то в глубине сознания рождался вопрос:

«Неужели только это? Неужели он так и застрянет в гайдамачине, в бандитской лихости, в кровавом разгуле махновцев? Романтизируй их сколько хочешь, — мы их видели лицом к лицу и знаем им настоящую цену...»

Нет, не застрял!

В хате ужинает Коган,
Молоко хлебает,
Большевицким разговором
Мужиков смущает...

Вот оно, — свое, советское, — победно ворвалось в гайдамацкий стих!

Багрицкий оборвал чтение и сказал просто:

— Я еще не кончил. Сейчас работаю над второй частью.

Это было неожиданно. Молча вышли мы на улицу. Как развяжет поэт встречу Когана с Опанасом — нам было неизвестно. Но никто об этом и не спрашивал. Мне, например, было ясно, что советское, революционное и организующее начало возьмет верх над партизанской анархией. Иначе и не могло быть — такой вывод поэту властно диктовала история.

Волновало другое. Свой, настоящий, большой поэт появился в нашей среде!

Это было весной 1926 года.

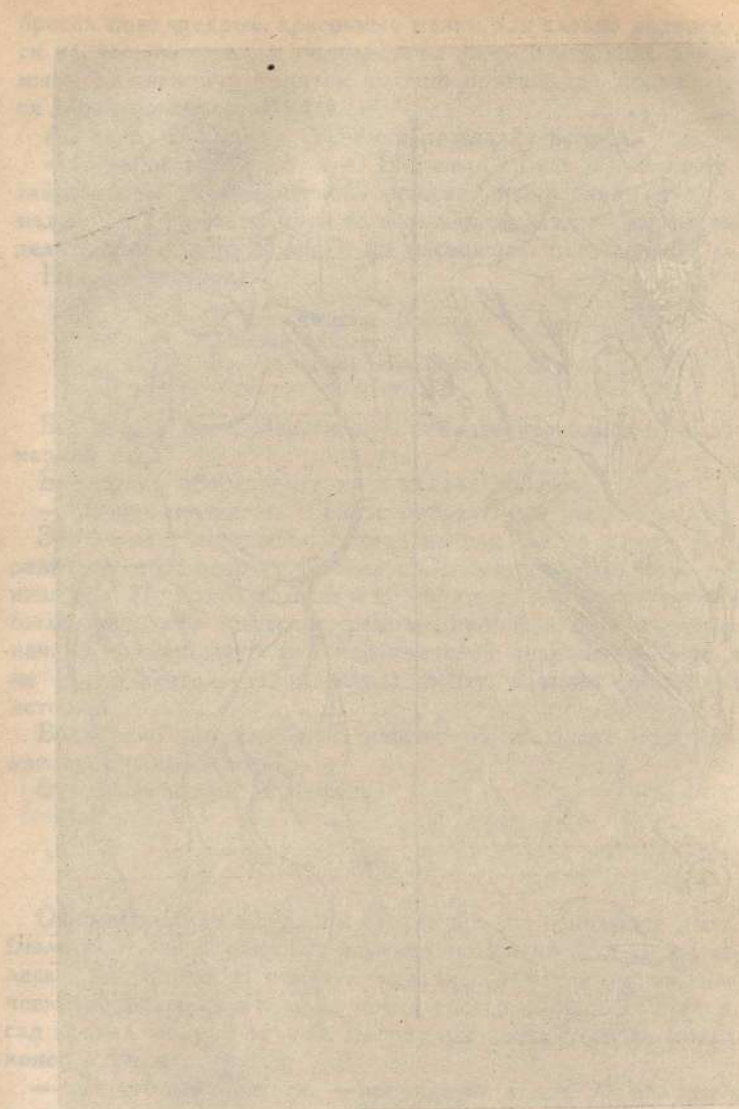
2

Окно выходило в сад, и к стеклу прилип березовый лист. Было еще очень рано, но шумная компания уже отправилась на станцию. В комнате был хаос — после бурной ночевки опоздавших вчера на поезд гостей. Дождь кончился, сад дышал мокрой травой. Багрицкий снова и снова читал конец «Думы».

— Да что повторяться, — прервал он чтение на полуслове. — Хотите, напишу сонет в три минуты?



Рис. Ж. Багрянцкого (1928 г.)



Page 10 (10/10)

Я положил перед ним часы — и Багрицкий написал:

Еще горит над станцией огонь, —
А станцию построил Лианозов...
В глубокой тьме пожаров и морозов
Она просвечивает, как ладонь...
И лампы этой, путник, ты не тронь:
Здесь сумрак — сладок, нежен и березов,
Закат — росист, рассвет — горяч и розов,
И паровоз храпит, как черный конь...
Над Лианозовым проходят бури,
Но ты, о, страж покоя и лазури, —
Фонарь, — горишь над синей темнотой!..
И в час, когда с тяжелого разбега
Несется поезд в белой пене снега,
Ты ярко зацветашь над землей...

Прошло, действительно, ровно три минуты. В тексте не было ни одной помарки.

— Могу по любому поводу и при любой обстановке, — сказал Багрицкий. — Но... не хочу.

Он был виртуозом версификации. Но версификатором быть не хотел.

3

К «Думе про Опанаса» я отнесся страстно. Еще до окончания поэмы мы с Багрицким ходили по Москве и спорили. Я нападал на стихи:

Джурбаев седая стая,
Воздух джурбаинный...

Я доказывал, что украинское слово «джурбай»¹ — непонятно и потребует сноски. А сноска в стихотворении — совсем лишний орнамент.

— Потом, откуда вы взяли, Эдуард Георгиевич, слова «гривун» и «зловун»? — спрашивал я. — Если еще «гривун» понятен, хоть и бесцелен, то «зловуна» не поймет никто. А напоминает он — по созвучию — зловоние...

Речь шла о стихах:

Что пихнут тебя у штаба
Зловуны прикладом...

¹ Джурбай — степной жаворонок.

— Я их выдумал, эти слова, — ответил Багрицкий с улыбкой. — Они мне нравятся.

Под влиянием ли моих атак или по другим причинам, «джурбаи» и «зловуны» дальше первого печатного текста в «Комсомольской правде» не пошли. В дальнейшем «джурбаи» были заменены тополями:

Тополей седая стая,
Воздух тополиный...

Вместо «зловунов» появился часовой. Но «гривун Опанаса» остался.

Нападал я и на концовку поэмы:

Так пускай и я погибну...

И т. д.

Я утверждал, что указывать адрес своей предполагаемой гибели — «у Попова лога» — по меньшей мере преждевременно. Кроме того, нарочито-наивный наигрыш концовки не вяжется с очень сильным, зрелым и серьезным эпилогом.

Концовка, как известно, осталась неприкосновенной...

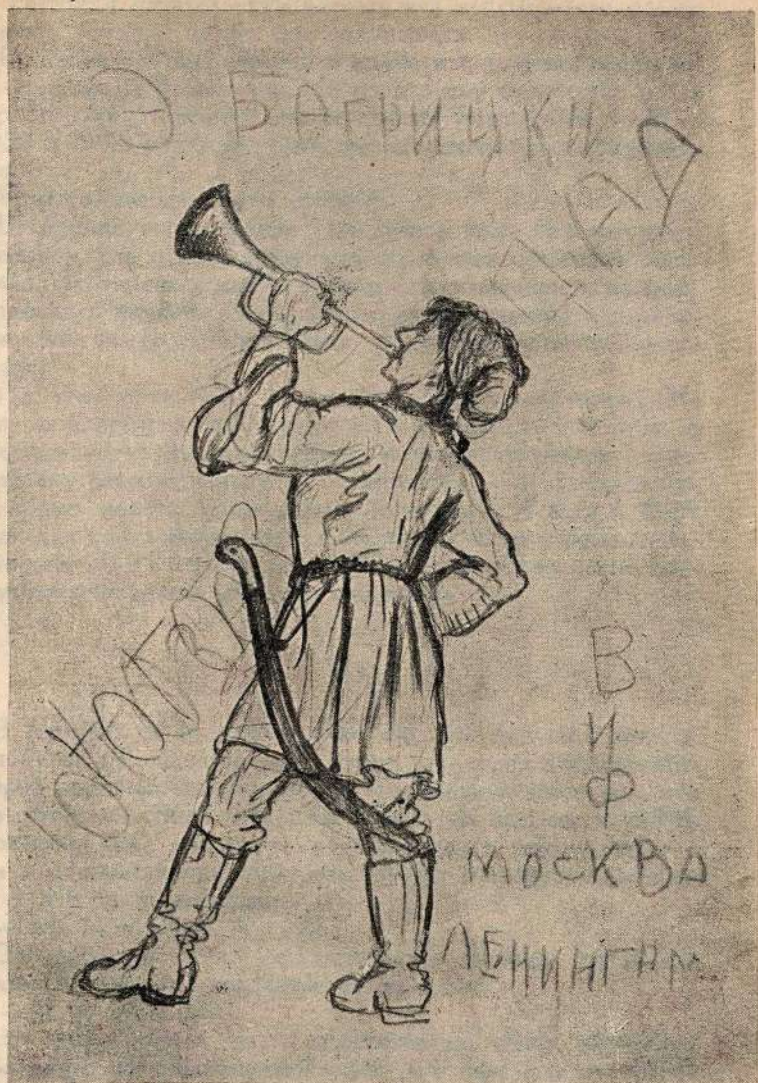
Мне вообще неоднократно приходилось спорить с Багрицким о лексике его стихов. Например, в стихотворении «От черного хлеба и верной жены» есть строчка:

Потопчут ли нас трубачи молодые...

Яростно доказывал я Багрицкому, что слово «потоптать» (как, впрочем, и слово «топтать») имеет в русском языке, помимо прямого, еще и побочное значение и касается отношений петуха с курицей. Поэтому правильней было бы написать «затопчут» или «растопчут». Но Багрицкий остался при своем мнении. В этом случае, как и в ряде других, он хотел быть верен областному языку.

Моя позиция мне и сейчас кажется правильной.

Право поэта на словотворчество мне представляется неоспоримым. Но в каждом случае словотворчество должно быть оправдано не только контекстом, но и общим обликом поэта и его отношением к слову, к языку. «Дума» Багрицкого уже по самому своему песенному складу адресова-



Эскиз обложки для второго издания „Юго-Запада“
(Рис. Э. Багрицкого, 1929 г.)

на широким читательским массам, и в ней не место неологизмам, которые нужно еще додумывать.

Приходилось мне спорить о языке и с другими советскими поэтами и прозаиками. Но ни к чьему творчеству я так страстно не относился, как к стихам Багрицкого 1926—1930 гг. Мне хотелось, чтобы все его стихи были совершенными.

И не только мне этого хотелось.

Багрицкий того периода был своего рода литературным знаменем для целого ряда революционных советских писателей. Поэтическая мысль Багрицкого, искренняя и честная, стремилась начисто оторваться от романтических и идеалистических настроений и слиться с идеями пролетарской революции.

На этом пути было много внутренних препятствий. Но поэт их постепенно преодолевал. От Опанаса — к Когану, от вальтер-скоттовского разбойника — к сознательному пролетарскому революционеру, от Уленшпигеля — к Дзержинскому, — вот дорога, проделанная Багрицким. И если в 1929 году для поэта были законны «Стихи о поэте и романтике» (сборник «Б и з н е с»), то в 1932 году мировоззрение Багрицкого определяла «Смерть пионерки».

4

В Кунцеве он сидел на койке, поджав под себя ногу, и напоминал большую больную птицу. Он курил антиастизматический порошок, задыхался от него, кашлял, но уверял, что это помогает. Зная, что поэт тяжел на подъем, какой-то профессор стал присылать фельдшерицу к нему на дом — для противоастизматических уколов. Но Багрицкий полного курса уколов не выдержал:

— Ну их к чорту, больно!

Он вообще не хотел укладываться в обычные житейские рамки. Как-то он с гордостью сказал мне:

— Я не видел нэпа.

Это была правда. Часто существование семьи определял небольшой кратковременный заем. От перевода к переводу — так жил Багрицкий. К халтуре он относился с пре-

зрением. Стихи могли бы материально давать много больше, если бы Багрицкий чаще их писал. Но величайшая ответственность, с которой поэт относился к каждой своей печатной строке, ограничивала эту возможность до крайних пределов. Три-четыре стихотворения в год — вот тот максимум, на который Багрицкий шел. Это туго сочетается с его версификаторским талантом. При желании Багрицкий мог бы каждый месяц писать стихи для всех московских журналов. Но этого желания у поэта не было. Ради заработка он переводил, а в последнее время и редактировал. Мне кажется, что каждое свое стихотворение он рассматривал как ответственную литературно-политическую декларацию. Он следил за мыслью и не позволял ей отступаться. Он говорил полным голосом только тогда, когда у него было что сказать.

Краснодеревщики не привозили ему на дом ничего так же, как и Маяковскому. Вообще трудно говорить об «обстановке» в комнате Багрицкого. Аквариумы и клетки, койка и стол... вот и вся мебель. Однажды какой-то рьяный финагент, получив распоряжение об авансах, налагаемых на 1930 год на нетрудовой элемент, явился к Багрицкому в его отсутствие и описал на предмет аванса... сломанную швейную машинку и ружье. Больше он ничего, достойного описи, найти не мог. Багрицкого обидела не столько опись, сколько ее неправильность.

— Ведь я уплатил налог полностью, — задыхаясь от кашля, жаловался он мне по телефону. — Я-таки все уплатил! Если бы я не уплатил!..

Вмешательством фининспекции опись была снята на другой же день, и к вечеру Багрицкий добродушно посмеивался над ретивостью финагента...

Он искренно считал себя отменным охотником. В его комнате вечно путался под ногами бестолковый сеттер Том. Багрицкий утверждал, что Том — собака умная и дельная на охоте.

— Тубо, Томми, тубо! — раздавалось то и дело в комнате поэта.

Какой охотник был Багрицкий, я не знаю, но выезды из Кунцева кончались для поэта почти всегда длительным припадком астмы; так, например, в Харькове, во время 2-го

Международного съезда революционных писателей (осенью 1930 г.) Багрицкий все шесть дней съезда просидел у себя в номере. Сидел он так же, как в Кунцеве, — на кровати, поджав под себя ногу. Но все эти шесть дней он почти ничего не ел. Я носил ему из Дома Блакитного (харьковский «Дом Герцена») то, что удавалось достать. Еда так и лежала на столе нетронутой.

— Как же вы питаетесь дома, Эдуард Георгиевич? — соврался у меня наконец с языка вопрос.

— Раз в три дня Лида покупает мне кило свинины, и я ее съедаю.

Так же сидел он и в ленинградской гостинице, почти нигде не выходя. И везде: в Кунцеве, в Харькове, в Ленинграде — приходили и подолгу сидели у поэта самые разнообразные люди. Были среди них не только писатели и рыбоводы. Рабочие, агрономы, художники приходили к нему, чтобы насладиться его беседой. И было чем наслаждаться. Он был талантливым рассказчиком. Диалог пересыпал каламбурами. В области поэзии Багрицкий обладал большой эрудицией. Он цитировал на память целые страницы давно забытых поэтов — например, Каролины Павловой.

5

В 1929-1930 гг. Багрицкий любил читать вслух «Закат» Бабеля. Читал он эту пьесу по печатному тексту, добавляя массу забавных бытовых подробностей. Особенно хорошо выходила у Багрицкого сценка в синагоге, куда чтец самовольно вставлял довольно длинный диалог отца-биндюжника с малюткой-сыном, целиком выдуманный им самим.

Разумеется, импровизация Багрицкого мешала общей архитектонике пьесы. Но вводимый чтецом пышный одесский колорит так неожиданно орнаментировал пьесу, что слушатели охотно прощали поэту такое вмешательство в авторскую композицию.

Нужно сказать, что Багрицкого самого тянуло к драматическому жанру, и со мной он неоднократно говорил по этому поводу. Однажды, в 1929 году, разговор принял действенный оттенок, и мы решили писать пьесу вдвоем.

О теме быстро сговорились. Мы решили изобразить литературную богему; объектом нападения избрали тот богемский уклон, от которого, по недавнему выражению А. М. Горького, до фашизма — расстояние короче воробьиного носа.

Главными персонажами являлись, по замыслу, два известных поэта. Один из них гибнет, другого берут в работу комсомольцы, и он постепенно отделяется от своей двойственности, избавляется от богемских болезней и с полной искренностью включается в строительство социализма.

Сюжет пьесы был значительно сложнее, но рассказывать его здесь я не считаю нужным. Следует отметить, что персонально задевать мы никого не хотели, портретности избегали — нашей задачей было вскрыть явление, его социальные корни и наметить путь его ликвидации.

Техника работы была такова: я садился за машинку, Багрицкий усаживался на диване — мы совместно намечали текст, и я заносил его на бумагу. Работа происходила у меня на даче.

Багрицкий был тяжел на подъем, а мне приходилось сплошь и рядом уезжать в Москву по общественным делам. Поэтому дальше нескольких экспозиционных сценок работа, к сожалению, не пошла. Одну из этих сценок я привожу:

Ресторан. Музыка.

Первый стол. Комсомольцы, студенты литвуза.

З о я. А зачем они водку пьют? Разве вкусно?

В о л о д ь к а. Действует на нервы.

З о я. Да ведь она горькая!

В о л о д ь к а. Упадочники.

З о я. Это Барт-то упадочник? Бузишь, парень!

С е м а. Не так упадочник, как припадочник.

З о я.

И только кони ржут победно,
Влетая в покоренный Крым...

Красота!

В о л о д ь к а. Да ведь это про гражданскую войну...
Устарелая романтика!

Сема. Не так устарелая, как застарелая.

Володька. Про пятилетку-то, небось, не пишет... Считает ниже своего достоинства.

Зоя. Можно писать не только про пятилетку.

Володька. Он — не наш.

Зоя. Наш! Наш!

Да, мы земное раздираем лоно,
Работники победного труда...
Нас мчат на юг товарные вагоны,
Где мелом нарисована звезда.

Как же не наш? Разве чужой может так сказать?

Володька. Сказать-то все можно... Мы, нас мчат... А сам сидит и пьянствует.

Второй стол. Поэты Барт и Зыков.

Барт. Скучная страна.

Зыков. Я тебе говорил это и десять лет назад.

Барт. Азиатская страна!

Зыков. Тише ты, чорт!

Барт. Плевать.

Зыков. Выпьем.

Барт. Ты — мертвец.

Зыков. Человек! Графинчик!

Барт. Ты — мертвец.

Зыков. Льду не забудь!

Барт.

Не рыбак — я, а писака жалкий...
Что мне ветер ночью пропоет?
Я не буду ночью у спасалки
В море сталкивать грудастый бот...

Зыков. А дальше?

Барт.

Я не буду темными ночами
Всматриваться в море и песок...
Не услышу больше над волнами
Залихватский боцманский свисток...

Зыков (наливая водку). А ты не боишься, что я тебя отравлю?

Барт. Как ты можешь отравить? Ты — мертвец.

Зоя (появляется перед столиком). Вы — Барт?

Барт. Я — Барт, но я не бард.

Зоя. Глупо! Зачем вы пьете водку?

Барт. Мне в этой стране больше нечего делать.

Зоя. И это вы... вы говорите? Разве это не вы написали «Аврору», «Песню конников», «Дипкурьера»?!

Зыков. Садитесь, невежливо стоя разговаривать. Он еще не Пушкин.

Зоя. От вас водкой пахнет. (Уходит.)

Барт (ей вслед). Амбр-рой!

Зыков. И мускусом...

Актеры (вбегают). Сарабанда! Сарабанда!

Музыка. Пляска.

Само собой разумеется, стихи в этом отрывке (как и в других) принадлежали Багрицкому.

6

Он сидел в Кунцеве — и прислушивался к своей болезни. Смерть росла внутри его большого, нескладного тела, — и он это знал. Смерть разбухала, становилась близкой, почти осязаемой, а он отмахивался от нее — иногда шутя, а иногда с горечью: все равно ничего не поделаешь: астма, туберкулез, нарушение обмена веществ...

И одновременно — в полном противоречии с личной обреченностью — горел борьбой, революцией, победами социализма.

Литературно-политические бои того периода воспринимались Багрицким, как кровное дело. Он редко бывал и выступал на собраниях. Казалось, что его участие в борьбе ограничивалось горячими тирадами... по телефону. Но это было не совсем так!

Багрицкий часто и охотно выступал с чтением собственных стихотворений. Ему было безразлично — платят за это

или нет. О размере гонорара он никогда не справлялся. Но каждый раз на такое выступление он поднимался, как в бой.

Мне не раз пришлось слушать Багрицкого. В тот же период в разной обстановке слышал я чтение и других советских поэтов. Но чтение Эдуарда Багрицкого я всегда сравнивал с чтением Сельвинского.

Я и до сих пор держусь того мнения, что Илья Сельвинский — образцовый чтец, исключительный мастер чтения. Он властвует над словом, прекрасно владеет дыханием, командует звуком и обладает чувством меры.

Ни одной из этих данностей у Багрицкого не было. С первых же моментов чтения слово забирало его в плен, поэт кашлял, задыхался, прерывал чтение, пил воду, иногда вставлял посторонние слова:

— Сейчас... А дальше — так... Вот...

Редкое стихотворение проходило без одышки и кашля. И, тем не менее, Багрицкий в полном смысле выражения овладевал аудиторией.

Багрицкий брал нутром, эмоциональным напором, собственным волнением. Когда он читал, казалось, что он создает стихи заново — и вся аудитория, вместе с ним, принимает в этом участие. Бурные овации сопровождали его выступления.

Если каждое из своих стихотворений Багрицкий понимал, как декларацию поэтического момента, то на свои выступления он смотрел, как на непосредственное участие в литературно-политической борьбе. Когда он был в «Перевале» — своими выступлениями боролся за «Перевал». Перешел в ЛЦК — выступал как конструктивист. И, наконец, с февраля 1930 года бился как рапповец — именно своими стихами.

Это организационное движение — от «Перевала» к РАППу — сопутствовало внутреннему движению его творчества.

От книжной романтики — к живой жизни, к пролетариату, — такой путь казался ему необходимым. И он продирался по этому пути сквозь колючую проволоку мелкобуржуазных пережитков...

... Теперь его нет. Это очень тяжело. И особенно тяжело потому, что, как сейчас кажется, мы, — его среда, поэты и писатели, те, к кому он прислушивался, — мы его ценили не в полную меру...

Когда хоронили Эдуарда Багрицкого, в моем сознании упорно звучали строки Шекспира:

... И только гроб его увидя, начинаем
Ценить как следует...

О НАДЕЖДЕ—ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ

Это было на углу Тверской и Леонтьевского переулка. Сюда нас привел с улицы Есенин.

Есенин был с молодым, похожим на него, белокурым человеком.

Тот был повыше Есенина и с таким же, как будто уже налитым водою, бледным лицом.

Багрицкий читал «Стихи о соловье и поэте»:

Весеннее солнце дробится в глазах,
По стеклам течет и в канавы ныряет.
Нас двое.
Кругом в зеркалах и звонках
На гору с горы пролетают трамваи...

Это были стихи о поэте под коленкоровым небом, о том, что «мы пойманы оба, мы оба — в сетях! Твой свист подмосковный не грянет в кустах...»

Есенин не слушал, не принимал, хотя Багрицкий как будто выбрал для него доходчивое стихотворение.

Солнце, самовар, солнце в зеркалах трамвая, пленный соловей — было другой, чуждой тематикой для тогдашнего, кончавшегося Есенина.

Он сидел как за стеклом и с трудом подбирал слова, чтобы что-нибудь сказать.

Багрицкий смотрел на него как молодой.

Это воспоминание я записал, не зная точно, что оно значит...

Путь поэта к дому, к своей единственной теме — далек. Багрицкий шел к себе домой через чужие стихи о таверне, о дуэлях, о прогулках при луне, через непосланные письма к Александру Блоку, баллады о Виттингтоне, через стихи о веселом Диделе, Тиле Уленшпигеле, через переводы из Томаса Гуда.

Старая Москва с флагами, трамваями, церквями; горели начищенным огнем четыре буквы:

МСПО.

Багрицкий читал эти буквы, как поэт-иностранец:

Это —
Мир Страстей, Пыхай Огнем!
Это —
Музыка Сфер, Пари
Откровением новым!
Это — Мечта,
Сладострастье, Покой, Обман!

И довольно реальный голод, судя по сосискам, булкам с маслом, которые живут в стихах...

Нужно было разгадать буквы: МСПО.

Витая лестница шла в небо. В небе был романтизм таверны, бог соблазнял поэта иностранной сытостью. Поэт тосковал о романтически-нарисованной земле.

Мир, поросший деревьями, обрызганный водой, стоящий в туманах и сияниях.

Багрицкий шел от переводной темы, от баллады — к реальной теме.

Футуризм, родившийся от стремления передать новые ощущения мира или думающий, что он так родился, говорил в эти дни общими понятиями.

Реальное содержание, через реальное удивление, не могло притти от акмеистов, которые, мечтая прикоснуться к миру, прикасались к Царскому Селу и обновляли его, замечая золотой калач над булочной Голлербаха.

Английские баллаdisty, с чужим миром, учили Тихонова и Багрицкого овладевать своим.

Изменялся пейзаж вокруг поэта, ушел чужой туман, чужие разбойники. Новый мир — за окном — пришел сперва как экзотика.

Полотняными крыльями кораблей, ветром, который сви-

стит по-боцмански в два пальца, кавуном, на котором поэт вырезал ножиком очертание сердца.

Новый мир пришел с контрабандистами, греками. МСПО постепенно расшифровывалось, буква за буквой. Путь к этим буквам был не пройден...

Эдуард был болен.

Для того, чтобы не жалеть себя, что вредно для поэта, он изобрел позу лени.

Птицы, реальные птицы — пели вокруг него в клетках.

Потом пришло другое увлечение. С зеленоватой, драгоценной водой стояли аквариумы, и в них, как стальные перышки, которыми играют приготовишки на партах, сверкали маленькие рыбки.

Слава принесла электричество для подогрева рыбок и маленький электрический мотор, который подкачивал рыбкам то, чего нехватало Эдуарду, — воздух.

Голова поседела рано, потому что смерть сидела напротив, за письменным столом, и считала оставшиеся строчки. Ступени, идущие в квартиру на шестом этаже, были тоже подсчитаны смертью. Поэт жил, запертый ступенями своей квартиры. Москва сверху была однообразная, милая; уже было известно, что МСПО — реальнейшая вещь.

Я не знаю, когда прошел Багрицкий Красную армию, когда он получил этот глоток воздуха. С комиссаром Коганом вошел он в советскую литературу, разгадавши настоящий смысл тех букв азбуки, которых он когда-то не понимал.

Это трудная азбука.

Коган совсем не экзотичен. Коган не с Молдаванки, — у Когана нет даже биографии. Коган не говорит речей. Коган только оживает вновь за коридорами, в которых много дверей. Он оживает перед Опанасом:

Ну, штабной, мотай башкою,
Придвигай чернила:
Этой самою рукою
Когана убило!..

Багрицкий из тех людей, которые рассказали про Когана с аккуратной прической, так, что понял и Опанас, который не убивал, которым у б и в а л о...

Поэт начал с перевода, — из чердака у него был путь в английское небо. Поэт добрался до себя.

Но он был болен, его героизм заключался в том, что он не открывал сердца страху, был бодр, смотрел, как блещут рыбки...

Я с ним поехал в Ленинград. Там он выступил еще раз.

Пришел к нему какой-то старик, которого дети не брали на охоту, пришел старый друг Петр Сторицын, которому никто не заменит Эдуарда.

В большой комнате, на большой кровати, в городе, который он не мог осмотреть, лежал поэт, который мог писать.

Не было воздуха, астма не сдавалась. Он говорил по утрам: дзи-дза-дзу. Какой-то врач сказал, что это гимнастика для легких, что от этого легче будет дышать.

Он курил абиссинский порошок, чтобы легче было дышать.

К нему приходил какой-то старый товарищ, обнищавший, потерянный. Эдуард спрашивал:

— Что тебе заказать к обеду?

— Седло дикой козы.

Эдуард заказывал седло дикой козы, потому что человеку нужны иллюзии, нужно лишнее. А он сам уже знал советский алфавит, знал, что небо не из коленкора. Ему нужен был только воздух, но смерть уже сосчитала его строчки.

В УГЛУ ЗА АКВАРИУМАМИ

Когда я в первый раз посетил Багрицкого в Кунцеве, вся тесная, убогая кухня с комнатухой за перегородкой, где он тогда ютился с семьей, была обвешана клетками с певчими птицами. Я насчитал пятнадцать клеток, и птицы так гомонили и высвистывали на разные лады, что трудно было разговаривать. Но они, видимо, совсем не мешали своему хозяину, и он лишь изредка отрывался вдруг от стихов или разговора и прислушивался к какому-нибудь любимому птичьему голосу, обращая на него внимание и гостей. Тут был и черный дрозд, взлетевший потом, как ворон Эдгара По, на явор кривобокий в эпитафье «Последней ночи», и подмосковный зяблик, «предвестник утренней чистоты», и зеленая пеночка, оплакавшая своим двухоборотным свистом пионерку Валю.

Потом, когда Багрицкий стал «побогаче», неугомонных певчих птиц сменили бесшумные рыбы, серебряно-голубые, бархатно-черные, радужные, — выходцы из теплых тропических топей Амазонки и Ганга, беззвучно скользившие удивительно изящными, успокоительно-действующими движениями в стеклянных кубах, заботливо подогреваемых снизу керосиновыми лампами.

И мне казалось, что и певчие птицы, и аквариумные рыбы как бы выражали собой две особенности Багрицкого: у птиц он учился пению, у рыб — молчанию. Рыбы как бы учили его молчать и терпеливо выжидать, пока зрела пес-

ня; птицы — петь ее свободно полным голосом, когда она, наконец, созрела и сама подступила к горлу.

Наша бурная эпоха часто требует от поэтов немедленно-го боевого отклика. Она говорит по-военному, словами директора из пролога «Фауста»:

Что зря болтать о настроении?
Оно никогда не явится к тому, кто медлит.
Раз вы выдасте себя за поэтов,
Так командуйте поэзией...

Неудивительно, что поэты в погоне за злобой дня, в спешке часто срываются и издают хоть и искренние, но поэтически фальшивые ноты. С Багрицким этого никогда не случалось. На боевое требование эпохи он отвечал глубоко лирической боевой песней, звучавшей музыкально-чисто на самых высоких нотах.

И в этом — сила его поэзии.

Все стихи Багрицкого производят впечатление исключительной легкости и непринужденности, как будто они сами, без труда вылились песней в счастливые минуты вдохновения. Действительно, Багрицкий мог писать стихи очень легко, мог при желании импровизировать их.

Однажды при мне к нему зашла редакторша детской литературы и принесла пачку последних книг. Она прочла вслух и расхвалила какие-то стихи про ежика. Но Багрицкий отнесся к ним холодно.

— Ничего, — сказал он, — только, знаете, такие стишки можно печь десятками в день. Вот хотите, я сейчас в десять минут напишу не хуже этих... Ну, хотя бы про медведя.

Багрицкий заметил время по часам и, пока мы разговаривали, еще до истечения десяти минут прочел написанного почти без помарок «Медведя». О стихах этих Багрицкий тут же забыл и подарил листок, по ее просьбе, редакторше. (Вскоре после его смерти этот «Медведь» был опубликован в «Литературной газете», но без указания того, как он был написан.)

И, однако, при такой легкости в писании стихов Багрицкий, по его собственному признанию, писал мучительно трудно, даже тогда, когда долго лелеянные образы созрели

и на него накатывало желание все бросить и только писать. Он не раз при мне возмущался теми поэтами, которые пишут спешно и небрежно:

— Мажут, а тут кровью изойдешь, пока напишешь!..

В подтверждение он как-то раз показал мне черновик начала «Последней ночи». Вся страница была исчерчена, видимо, вихрем налетавших на него строф, из которых в окончательный текст вошло всего... две строчки! Остальное (может быть, не плохое само по себе) было безжалостно им отброшено как лишнее.

Если стихи Багрицкого производят впечатление легкости, то только потому (говоря словами Льва Толстого), что они «написаны так мастерски, что и мастерства не видно».

Замечательной чертой Багрицкого была его удивительная отзывчивость к хорошим стихам, его всегдашняя заряженность поэзией. Он, как чувствительный приемник, чутко улавливал все подлинные поэтические волны, откуда бы они ни исходили, и тут же громогласно воспроизводил их в громкоговорителе своего голоса. Поэты в большинстве глуховаты к чужому поэтическому творчеству, — они слишком погружены в свое и на чужое реагируют лишь постольку, поскольку оно влияет на их поэзию или созвучно ей. Багрицкий же радовался хорошим чужим стихам не меньше, чем своим, читал их наизусть другим гораздо чаще, чем свои. Как бы он ни был утомлен после многочисленных посетителей, как бы ему ни нездоровилось, стоило только заговорить об особенно понравившихся ему стихах, как он мгновенно загорался, забывал и про усталость и про астматол, и начинал тут же читать их наизусть, страстно и стремительно. Ничто мало-мальски значительное в современной советской поэзии не проходило мимо Багрицкого. Появление новых хороших стихов было для Багрицкого радостным событием. Помню, как он читал наизусть всем приходившим «Мать» Дементьева, говоря:

— Я рад, что не ошибся в нем...

Даже в старой, дореволюционной поэзии, которую Багрицкий хорошо знал, он умел делать открытия, находить и пропагандировать никем не оцененные, давно забытые стихи, которые воскресали и звучали по-новому в его удив-

тельной читке. Так, у К. Случевского он открыл «Коллежских ассессоров»:

Где совсем первобытные эпосы
Под полуденным солнцем выросли, —
Там коллежские наши ассессоры
Подходящее место нашли...

В длинной поэме того же Случевского «Снега» Багрицкий очень любил и часто читал вслух отрывок про восход зимнего солнца и, особенно, про нищую старуху Прасковью:

Ну, а Прасковья, напротив того,
Видела, ведала много всего...
Говор кулисы, пиры до утра,
Память деревни, разливов Хопра,
Грубые шутки галунных лакеев,
Благословения архиереев, —
Все это как-то во что-то слагалось,
Стало старухой, и то, что осталось,
Силой незримой в тайгу притащилось
И, обгорев на морозе, свалилось
В ноги к мордвину, вперед головой,
Старую льдиной на снег молодой...

У обесславленного Бенедиктова, которого даже произведшие столько переоценок символисты объявили бездарным канцелярским рифмоплетом, Багрицкий тоже открыл немало хороших стихов, например, «Вальс» и «Неотвязную мысль»:

Я гоню ее с криком, топотом.
Не стихом кричу — прозой рублиной,
А она в ответ полушопотом:
«Не узнал меня, мой возлюбленный...»

— У него и научная поэзия есть, — говорил Багрицкий про Бенедиктова. — Вот послушайте-ка его «Перевероты»:

Горы попирая муравчатый склон,
Там мамонт тяжелый, чудовищный слон,
Тогдашней земли великан толстоногий,
Шагал, как гора на горе...

— Ну, что? — лукаво спрашивал Багрицкий. — Не правда ли, старик-таки читал вашу «Дикую порфиру»?

Багрицкому как редактору отдела поэзии изд-ва «Советская литература» и журнала «Новый мир»

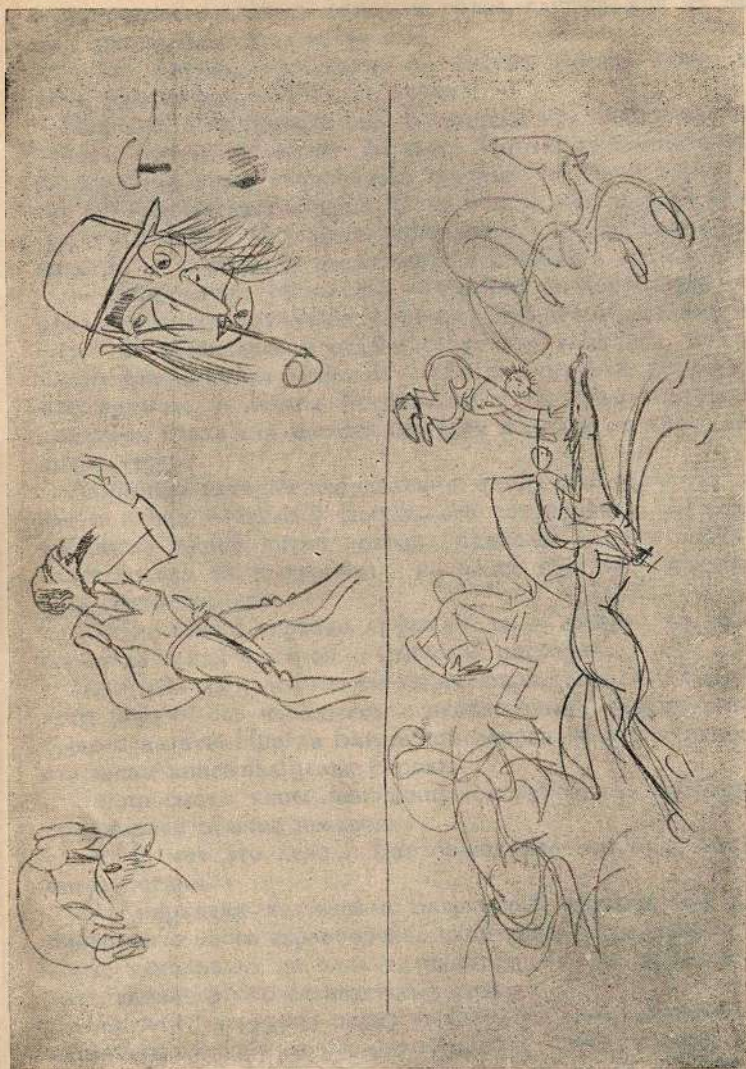


Рис. Э. Багрицкого (1932 г.)

приходилось просматривать много рукописей, но всегда он предпочитал оценивать стихи на голос, слушая, как их читает автор, или читал вслух сам.

— Не звучит, — повторял он кратко, бросив стихи на звон, как металл. — Нет, не звучит!

Конечно, если требовалось, Багрицкий мог подробно объяснить, почему не звучит, но часто этого и не требовалось: слушавшему сразу становилось это ясно по звону стиха, — так брошенная настоящая золотая монета дает другой звон, чем поддельная. Отрицательного мнения своего Багрицкий никогда не скрывал и высказывал его прямо в лицо автору.

— Слабовато... Неважно... — говорил он добродушно-сурово, но таким дружеским тоном, что самые обидчивые авторы не обижались и старались только вникнуть, почему плохо, чтобы потом написать лучше. Эта суровая, добродушная прямота и делала Багрицкого признанным «мэтром», арбитром стиха для многих десятков молодых поэтов и литкружковцев.

Любимым методом исправления чужих стихов, — так же, как и своих, — было у Багрицкого сокращение. Он сразу же после одной читки находил наиболее слабые места и безжалостно их вычеркивал, не боясь нарушить композицию стихотворения.

— Вот теперь гораздо лучше стало, — говорил он обычно после такой быстрой и искусной операции.

Один раз из целой поэмы начинающего автора у Багрицкого получилось небольшое стихотворение, которое можно было печатать. Иногда Багрицкий исправлял неудачные места и сам вписывал целые строки.

За просмотр кипы накопившихся рукописей Багрицкий принимался обычно неохотно:

— Не мое это дело... Вот брошу все — и буду только писать стихи.

Эта воркотня не мешала Багрицкому внимательно просматривать часто неразборчиво написанные рукописи: от него не ускользала ни одна удачная строка или образ в самых, казалось бы, безнадежных стихах.

Так как Багрицкий редко выходил из своей комнаты, то отсылать авторов за разъяснениями и ответами часто приходилось к нему на дом. Отсюда — непрерывные звонки по телефону, частые приходы неожиданных посетителей. Это

и отрывало от работы и утомляло Багрицкого, но он терпеливо сносил и толчею в своей комнате, и непрерывные телефонные звонки...

Удивительная отзывчивость и чуткость Багрицкого к поэзии, вместе с обаянием его личности и большим талантом, естественно и незаметно сделали из Багрицкого общепризнанный поэтический центр. Его заставленная аквариумами комната на Камергерском стала как бы центральной поэтической лабораторией, где ставилась невидимая проба на стихи, где выковывалось поэтическое мнение, устанавливался «гамбургский счет» поэтов.

Даже как будто ничего не делая, сидя в халате на своем диване в углу за аквариумами и отвечая только на беспрерывные телефонные звонки и беседуя с посменно приходящими и уходящими посетителями, Багрицкий делал незаметно большое общественное дело, оценить которое мы можем полностью только теперь, когда его не стало. Через комнату Багрицкого прошел не один десяток поэтов. На всей нашей поэзии последних лет явно чувствуется влияние Багрицкого. Уход его оставил после себя пустоту, не только потому, что ушел большой поэт, но и потому, что опустел этот пригревавший столько поэтов гостеприимный угол за аквариумами на Камергерском...

РАССКАЗ ПО ПАМЯТИ

Он полулежал на диване в Астории, которая тогда вовсе не была тем, чем стала теперь. Это был первый дом Ленинградского совета.

В комнате, накуренной и светлой от солнца, было много народу. Я запомнил Селивановского, Николая Богданова, совсем молодого Шведова и нелепого человека — Петра Ильича Сторицына, представлявшегося так:

— Сторицын. Повторите: Сторицын Петр Ильич. Повторите: русский театральный критик. Повторите быстро.

Багрицкий ему помогал. Он хотел сделать из него мемуариста. Но писать Сторицын не умел. Ум его помещался на кончике языка, — ум козера, рассказчика.

— Надо нанять стенографистку, — говорил Багрицкий, — пусть она запишет. Это будет литература лучше чем у «могучей кучки».

Так Багрицкий называл Крептюкова, Феоктиста Березовского, Бахметьева, — всех, кто пишет «могучим», выдуманым за письменным столом, языком.

— «Молодая батрачка, краснощекая Фекла, — говорил он, на ходу пародируя «кучку», — в замшелом омшанике сидела, гадала, перегадывала. «Ить, ядрена», — сказал Никифор, засовывая кнутовище за образа...»

Все смеялись. Смеялся и сам Багрицкий. Пародия не кончалась. Багрицкий кашлял и смеялся.

Еще в первую встречу меня поразило сходство Багрицкого с Денисом Давыдовым. Пушкинский собутыльник, ру-

бака-партизан и революционный поэт имели много общих черт. Прославленный седой чуб был одним из разительных проявлений этого сходства. Много позже я увидел рисунки Багрицкого. Мальчишеские, воинственные — они опять наводили на мысль о партизане Отечественной войны.

У Багрицкого была маска, литературная личность. Она совпадала с личностью Дениса Давыдова, — разумеется, перенесенной в условия нашего времени. Те, кому приходилось слышать рассказы Багрицкого об иранском походе, помнят их картонажную прелесть. Над ковровой тахтой у Багрицкого висел златоустовский палаш с эфесом из слоновой кости. Багрицкий любил говорить о героях гражданской войны и о собственных похождениях.

Вероятно, так же вспоминал лихие набеги и Денис Давыдов — вымышленный литературный герой, оставивший нам полные желчи заметки о подлинных деятелях войны. Но Багрицкий был умнее Давыдова: он не обижался, когда ему не верили. Он добродушно продолжал рассказывать, и слушателю скоро было уже все равно — правда это или нет.

В полувоенном костюме — брюки-галифе, френчеподобная куртка и краги — Багрицкий, покачиваясь, будто всадник на коне, читал свои стихи. Так он публично читал «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым», так читал он и «Думу про Опанаса»...

В кунцевский период жизни Багрицкий почти всегда сидел без денег. Один раз я поехал за его гонораром. У Багрицкого было тогда дежурное стихотворение. Называлось оно, если не ошибаюсь, «Жан и Жак». Теперь получался очередной аванс в очередном журнале — под это стихотворение. На привезенные мною средства купили конфет, меду и дров для русской печки. Я остался ночевать. Аквариумы — их тогда, маленьких и больших, было уже шестнадцать — светились, как гигантский иконостас. Была зима, рыб подогревали.

Снег в Кунцеве — белый, не тронутый человеком.

Утром приехал Луговской. Это было время, когда конструктивисты уже раскололись. Багрицкий и Луговской вступали в РАПП...

Незадолго до смерти Багрицкий часто спрашивал меня о пионерах. Я рассказал ему обо всем, что видел в лагерях. Он радовался пионерскому ритуалу, — подъем флага, линейка, фанфара — все, что есть в лагере от армии, нравилось Багрицкому.

Своего сына он закалял по-спартански. Мальчик бегал на лыжах босиком, был предводителем кунцевских мальчишек и грозой дома. Детские книжки, которые Багрицкий писал для сына и с его участием, были об охоте. Сын должен быть мужчиной, а мужчина это — охотник, поэт, чекист, рыбовод...

Багрицкому нравилась поэма Киплинга «Мэри Глостер» и «Каменщик был и король я». Последнее он даже хотел поставить эпиграфом к очередной книжке, но побоялся критики. Во всяком случае, он было эпиграфом к его жизни.

БЕЛАЯ БОЙЦОВАЯ

1

В рыбном ряду Миусского рынка я купил десяток дисконидных окуньков, корм, — и остановился перед выставочной стойкой. Сквозь стекла аквариумов я увидел Багрицкого.

В тяжелых охотничьих сапогах, в огромном черном кожаном пальто, — он шел прямо на меня, на стойку, увеличенный стенками и водой аквариумов...

Поздоровавшись, я показал Багрицкому только что приобретенных окуньков. Эдуард похвалил мою покупку и сказал:

— А у меня разметалась лимонная меченоска. А мальки удались тигровые... Есть молодые поликанты. В метке икры у поликантов есть много общего с петушками. Разница — только в выборе места для гнезда... Поликанту нужно давать лист людвигии или лягушника. Я это подглядел у одного любителя... Если бы знал, какие есть на свете бойцовые рыбы: белые! Мы их не видали еще. Белых бойцовых рыб отыскала в глубине Малайского архипелага немецкая экспедиция. Я решил во что бы ни стало достать белых бойцовых...

Багрицкий и прежде просил меня навеститься к нему, но заявиться в Кунцево, на Пионерскую без дела не совсем удобно, — а тут в аквариуме у него разметалась меченоска: есть повод!

— Эдуард! Мне хочется взглянуть на тигровых мальков.

— Ну что же, поедем!

— А как мои окуньки, выдержат?

— Вполне. Их из пушки не убьешь!

Галдящая галочья стая с треском взвилась над куполами недостроенного собора. Загорочался гром. Частые сетки появились на лужах.

Я и Багрицкий нашли пристанище под синей вывеской чайной на одной из Миусских улиц. Первая зала была заставлена птичьими садками. Садок на садок, садок на садок, — с пола до потолка. Чайная была оглушена пением кенарей...

Чай пили не спеша; под окнами шумели ручьи.

— Ты помнишь мой рассказ о белых бойцовых? — несколько торжественно спросил Эдуард и отставил стакан.

...Неясен и желт свет керосиновой лампы. В сосуде на столе плавает великолепный самец — петух. За тонкой перегородкой рокошет малайская чайная. А здесь люди прячутся в полумраке углов. Входят еще несколько туземцев, один-другой — с банками. Они помещают бойцов за тонкую стеклянную перегородку, рыбы не замечают стекла. Владельцы рыб делают первые ставки: кто из бойцов победит. На сосуд с рыбами наводят свет лампы, любители боев окружают столик. Звенят деньги, — человек подымает стекло. Бой начался, бойцы сошлись.

Петухи дерутся так, что их плавники после нескольких минут боя превращаются в лохмотья, летит чешуя... Бой продолжается едва ли не до физического уничтожения одного из бойцов, — во всяком случае пока его владелец не признает себя побежденным.

За стенами ползут медленные реки, заводи полны бойцовых рыб. Но бойцы, выловленные из реки, не в почете: на Малайских островах, на родине, котируется лишь потомство, прямые наследники победителей...

Неожиданно Эдуард обрывает свой рассказ:

— Я никогда не видел этих боев... В Германию, с островов, завезено несколько пар белых петушков. Имею сведения, что немцы-любители их размножили; имею сведения, что кое-что из первого помета попало и к нам: затащили

иностранные моряки... Веду переписку о белых петухах. Хочу докопаться — в каких портовых городах осели эти пары...

Посетители стучали крышками чайников. Путаая колена, щебетали кенари. За окном поблескивала отмытая ливнем мостовая.

2

Автобус, подняв веером лужи, пропал за поворотом.

Невысокие сосны толкуются в палисаднике. Калитка — настезь. Впереди меня покачивается широкая спина Эдуарда. Он уже в сених, — я отстал, я загляделся на мир, обступивший тесовое крыльцо, на которое только что поднялся Багрицкий.

Тянуло навозом, молоком и жирной землей с гряд. В сарае мутнело пятно породистой коровы. Озлобленная овчарка металась за проволочной сеткой своей клетки.

«Крепкий здесь живет огородник, — недружелюбно подумал я о человеке, обладавшем этим добром. — Не легко тут жить Эдуарду: Багрицкий — постоялец огородника!..»

Окна обеих комнат затенены лапами сосен, знакомых мне по стихам обитателя этой половины дачи. На низеньких столяках — зеленые аквариумы. В одном из них, на поверхности воды, белая, похожая на слюну, пена: самец-гурами вьет гнездо. Мальки барбуса-олеголеписа, мальки изящных светлорозовых рыбок из семьи карповых. В соседнем аквариуме я нашел барбусов-производителей, — «стариков», как называл их Эдуард.

Багрицкий пустил к малькам дафнию.

— Барбусы, — сказал я и тихо добавил: — олеголеписы.

— Они самые, — Эдуард улыбнулся счастливейшей улыбкой. — Развел. На очереди — размножение обрубков, полицентрусов-шомбурга, — пояснил он и постучал пальцами по стеклу.

Из-за темного паза аквариума выплыла на середину, к ветке розоволистой людвигии, полосатая рыбка. Хвост у нее был неотличим от воды: рыбка казалась бесхвостой.

Я взглянул на Эдуарда. Взъерошенная прическа, все еще не слишком густая проседь в волосах, сутуловатый, широко-спинный, хорошие, чистые, умеющие открыто глядеть глаза.

В моей баночке плавали приобретенные на базаре окуньки. Я долил воды и кинул им дафнии. Окуньки пищу приняли. Повидимому, рыбки чувствовали себя превосходно.

— Эдуард, — спросил я, — как тебе удалось развести барбусят? Весна 1928 года удачная у тебя...

— Я могу развести их сотни, — хвастливо заметил Багрицкий. — Ты знаешь, эти барбусы — выносливая рыба... — И неожиданно: — Я развел карпиков и написал вещь о карпе... В аквариуме метали барбусы, а я в это время писал поэму о карпе... Метка икры одинакова — что у карпов, что у барбусов... Подойду к аквариуму — идет метка; гоняет самец самку, играют самцы, на водорослях блещут икринки. Опять сажусь работать... Поймал производителей, отсадил в другое помещение. А у нас в пруду пылы¹ уйма, — на ней-то я и поднял мальков...

Громоздкий телефонный аппарат, приземистый топчан, столик с записями и книгами; под потолком — пустующая клетка. (В таких узбеки обычно держат перепелов. Какими путями эта клетка из Самарканда дошла до Кунцева?) Двухстволка на стене. Вот и все богатство этой невысокой, тихой от сумерек комнаты. За стеной — чужие люди, хозяева...

Не выдержав, спрашиваю:

— Как хозяин, хозяйка?

— Хозяин — крепкий мужик. Хозяйство ведет жена. «Сам» работает на железной дороге... Ничего, жить можно. В минуту трудную «сам» денег взаймы дает. Я ему в срок возвращаю. Это ему нравится... Обожди, я напишу про них.

— Эдуард, покажи мне тигровых меченосцев.

— Да вот. Гляди, — он побарабанил пальцами по стеклу.

Мальки косо шарахнулись влево. Я решил сосчитать мальков. Эдуард говорил, что приплод был получен им в шестнадцать мальков, а налицо лишь тринадцать. Неужели погибли?..

¹ Молодь дафнии (водяной блохи).

— Знаешь, трех я отдал одному приятелю... чекисту... Я тебя познакомлю с ним. Мы зайдем к нему на квартиру, — он живет неподалеку от «Известий». И знаешь, дал я мальков, а он и не донес их живыми. Удручен, звонил мне... Только тем и утешил его, что пообещал из этого же помета еще тройку... Ты забери мальков. А на окуньков не копись. Им таких не слопать: не под силу. — Эдуард снимает крохотный сачок. — Скоро должна притти рыбная посылка из Одессы, — вылавливая мальков, продолжает Багрицкий. — В посылке: две пары моллинезий-нигра, две пары велиферы, меченосцы-монтезумы, чисто-тигровые... — Он подводит сачок к стеклу, стучит пальцем. В складках трепещет розовая, с темными густыми пятнами, рыбка. — Хорош малек? — спрашивает Эдуард.

— Хорош, — отвечаю я. — Подымай.

Багрицкий провожает меня. Мы в сенях. Ой, сколько же здесь клеток!.. Входя в квартиру, я их не заметил. На подоконнике — западня. В ней свищет зяблик-манок.

Выходим на двор. Под ноги Эдуарду бросается белый сеттер. В клетке злобно возится цепной хозяйский пес...

3

16 октября 1928 года я получил телеграмму. Сорвал наклейку, читаю: «Приезжай — последний автобус — жду. Багрицкий».

Почему же я должен приехать к Эдуарду с последним автобусом? Что за сговор и намек на некую таинственность?..

Ночь, московская ночь окружила меня, когда я сошел с автобуса. До Пионерской, до домика, где квартировал Багрицкий, от остановки рукой подать: вот и пруд, прижатый в угол сада — к иве, вот и знакомые темные сосны. В окнах — свет, значит — ждет.

За чаем опять разговор о белых бойцах-петухах. О стихах нынче ни слова... Русская печь раскалена; уже постелена мне постель, уже хозяйка убрала чайную посуду; кажется, все переговорено о рыбах: сегодня мы вспомнили даже о тех породах, какие когда-то привозили в Россию, но не сумели уберечь...

Утром, позавтракав, Багрицкий вскидывает на плечо двухстволку:

— Пойдем, побродим. Может, встретим дроздов. Нынче легкий для меня день...

Мы долго скитаемся по опустошенным перелескам. Шуршит слежавшаяся листва. День начинен желтизной.

Переходим мост через Сетунь. Останавливаемся у прудика.

— Здесь я ловлю циклопов. Циклона, циклопа в этой яме! А главное, он тут раньше, чем где-нибудь, появляется. Не пруд, а золото. В нем — и дафния, в нем — и циклопы. Какой мелочью в затонах является дафния, циклопы, пыль планктонов и сами планктоны! А не будь их, вымерла бы в одну весну вся молодь... Великая вещь в рыбоводном хозяйстве планктон!

Эдуард вычисляет, сколько может быть планктонов в бедных и богатых прудах, какого веса достигают за сезон мальки зеркального карпа.

Возвращаемся мы территорией Дома отдыха. На луговинах лежат короткие тени голых яблонь. На стволах елей сверкает иней холодного утра...

Натыкаюсь на что-то ногой. Под листвой нащупываю крупное яблоко. Делюсь находкой с Багрицким. Яблоко — сочное, с лимонным привкусом.

У калитки Эдуард говорит:

— Я разыскал след белых петухов. Несколько пар их завезено в Ленинград матросами с немецкого корабля. Рыбки застряли у любителей. В Ленинграде, между прочим, вода для рыб мало приятная: много хлора. Белые петухи могут легко в этом городе пропасть. Поедем, достанем белых петухов; вдвоем легче разыскивать их...

Я согласился.

На проспекте 25 Октября, от памятника на Знаменской до здания Адмиралтейства, крутит метель.

Багрицкий хотел ехать — с вокзала до Астории — на извозчике, И. Гроссман-Рощин и Н. Богданов стояли за авто, я хотел идти до пристанища пешком. У меня была мечта:

нынче же разыскать заветный зоомагазин. В 1926 году я прожил в Ленинграде всю весну, — еще тогда я приметил этот магазин.

Его, магазин, я нашел сравнительно легко.

Заспанный, хмурый, с байковой повязкой через всю щеку, продавец спросил у меня:

— Вас что интересует?

— Белые петухи.

— М-да, белые петухи...

За стеной кричали попугаи, бесновались мартышки.

Я насторожился: за дверью — продолжение магазина. Может быть, там держат самое ценное. «Чорт возьми, чего же молчит продавец! Он, вероятно, никогда и не слышал о белых петухах»...

— Петухи, м-да. Белые. Было у нас летом несколько пар, да разошлись. Между прочим, парочка бойцов еще сохранилась у меня дома... Отборная пара — добавил продавец, помолчав.

— Вы эту пару продаете?

— Ни за что!..

— Слушайте, а можно, при случае, забежать к вам на квартиру хотя б поглядеть на белых бойцов, убедиться в их существовании?..

— Поглядеть? Это можно. Записывайте адрес!

— А не продадите ли все-таки?

— Ни за что! Запишите лучше номера трамваев...

Продавец провожает меня за дверь.

— Я к вам заявлюсь глядеть белых петухов не один. Можно? Кстати, не знаете ли, когда были петухи в продаже, во сколько ценил пару хозяин вашего магазина?

— От двенадцати до двадцати пяти...

— Спасибо...

Большое событие: великий лежень Эдуард оставил Кунцево, приземистый топчан и приехал в Ленинград.

— Кто просит? — хрипит в трубку Багрицкий. — Опять зовут в гости! Нет, я болен. Я плохо чувствую себя после вчерашнего выступления. Я задыхаюсь, задыхаюсь, — он сбрасывает сапоги и забирается с ногами на диван: совсем как в Кунцеве.

Сообщаю Эдуарду все, что узнал о белых петухах.

— Я болен, болен! — кричит он в телефонную трубку. — Надоели, — сердито бросает в мою сторону и хмурит брови. — Я одеваюсь, — глядеть белых бойцовых...

Затягивая краги, Эдуард напевает вполголоса любимую песню о доле-неволе, темной могиле, долине-рябине.

В дверь постучали.

Богданов привел Бориса Корнилова.

— Потом, потом! Я еду глядеть белых петухов, — суетится Багрицкий.

— Отложим это дело, — советую я. — Пришел Корнилов, должен с минуты на минуту заявиться твой земляк Петр Сторицын. Продавец говорил о показе бойцов почти как о продаже. А у нас — ни копейки...

— Это верно, — Эдуард сбрасывает гетры и опять забирается с ногами на диван. — Завтра с утра заявлюсь к Чагину, за деньгами. Он даст. Под стихи. Так и скажем: «Нам нужны деньги на приобретение белых бойцовых рыб...»

5

Прощай, гостеприимная «Красная газета»!

Скоро ночь, — попробуй разыщи в малознакомом городе дом, где квартирует продавец из зоомагазина.

— Может быть, найдем извозчика?

— Извозчик! — кричит Эдуард. — Едем. Я плачу...

Скрипят подреза саней.

— Понимаешь, мы заявимся к зоомагазину этого паршивого частника на извозчике. Извозчик ожидает нас... Продавец-холуй преисполнится к нам уважением...

Подымаемся в магазин. В кармане моего пальто — проторенные банки с притертыми стеклянными пробками. Добывая их на Сенном рынке, я был уверен, что из Ленинграда мы с пустыми руками не уедем.

Эдуард. Здравствуйте. Ну, как белые петухи?

Я. Помните, вы обещали показать нам их...

Продавец. Я смогу уступить свою пару. Я говорил...

Х о з я и н (*выходит из-за конторки*). Одумайтесь, Петр Назарович. Какая чудесная пара! Чтò вы делаете? Если б я знал, что вы продадите их, я никогда не разрешил бы вам взять их из магазина...

Э д у а р д (*шопотом, толкнув меня локтем в бок*). Подыгрывает.

Пр о д а в е ц. Завтра Новый год. Нужны деньги...

Э д у а р д. Сколько вы просите за свою пару?

Пр о д а в е ц. Сорок рублей.

Я (*Багриукому*). Соглашайся.

Э д у а р д. Плачу. Не глядя.

Х о з я и н (*выходит на середину помещения и укоризненно*). Чтò вы, Петр Назарович! Вы взяли у меня самую лучшую пару. Я не против продажи, но вы уступаете слишком дешево...

Пр о д а в е ц. Я не знаю, как быть. Петухи будут стоить пятьдесят рублей.

Э д у а р д. Все равно, забираю. Где у вас белые петухи? На квартире? Нас ждет извозчик... Выезжаем.

Мы приобретаем в магазине всех щучек-колиуров, прощаемся с хозяином и выходим втроем на улицу. Садимся в сани...

Пустынные улицы. Трехэтажные дома с арками, распахнутые ворота.

Приехали. По затхлым лестницам взбираемся вверх.

Щелкает ключ. Продавец ведет нас коридором — к аквариумам, белым петухам...

Вот они! Самец — белый. Белый гонит пену на поверхность воды: он хочет строить гнездо. Робкая самочка прячется за горшком с водорослями.

Я держу банку, полную тепловатой воды, пахнувшей солнцем и болотом. Пересадку нужно произвести крайне осторожно: даже от легкого ушиба рыбка может заболеть, а впереди дорога в Москву, — ее не спасешь тогда... Банку с бойцовыми рыбками я прячу в карман пиджака.

На другой день с первым вечерним поездом Эдуард выехал из Ленинграда. Я задержался, и белых петухов в поезде всю дорогу обогрел Николай Богданов...

В мае 1929 года, когда вскрылись пруды, Багрицкий получил приплод от белых петухов. Самец-петух свил гнездо, тщательно ухаживал за молодью, — заботливый был отец: в гнезде, когда мальки подросли, оказалось около ста пятидесяти мальков.

О мальках белых петухов и производителях пошли легенды. Рыбоводы ехали в Кунцево, на Пионерскую: взглянуть на белых бойцовых.

ПОЭТ

За несколько лет до того, как он приехал в Москву, среди московских поэтов возникали летучие слухи об Эдуарде Багрицком, замечательном поэте, человеке необычного склада, чьем-то загадочном друге, чьем-то увлечении. Так рассказывали те, кто приехал из Одессы в годы военного коммунизма.

Впервые я услышал это имя от Адалис. Потом от Валентина Катаева. В рассказах звучала неуловимо завлекательная интонация. Было не очень ясно, какой он, — этот юноша, живущий за много сотен километров, — но что речь идет о поэте, о судьбе поэта — можно было ощутить с полуслова. И в конце рассказа следовал вздох. «Ах, Эдуард, что-то с ним будет!» — так приблизительно можно было истолковать содержание вздоха. И вот мерещилось какое-то непрочное, полное неожиданных поворотов, капризное существование. Стихов еще не доходило.

Так в Москве двадцатых годов Багрицкому предшествовал миф о Багрицком. Так он и остался одним из мифов военного коммунизма. В нем был воздух южного города, воздух гражданской войны и, кроме того, впечатление от странной молодости, одинаково задевшей всех, кто с ней соприкоснулся.

Что в нем прежде всего бросалось в глаза? Негородская мальчишеская шапка волос, упавших на лоб. Серьезное,



Э. Багрицкий на охоте в Северном крае (1929)

скромное, сконфуженное лицо. Лицо без возраста. Не то юноша, не то старик. «Красавец вместе и урод». Сутулая громоздкая фигура.

Где и когда это было? В Цехе поэтов? Или потом — в Госиздате?

А может быть, там у него, в Кунцеве, — в домике, многожды описанном в знаменитых стихах. И тыкались носами в коленки две добрых и поразительно беспокойных собаки. И хозяин их не был ласков и казался усталым. И внезапно одушевлялся от малейшего соприкосновения с поэзией. И тогда начиналась декламация его любимцев — Бенедиктова, Случевского, Анненского, Блока, Нарбута. И ровный, старчески-надтреснутый, юношески-одушевленный голос гудел:

А Ярославна все-таки тоскует
В урочный час на городской стене!

Наша близость в разные времена питалась разными вещами.

Помню его мысли о том, чтобы написать пьесу для вахтанговского театра. Как-то уже мерещилась ему и тема пьесы, связанная с ранними годами жизни Дзержинского. В нем жил потенциальный драматург, пластически и густо ощущавший своих будущих персонажей. Сейчас, после оперного либретто «Опанаса», это как будто не требует доказательств. Но, между прочим, это можно угадать и по тому, как богаты диалогом его стихи, как по-разному и по-своему говорят многие из их персонажей.

Помню его зрителем в нашем театре, особенно на представлении «Гамлета». Этот спорный спектакль весьма пришелся ему по душе. Он хохотал, хлопал себя по ляжкам и, кажется, искренно радовался. Тут, очевидно, сошлось многое. Ему нравилось и озорство по отношению к романтике, и жирный блеск Ренессанса, и юмор.

Помню его за дружеским столом, далеко за полночь, когда все собравшиеся расширенными зрачками смотрели на него, как на некое доброе и богатое чудовище, почти как на явление природы. И опять без конца и краю читались стихи. Не только его стихи. Его память была неисчерпаема. Он помнил все, что любил. А любил многое и разное.

Помню его редактором в «Советской литературе», трогательное его отношение к чужим книгам стихов. Он умел и любил драться за то, что считал ценным, и с неизбежной грубовато-ласковой легкостью отшвыривал то, чего не хотел.

Помню его сейчас же после 23 апреля 1932 года. Знаменитое решение партии, от которого ведет свое летоисчисление столь многое в нашей литературе, очень окрылило Багрицкого. Он обнаружил себя как организатор — веселый, с хорошим пониманием людей, даже с известной долей практического чутья.

Впрочем, тут следуют всяческие оговорки.

Не помню, по какому поводу обнаружилось, что Эдуард Георгиевич считает себя «хитрым». Таково было его собственное признание.

Трудно представить большую степень самообольщения! Это большое дитя с неисчерпаемыми резервами наивности сильно переоценивало себя! Никакой хитрости у него и в помине не было. Но трогательно, что он так им хотел себя видеть.

Для меня он — чистейший образец поэтического в нашей литературе. Недаром он всегда был окружен молодежью, пишущей стихи. Недаром для этой молодежи и он сам, и уклад его существования были предметом вдохновения. Недаром Багрицкий — один из немногих поэтов, который был полон отнюдь не самим собой, а еще великим множеством привязанностей и пристрастий. Недаром он так преданно умел служить другим.

Но все эти черты отраженно и косвенно говорят о поэтическом даре.

Надо присмотреться к основному, к тому, что стало для всех нас «Багрицким», — к оставленной им книге, — надо перечесть ряд за рядом эти прерывистые и нежные, веселые и горькие стихи для того, чтобы снова и снова очутиться в его мире, «открытом настежь бешенству ветров», — в мире, пахнущем рождением миллионов крохотных существ, в мире открытых мужских дружб, ярой правдивости и всесокрушающего ритма.

Через очень немного дней после того, как Багрицкий умер, театр Вахтангова устроил вечер его памяти. Среди других

частей, составивших вечер, самой сильной частью была демонстрация пленки с записью голоса Багрицкого.

Мы очень боялись за эту часть. По двум причинам. В связи со снежной метелью передача могла быть нечиста, могли ворваться посторонние визги. Кроме того, уж очень близка была смерть нашего друга. Нам приходилось спрашивать себя: не прозвучит ли бестактно этот механически вызванный из-за гроба голос?

Опасения оказались напрасными. Когда раздался увеличенный детектором глубокий и грудной, страшно похожий на живой, голос, — нам не осталось ни волнения, ни печали о ранней смерти. Это было то самое искусство, которое не сгорает ни в каком крематории, которое всегда побеждает!

Голос Багрицкого говорил о жизни, о смелости, — о том, что не надо и нечего хоронить. Он ручался нам в вечной дружбе...

ТАКИМ Я ЗНАЛ ЕГО

— Ну разве это аквариум, — сказал мне как-то Антокольский, — это детская забава! Ты посмотри у Багрицкого... Воды в комнате ведер семьдесят пять.

— Так я же не знаком с Багрицким...

— Я тебя познакомлю, он будет очень рад. Ты ведь не по литературному, а по рыбному делу.

Небольшая комната, половина стен заставлена стойками с аквариумами разных размеров. Стеклянные кубы соединены между собой резиновыми трубками. На окне равномерно урчит моторчик: он накачивает в аквариумы воздух. Шкап, полка с книгами. В углу — ружья и кавказская, украшенная шашка. Против балконной двери, у стенки, кушетка, перед ней — квадратный стол. Над изголовьем кушетки на стене — телефон.

На кушетке, подогнув ноги, сидит человек. Он облокотился на стол. Он несколько как бы припух. Округлые, чуть сутулые плечи. Немного набок (как у прилежных детей во время письма) посаженная голова. И неописуемая улыбка, трогательная, сконфуженная и такая лучезарная, несмотря на отсутствие переднего зуба.

— Простите, я не совсем здоров. Сегодня был припадок астмы.

Мягкие, припухшие пальцы тянутся к коробке с астматолом, и противный дым этого снадобья растекается по комнате.

— У меня сейчас нет интересных рыб. Я жду из Одес-

сы и из Ленинграда, — мне должны привезти. Сейчас только вот — черная моллинезия. Видите, какой у нее верхний плавник, — как парус.

Черная бархатная рыбина с золотыми точками глаз мягко ходила в аквариуме, чуть шевеля великолепным плавником.

— Ишь какая толстая, наверно, сильно наелась, — сказал я.

— Нет, она беременная, скоро будет метать. Она — живородящая. Должна выметать штук шестьдесят мальков. Я вам тогда дам немного. Вам и И—ву дам, больше никому. В Москве у рыбоводов черной моллинезии почти нет...

— А это что за чудесные рыбки?

— Это шайбенбарши, — они мне надоели. Я их выбросить хотел в уборную. Возьмите их, пожалуйста. Унылая рыба!

И, переходя от аквариума к аквариуму, Багрицкий показывал и рассказывал о рыбах и их повадках. О том, как они мечут и устраивают гнезда, как ведут любовные игры...

— Это — бойцовая рыбка, — петух черный. Его можно натренировать на драку. В Сиаме этим занимаются. Видите кучку пузырьков на поверхности воды? Это — гнездо. Он сюда прикрепляет каждую выметанную самкой икринку.

— Видите, видите, что он делает! Как вам нравятся эти трюки?

Курносый носом самец торопливо поправлял кучку пузырьков. Очевидно, он старался привести их в приличный вид. Потом, распушив, как петух, жабры, самец осторожно подплыл к самке и нежно подтолкнул ее к гнезду. Самка как бы нехотя подошла к пузырькам. Понюхала... Не понравилось. Она с явно выраженной досадой вернулась в свой уголок, кокетливо вильнув хвостом...

— Что, брат, не угодил? — подразнил Багрицкий.

Самец суетливо бросился поправлять пузырьки, не теряя, повидимому, надежды на успех. Через минуту он опять тем же манером пошел за самкой.

— Длинная история... Но будьте покойны, он ее уговорит.

И чуть ироническая, чуть сконфуженная, озорная улыбка... Багрицкий показался мне очень красивым.

— Я их сегодня еще не кормил, не знаю, достали ли циклопов. Лида!

Я вздрогнул от оглушительного крика, — так кричат в лесу. Ответа нет.

— Ли-да!

Из-за двери спокойный голос:

— Ты что кричишь?..

— Где циклопы? Маша сходила за циклопами? Почему нет циклопов?

И при этом подчеркнуто шутивно-склочный, одесский акцент.

Появляется банка с водой; в ней мечутся мошки, не больше булавочной головки.

— Вы не видали циклопов? Я вам сейчас покажу их под микроскопом. Это маленькие раки. Вы посмотрите, какой бред!

Циклопы под микроскопом действительно страшны.

Телефонный звонок.

Багрицкий берет трубку и крикливым, высоким, бабьим голосом кому-то сообщает, что Багрицкого нет дома, что он уехал на несколько дней за город. Светлосерый глаз лукаво подмигивает нам.

И тотчас же припадок мучительного удушливого кашля и трудное-трудное отхаркивание. И опять затяжка астматолом...

Я ушел домой, унося банку с шайбенбаршами и образ большого, мягкого, с наивной иронической улыбкой человека, с ясными глазами и капризным ртом.

Первый раз я услышал читку Багрицкого у Е—вых. Он не сразу согласился читать, — долго отказывался, отговариваясь нездоровьем. Его все-таки упростили.

Багрицкий сидел за столом, держа в левой руке трубку с астматолом. Он некоторое время молчал, как бы прислушиваясь к ритму, — и начал:

По откосам виноградник
Хлопочет листвою...

Тот, кто слышал читку Багрицкого, знает богатство его красок, неповторимую их простоту, детскую наивность и смелость.

Так может читать только поэт. Актеру так никогда не посметь!

...Звонок по телефону. Говорит Багрицкий.

— Нездоров. Приходите. Приведите Журавлева, заставьте его читать.

Мы пришли.

Лампа на столе под зеленым абажуром. В привычной позе сидит Багрицкий. На столе — перевернутая вверх дном металлическая мисочка с пеплом от сгоревшего астматоло. В комнате — душная, тепличная атмосфера. В полуосвещенных аквариумах движутся фантастические очертания тропических рыб.

Утомленная, сконфуженная улыбка. Багрицкий как бы извиняется за свое недомогание. Громовым голосом, пугая внезапностью, он требует чаю. Он требует изюму. Он требует вертуту (это такой сладкий пирог). Он шутливо гордится обилием водруженных на столе продуктов.

Узнав, что мой сын прихворнул, Эдуард Георгиевич посылает ему свою книжку «Соболиный след» с надписью: «Алеша, ой, это книжка! Ой, это книжка! Прямо апельсинчик! Чем больше читаешь, тем скорее хочется окончить. Целую. Э. Багрицкий (Псевдоним «Дядя Моня»)».

Журавлев читает «Египетские ночи», «Медного всадника».

Багрицкий слушает, полузакрыв глаза. Чуть-чуть покачивает головой, одобрительно аккомпанируя ритму стиха. Ему нравится читка Журавлева.

Затем просим его почитать свои стихи. Он отказывается наотрез.

Он говорит:

— Я вам лучше почитаю Киплинга... Стихи!

Оживают образы, жуткие в своей обреченности... Изредка идет округлым жестом снизу вверх рука, и улыбка приглашает нас до конца долюбоваться прелестями отчеканенной формы.

Потом Багрицкий ошеломил нас необычной читкой Блока.

Потом вдруг побежали дикие вирши некоего одесского типографщика (Кассовского):

Увы, льются горные воды
По канавкам зеленых дерев
Там, где лесные наёды
Песни поют, покраснев...

Заговорили о Бабеле. И Багрицкий прочел наизусть целую сцену из «Заката».

Багрицкий был в ударе. Припадок астмы, повидимому, кончился. Посыпались анекдоты, остроты... Багрицкий вспомнил, как поступил в милицию в Одессе и ему выдали винтовку. Он долго не приходил домой. Наконец явился. Родители были шокированы его поведением. Начались выговоры. Ему это надоело, и он выпалил из винтовки в стену. Родители сразу смирились...

Входит Сева. Он очень похож на отца. Мальчик чем-то недоволен. Он требует чего-то в повышенном тоне. Багрицкий говорит с ним, как со взрослым. Недовольный Сева уходит, зыркнув на нас быстрыми глазами. Багрицкий улыбается.

— Знаете, этот бандит — бешеный общественник у себя в школе.

Мне вспоминаются неизъяснимой свежести строки:

... В пустой уголок, где от печки темно,
Как лодка, всплывает кроватка...

Прощаясь Эдуард Георгиевич обещает на другой день подговорить И—ова свезти нас на машине в Зоопарк — в рыбозаводню.

— Вы знаете, этот чудака только что вернулся из-за границы. Не привез ни одной рыбы! Притащил какую-то чепаху... Фотоаппарат. Страшный человек! Что ему стоило: небольшой бидон с водой?.. Полведра...

Я промолчал, не уверенный в удовольствии путешествовать по загранице с бидоном даже, скажем, в полведра...

... Я часто заходил к Багрицкому — в последние два года его жизни. Почти каждый раз я заставал у него новую

зверюгу. То на столе появится банка с живым скорпионом. То какие-нибудь мелкие птахи.

Однажды, раздеваясь в прихожей, я был удивлен раздавшимся из комнаты Багрицкого странным криком:

— Анята! Анята! Ай-ай-ай-ай-ай...

Оказывается — попугай, белый какаду. Довольно крикливая и надоедливая птица. Просуществовал он недолго. Багрицкий его подарил Е—вой: попугай мешал работать.

...На стене висит клетка, в ней — нахохлившаяся канарейка с серебряным колечком на ноге. Эдуард Георгиевич написал ее из Одессы, заплатил сто рублей, но канарейка почему-то не поет.

Багрицкий начинает тихо насвистывать.

Канарейка поднимает голову.

— Моня, дай тон, — говорит Эдуард Георгиевич (с ласково-утрированным одесским акцентом). — Моня, ну!

Канарейка молчит и опять сворачивается в шарик.

— Моня, я тебя выкину обратно в Одессу, если ты будешь хамить. Слышишь?

Канарейка молчит.

Через несколько дней я, по просьбе Багрицкого, отправил с проводником в Одессу злосчастного Моню...

...Багрицкий сидит за столом, перед ним в маленькой банке плавает немного ричии (водяное растение). Чуть прищурившись, он не отрывается от зеленых звездочек.

— Эдуард Георгиевич, в чем дело?

— Я выловил из аквариума ричию с прикрепленными к ней икринками. Видите, там внутри — точки... Это растут глаза. Это развиваются мальки.

Еле заметные прозрачные икринки я рассмотрел, а глаз у мальков, сколько ни старался, различить не мог.

...Нередко я заставлял Багрицкого с карандашом и клеенчатой тетрадью: он работал. Работал с большой настойчивостью, и не было возможности уговорить его прочесть еще не доработанную, по его мнению, вещь.

За время моего знакомства я привык к тому, что Эдуард Георгиевич не совсем здоров. Его нездоровье никогда не казалось угрожающим, тем более, что я не раз был сви-

детелем, как он, отделяваясь по телефону от неприятного дела или встречи, ссылался на недомогание и сейчас же, повесив трубку, потешался, как школьник, над невидимым собеседником.

И когда 12 февраля 1934 года он позвонил мне по телефону и пожаловался на нездоровье, мне в голову не могло прийти, что это наша последняя беседа...

ПОЭЗИЯ БЫЛА ДЛЯ НЕГО ВСЕМ

Он еще не задыхался тогда. У него не было ни сутулой спины, ни седых волос. Он двигался легко, был драчуном и рыболовом.

Одесские бычки бывают двух сортов: песчаные и каменные. Песчаные — велики, одноцветны, малоподвижны, с вялыми плавниками. Каменные — малы, пятнисты; плавники торчат у них во все стороны, и они вырываются из рук, как воробы. Эдуард ловил и тех и других. Он ловил также и скумбрию, серьезную рыбу, требующую сноровки и далеких выходов в море. Он пропадал на Малых и Больших Фонта-нах, бегал в порт, покупал и менял птиц, читал запоем. Он был из тех сыновей, которые доставляют матерям огорче-ние.

Наступала весна. Сиреневый дымок первой зелени оку-тывал приморские сады. И в весенних этих сумерках, среди ветвей, светилась «Зеленая лампа», зажженная молодыми одесскими поэтами. Поблескивали гимназические пуговицы на куртках, в карманах которых лежали только что написан-ные стихи. Олеша воспевал тогда Беатриче, Катаев (в то время — поэт) описывал море, Багрицкий писал о золото-искателях. Невзирая на всю их юношескую незрелость, его стихи уже тогда были столь выпуклы, что, казалось, их можно прочесть наощупь, как это делают слепые.

Я очень хорошо помню этого «раннего» Багрицкого, хо-тя встречались мы не часто. Мне запомнилась одна вече-ринка у меня, в моей одесской комнате, где в окне было

много звезд и кусок моря: все, что так любил Эдуард. Он читал в тот вечер стихи в свойственной ему манере, сначала подчиняя себе ритм и выделяя смысловую линию. А потом... потом уплывая на ритмической волне, откинув назад голову и ногой отбивая такт. Он еще не задыхался тогда, и у него не было седых волос. Темная прядь косо падала на лоб...

Проходит много лет. И вот Эдуард уже в Кунцеве, под Москвой. Море — далеко. Зима. Снег лежит под самым окном. Промерзший охотничий пес входит в комнату. И теплая птица глядит на него из клетки.

Эдуард уже очень болен. Он мало выходит, он курит астматол — курево против астмы. Уже появилась хрипотца в его голосе. Но как весело с ним! Вот именно — весело.

Он смеется, как никто. И как хорошо он слушает, опершись локтем о колено и вертя в пальцах какой-нибудь небольшой предмет — карандаш или самопишущую ручку.

— Да... да... да... — повторяет он, покашливая.

Московские поэты так и тянутся к нему. Они так бы и сидели у него с утра до вечера.

Самопишущие ручки были одно время его очередным увлечением. Особенно любил он чинить старые, почти безнадёжные ручки и потом дарить их или выменивать на книги. У меня самой есть такой подарок — дряхлый зеленый «паркер», с толстым металлическим ошейником у самого пера. Этот «паркер» имеет свою историю.

Однажды Эдуард захотел подарить мне одну книгу.

— Я не собираю современной прозы, — сказал он, неприязненно глядя на толстый том. — Я не читал этого и не прочту. Пожалуйста, возьмите это себе.

— У меня маленькая квартира, — ответила я. — И я храню только то, что мне нравится.

— А я вас прошу, возьмите. Ну, хотите, я вам в придачу подарю ручку? Это прекрасная ручка. Сейчас она не пишет потому, что чернила плохие. Но налейте хороших — и вы увидите. Я собрал ее из трех ручек. Возьмите ее. Только с условием, что вы возьмете книгу.

И я взяла и ручку, и книгу...

Из маленького кунцевского домика Багрицкий переехал в Москву — в большой дом, на шестой этаж. Здесь, казалось, он был еще дальше от моря, да и от земли тоже. Бо-

лезнь его ухудшалась. Он выходил редко. Но здесь, в центре города, еще больше народа приходило к нему. Это были поэты и не-поэты, литкружковцы, с которыми он разбирал Шекспира, и еще многие другие... Он вывешивал записки, что занят; умученный телефоном, он женским голосом уверял, что Багрицкого «нету дома». Все равно, люди приходили. Его притягательная способность была непобедима!

Необычность его комнаты, его водяное хозяйство, тиканье моторчика, нагнетающего воздух в аквариумы, светящаяся вода, и на фоне всего этого — тяжелая, прекрасная голова над распахнутым воротом (иногда он напоминал мне Крылова), весь неповторимый рисунок его существа — все это нельзя забыть...

Позапрошлой зимой студенческая организация предложила мне литературные выступления в Ленинграде. Я ответила, что поеду, но не одна, а с кем-нибудь из товарищей, например, с Багрицким. В ответ раздался всхлип восторга: «Об этом мы давно уже мечтаем. Мы предлагали ему много раз, но он отказывается из-за болезни. Вот если бы вам удалось уговорить его...»

— Я попытаюсь, — сказала я. И, действительно, уговорила его.

Поехали: Багрицкий, Шкловский и я. И несмотря на то, что Эдуарду после первого же выступления стало так худо, что он, уже не выступая больше, все остальное время просидел в гостинице, и несмотря на то, что я, чувствуя свою ответственность за него, была неспокойна, — эта поездка осталась в моей памяти навсегда.

Там мне еще раз и еще более отчетливо открылся Эдуард и его «магнитная» способность притягивать людей. В Ленинграде, — точно так же, как в Москве, — началось паломничество в Европейскую гостиницу.

Сюда приходили давнишние друзья Эдуарда, боевые командиры. Они вспоминали о прошлом. Они говорили: «А помнишь...» И Эдуард с увлечением вспоминал. Пришел охотник, прося двадцать пять рублей на починку ружья. И Эдуард дал. Приходили молодые поэты, которых интересовало будущее. Волнуясь, читали они свои стихи — и Эдуард слушал: он был внимательнейший слушатель и стройнейший судья.

Пришел какой-то особо известный рыбовод и принес мальков в банке, которых мы потом отвезли в Москву. Совершенно незнакомый человек, страдающий астмой, просил показать ему приемы дыхательной гимнастики. И Эдуард показал. Больной Эдуард принимал всех, всех слушал, рассказывал сам смешные истории, потчевал гостей кофе с пирожными, но сам ничего не ел (даже непонятно было, чем он живет). И в конце дня так устал, что на самые причудливые просьбы кого-либо из посетителей, — вроде «можно ли у тебя в номере выкупаться?» — только кивал головой: «Купайся, мол».

Наконец, после четырехдневного пребывания в Ленинграде, мы отправились обратно. Эдуард, закутанный до глаз, прибыл на вокзал в последнюю минуту: от холода ему стало хуже. Он шел медленно, неся банку с мальками. Мы сели в поезд, окутанный паром.

Нам с Эдуардом досталось одно купе. Я полезла на верхнее место, Эдуард, кашляя и задыхаясь, лег внизу.

— Боюсь, что не дам вам спать, — сказал он. — Я буду кашлять, курить. Даже разговаривать. Во время приступов у меня всегда так...

— Не бойтесь, — отвечала я. — Я очень устала и ничего не услышу.

И, правда, я сразу уснула. Волнения ленинградских дней, различные аудитории, где мы со Шкловским выступали, лица, стихи, записки — все эти волны впечатлений, мельчая, превращались в туманную рябь, пока не слились в один ровно летящий поток. Это был поезд и это был сон...

Средь ночи я проснулась от ощущения необычайного. Лекарственный дым наполнял купе. Я была высоко. Огонек трубки плавал подо мной. И внезапно из темноты, из колесного гула, возник голос. «Я помню чудное мгновенье», — задыхаясь, негромко читал Багрицкий. Мороз побежал у меня по коже. Смертельно больной, страдая от бессоницы и удушья, поэт, он звал на помощь поэзию! Всю жизнь, во все ее минуты — поэзия была для него всем: знаменем, оружием, морем, степью и воздухом, которым он дышал...

СОЛДАТ ПРОЛЕТАРСКОЙ АРМИИ

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кристалльский лед.
Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.
Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.

Э. Багрицкий

1

Это было в девятьсот двадцать седьмом. Я сидел в комнате литературного отдела «Комсомольской правды», ожидая, когда освободится Костров. Входили и выходили люди. В момент, когда скука ожидания достигла своего предела, с шумом распахнулась дверь из коридора. В окружении распаренных и взволнованных юношей ввалился человек в кожаном полупальто, сутуловатый, с буйным чубом, выбивавшимся из-под кепки.

Пришел и, тяжело дыша, уселся за свободным столом. Сидел и добродушно, чуть иронически, отмахивался от прилипчивых мальчиков, наперебой старавшихся доказать, что «Дума про Опанаса» — шедевр, что в сравнении с ней лермонтовский «Валерик» — детский лепет, и так далее, в том же духе.

Еще до того, как была названа «Дума», как какой-то добротеец сообщил мне, провинциалу:

— Это Багрицкий, тот самый, который..., — я внутренним чутьем угадал, кто этот человек: впечатления от недавно прочитанного «Юго-Запада» поразительно совпали с живым обликом поэта.

Так я впервые увидел Багрицкого.

2

Я руководил литературным кружком в Коломне. Заводская парторганизация попросила организовать литературный вечер с москвичами. Используя давнишние связи, я уговорил Сашу Фадеева. А он обещал уговорить Багрицкого. По этому поводу и произошло знакомство. Осенью 1929 года, в вагоне рязанского поезда.

С первых слов я почувствовал замечательное человеческое качество Багрицкого: подкупающую простоту в общении с людьми, прирожденное чувство товарищества. Уже за Люберцами мы, первый раз встретившиеся люди, разговаривали как старые знакомые на всякие литературные и не-литературные темы. В разговоре Багрицкий ни одним жестом, ни одной интонацией не дал почувствовать своего превосходства известного, признанного поэта над начинающим. И в вагоне, и во время обхода заводских цехов, и перед выступлением на клубной сцене Багрицкий волновался. Он боялся, что его стихи не дойдут до такой большой и новой для него аудитории. Несколько раз варьировал «программу» своего выступления. Наконец ее установил, а когда подошел к рампе, все сделал наоборот.

Первыми пошли «Контрабандисты». Огромный переполненный зал замер и взорвался долгими аплодисментами, когда прозвучало последнее слово. Почувствовав контакт с аудиторией, Эдуард читает отрывки из «Опанаса», «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» и под конец «Весну», в доходимости которой он больше всего сомневался. Задышающийся, возбужденный, падая на стул, он, ни к кому не обращаясь, бормотал:

— Вот видишь, а то говорил...

Из Коломны мы возвращались поздней ночью, веселые, возбужденные впечатлениями хорошо проведенного вече-

ра. Вагон был почти пуст. Спать не хотелось. Болтали. Пели, не громко, хорошие проголосные песни. Эдуард читал Киплинга. Читал так, что каждая строка, каждое слово ожидали и звенели. Едва ли кто из участников поездки забудет и этот вечер, и эту ночь. Я в ней впервые почувствовал в Багрицком большого и своего человека.

3

Общение, которое чем дальше, тем больше выливалось в дружбу, пришло в то время, когда зимой 1930 года Багрицкий вступил в РАПП. Побуждаемые здоровой потребностью в создании творческой среды для рапповских поэтов, мы сделали попытку организовать новое поэтическое объединение, назвав его «Творческой коммуной поэтов РАППа — «Октябрь»».

Поначалу было много пыла и энтузиазма. Собирались в клубе на Поварской, ездили к Эдуарду в Кунцево, читали стихи, переживали издевательски-третирующее письмо Сельвинского, адресованное Коммуне. Эдуард, преодолевая болезнь, таскался на автобусе из Кунцева, не пропуская ни одной сходки. В это время он усиленно работал над книгой «Победители». Свой разговор с критиком Лежневым («Вмешательство поэта»), «Можайское шоссе» и другие стихи Багрицкий читал на сходках Коммуны. Там же читал свои новые, «европейские» стихи Луговской. Но разношерстный состав и внешние условия (все находилось в «переходном» периоде) определили печальную судьбу этого объединения. И уже зимой 1931 года, перед поэтическим совещанием, на новой квартире Багрицкого мы сделали трезвый вывод, что объединение не состоялось, что время для такого объединения не пришло...

Неудача с Коммуной не оборвала, а еще больше закрепила установившуюся связь. Незаметно для себя я сделался частым гостем в квартире № 9. Незаметно случилось так, что эта квартира стала местом, куда тянуло в трудные минуты жизни, когда хотелось услышать живое человеческое слово. Здесь можно было говорить по душам. Здесь можно было дышать воздухом подлинного большого искусства. И

здесь, наконец, можно было поделиться тем огромным и сложным, что приносила нам жизнь в героические годы первой пятилетки.

Превращенный болезнью в квартирного пленника, Эдуард никогда не переставал поддерживать живой контакт с тем, что делалось на огромных просторах нашей страны. Его организм выработал особые и тонкие формы этого контакта. Свежий воздух жизни в уставленную аквариумами и клетками комнату Эдуарда приносили люди с улицы — «механики, чекисты, рыбоводы»...

Всяких людей можно было встретить у Багрицкого. Военный работник — герой гражданской войны, оперативный работник ОГПУ, директор электростанции, строитель зауральского промышленного гиганта, партийцы, беспартийные, комсомольцы, подростки из «Пионерской правды», начинающие поэты... Много начинающих поэтов разных возрастов, разных профессий — восторженных и почтительно-требовательных.

Эти люди приносили в квартиру на шестом этаже запахи жизни. Он переживал их горести, он радовался их радостями. В общении с этими людьми зарождались творческие замыслы Эдуарда. В общении с этими людьми он искал материал для обогащения своих образов, корректировал их.

Общение с людьми, делающими историю, давало Багрицкому ощущение реальности происходящего в стране. От этого общения крепло в нем чувство хозяйской заинтересованности в происходящем. Для него небезразлично было то, как у нас строят, как идет коллективизация, как проходит раскулачивание. Отрешаясь от интеллигентских гуманистических иллюзий, он усваивал точку зрения исторической неизбежности многих вещей, раньше представлявшихся жестокими и «не-гуманными». Когда он взволнованно говорил о неполадках где-то на киевских электростанциях, он болел душой за эти неполадки и искал виновников там, где их надо было искать. Когда ему кто-то из знакомых сообщил о том, что видел эшелоны с кулацкими семьями, выселяемые-

ми на север, и тужил о ребятишках, — Багрицкий сумел найти в этих фактах ядро исторической закономерности и не поддакивал собеседнику.

Именно потому так заинтересованно и целеустремленно работал Багрицкий над поэмой «Последняя ночь». Именно отсюда можно и должно выводить истоки той суровой мужественности, сосредоточенного гнева и раскрытого чувства уверенности в исходе борьбы, которыми напитаны строки его «Человека предместья» и «Смерти пионерки». Больной, прикованный к постылому дивану, поэт всем своим существом ощущал победоносное стремление вверх кривой графика великой борьбы за социализм.

Этим же процессом творческого обогащения личности поэта объясняется и то, что работа над превращением «Думы» в либретто для оперы переросла в ревизию прежних творческих позиций.

Можно по-разному оценивать оперный вариант «Думы». Можно согласиться с тем, что он менее целен и монолитен, чем поэма. Но только слепой и глухой не может уловить в этом варианте могучих отзвуков действительности строящегося социализма.

Наученный жизнью, поэт уже не мог просто воспроизвести образ Опанаса. Он почувствовал органическую потребность «снизить» его, поставить витающего в облаке гуманистической мечты романтика на твердую и грубую почву реальных человеческих отношений. Украинизированный Дидель предстал перед читателем как слепое орудие кулацкой контрреволюции, сплотившейся под черным знаменем Махно. Вышел на первый план комиссар Коган, носитель волевого революционного начала. Говорят, что от пересмотра образ Опанаса пострадал как художественное целое. Едва ли. Говорят, что образ Когана не удался. Ерунда! И даже если мы согласимся с такой оценкой (за которой лежат не столько эстетические, сколько идеологические симпатии к прежнему Опанасу), мы должны будем сказать, что ревизия обогатила нашу поэзию циклом замечательных стихотворений-песен — от «Четырех ветров» до песни кобзаря.

Великой силой ненависти к черной реакции, растоптавшей Украину, и великой силой любви к ее освободителям-про-

летариям насыщена эта страстная, патетическая песня. И тот, кто этого не чувствует, ничего не понял из того, что произошло в нашей стране, из того, что произошло с поэтом в последние годы его жизни.

5

Заблуждениям в оценке творчества Багрицкого последнего периода много помогает стремление некоторых товарищей превратить покойного поэта в реставрированную разновидность «оригинала» несколько божьего пошиба, в поэта с большой буквы, с каким-то своим мирком, поэта, чудачествующего в «поэтическом» окружении птиц, рыб, полуродивых приятелей.

Верно, что во многих поступках Эдуарда было немало того, что можно было посчитать за «чудачество» и «оригинальность». Верно, что он, оторванный от прямого общения с жизнью, изошрял свою фантазию в изобретении замены этого общения. Верно, что он любил и птиц, и рыб, и имел склонность поддерживать знакомство с «вывихнутыми» людьми. Но надо или вовсе не знать Эдуарда, или нарочно закрывать глаза на весь строй его жизни, чтобы так беспардонно и неталантливо его обеднять и искажать!

Изумительно жизнелюбивый и непосредственный в своих делах и поведении, Эдуард тянулся к тому, от чего веяло здоровьем и цельностью, к тому, что было пропитано солеными, штормовыми ветрами нашего героического времени.

Едва ли кто другой мог так стоически, так мужественно пересиливать свой недуг, как это делал Эдуард. Едва ли еще кто из известных мне поэтов так глубоко и так бескорыстно любил поэтическую молодежь — и рабочую молодежь в первую очередь!

Он верхним чутьем, на расстоянии угадывал в неуклюжем начинающем парнишке признаки одаренности, и носился с ним, натаскивал его, помогал ему, ободрял и, главное, прививал ему здоровый, тонкий эстетический вкус. В этом деле Багрицкий был мастер единственный и неповторимый. Десятки ребят, перебивавших в его квартире, именно там

«открыли» многих поэтов, имена и стихи которых возникали раньше в их сознании и памяти неясными пятнами.

Он умел и любил читать хорошие стихи. Он прививал молодым не только любовь к хорошим стихам. Он воспитывал в них чувство ответственности перед читателем. Сам он был лучшим образцом такой ответственности. Никто из нас не был так требователен к себе в момент отбора стихов для очередного сборника. Конечно, и в книгах Багрицкого встречаются стихи неравные по силе воздействия. Но ни в одной из его книг нет стихов ниже уровня творчества большого поэта...

Тысячи воспоминаний встают в памяти. Их не перечислишь, не переложить на бумагу. Но во всех них стоит живой Эдуард — страстный, увлекающийся, жизнелюбивый человек; замечательный, тончайший и честнейший поэт. Поэт великой страсти и глубокого дыханья.

Из творческих сверстников Эдуард дальше всех ушел вперед — к полному и органическому приятию пролетарской революции как своего, кровного дела. Свой великолепный путь он проделал «низами», глубинными ходами, через органическую связь с живыми людьми современности, с мастерами нового общества. Потому-то его стихи (даже «исповедальные», даже те, где он повертывается лицом к прошлому и судит его) никогда не срываются в умозрительную риторику и дидактическую проповедь. Они звучат живыми голосами жизни. В них бушуют ураганы молодости, водившей его сверстников «в сабельный поход». В них раскрыты чувства и мысли цельного, большого, талантливого человека, прошедшего трудный путь — сквозь жизнь, сквозь себя, сквозь предрассудки своей молодости и своей социальной среды. Начав птицеловом, Диделем, «певцом без лютни, воином без оружия», Эдуард завершил свой так неожиданно оборвавшийся творческий путь мужественным солдатом пролетарской армии.

И республика отрядила в его последний поход почетный эскорт молодых кавалеристов, отдавая воинскую почесть замечательному красноармейцу поэтического рода оружия.

РАБОТА БАГРИЦКОГО С МОЛОДЫМИ ПОЭТАМИ

Работайте так, чтобы мне за
вас не было стыдно...

Э. Багрицкий

Пожалуй, ни одно из современных поэтических имен не обладает такой притягательной силой для молодых, как имя Эдуарда Багрицкого. Его квартира была штабом литературной молодежи, а он — ее любимым командармом.

— У него всегда было полно ребят, — говорит П. Железнов.

И верно, молодые тянулись к нему вереницей. Среди телефонов, номера которых значились в их записных книжках, номер 4-82-78 был одним из самых близких и дорогих.

Что же, собственно, сближало молодых с Багрицким?

Конечно, Багрицкий был для них большим авторитетом, «ходячей энциклопедией». И самое главное: великолепным товарищем. С молодежью он разговаривал как старший товарищ, никогда не впадая в менторский тон и давая оценки с той откровенностью, на которую способны честные, недюжинные натуры.

Хорошей строке Багрицкий радовался как редкой находке.

«Эдуард Георгиевич, — вспоминает Железнов, — был всегда очень прям и откровенен. Если ему нравилось мое новое произведение, он говорил: «Это Вам удалось». Или: «Над этим стоит поработать». Если же не нравилось, так

же прямо говорил: «Барахло. Бросьте это» — и коротко пояснил, почему «барахло».

В начале 1933 года Е. Долматовский принес в «Советскую литературу» книжку стихов. Багрицкий срочно затребовал ее к себе. Целый день сидел он с Долматовским, просматривая стихи. Вечером сказал:

— Ну, все в порядке. Я кладу рукопись на полку, и она будет лежать около года. Потом мы еще раз ее посмотрим. Возьмем то, что вы за этот год напишете, и получится настоящая книга. Вашему виноградному вину не грех постоять, чтобы оно стало покрепче...

Приблизительно через год (незадолго до смерти) Багрицкий принял книжку к печати. Из первых стихов остались нетронутыми только два-три...

Исключительный интерес проявил Багрицкий к группе поэтов-беспризорников. Вместе с Железновым он съездил в трудовую коммуну в Болшево и там провел беседу с начинающими поэтами. Мало того: он настоял на издании альманаха «Вчера и сегодня», взяв на себя редактирование.

Сохранились колоритные записки Эдуарда Георгиевича. В них видна живая и кровная забота о молодых поэтах, об их культурном росте.

Вот некоторые из них:

„Дорогой Субоцкий!

Эти ребята (Панченко и Шпирт) работают со мной. Для систематического прохождения литературы им нужны книги. Будь добр, укажи и помоги добыть ребятам нужные книги. Книжки выдать под мою ответственность. Привет.

Э. Багрицкий.»

„Секретарю Оргкомитета т. Кирпотину.

Подательница этой записки т. Перинго — начинающая поэтесса. Жизненные условия ее таковы, что ей необходимо идти учиться. Она расскажет тебе об этом. По-моему, учеба ей нужна во что бы то ни стало. Из нее может вырабататься талантливый человек.

Выслушай ее и помоги ей. Привет.

Э. Багрицкий.»

Полезно здесь же рассеять легенду, будто Багрицкий принимал всех, без исключения, молодых поэтов,

Эдуард Георгиевич стремился окружить себя талантливым молодняком, притом — пролетарским литературным молодняком. Его шефство простиралось на Сидорова, Коваленкова, Долматовского, Панченко, Шпирта, Скороходова, Шевцова, Александрову, то-есть поэтов комсомольской складки. Забота об этих поэтах была, в сущности, заботой о пролетарской литературе, о пролетарском искусстве.

Какова была система работы Багрицкого с молодыми? И существовала ли эта система вообще?

Думается, что указания Багрицкого (при всей их разрозненности) имели определенный стержень. Они сводились главным образом к требованию ясности, четкости, экономии изобразительных средств, — к неуклонной борьбе за высокое качество художественного произведения.

Эдуард Георгиевич был строгим судьей. Мастер поэтической конструкции, взыскательный художник, он требовал от молодых упорной и добросовестной работы над словом.

В. Сидоров прочитал Багрицкому стихи «Выходной».

Но хорошие стихи он любил не только слушать, но и читать вслух:

— Ну-ка, ну-ка, я сам прочитаю.

Задыхаясь, с большими паузами, Багрицкий стал читать вслух. Попутно вычеркивал лишние слова. Так из строфы:

Сперва он не знает, куда деться
После шумного завода.
Потом решил
Разбежаться, как в детстве,
И прыгнуть с размаха
В холодную воду —

он вычеркнул «с размаха».

— Это ни к чему. Раз он решил «разбежаться», то тут без размаха нельзя...

Стихотворение кончалось так:

А мы умеем уважать
Нашу красивую, богатую природу.

Здесь Багрицкий вычеркнул «богатую»:

— И без того видно, что природа богатая. «Красивую» не дополняет, а вся строка становится тяжелой...

Не щадил Багрицкий и своих вещей.

Одним из примеров упорной работы Эдуарда Георгиевича над словом являются черновики хотя бы «Разговора с комсомольцем Н. Дементьевым».

Строка «В прозелень травы» претерпела следующие изменения:

1. Среди степной травы.
2. В омурах травы.
3. Среди сухой травы.
4. Среди густой травы.
5. В паводке травы.
6. В гущине травы.
7. В паводках травы.
8. В темень травы.
9. В поймищах травы.
10. В прозелень травы...

Багрицкий не мирился с неряшливостью, — он требовал точного словоупотребления

Ойслендер писал:

Тамбовец или ярославец
Стреляет ленточкой — и вновь
В сердца непрочные красавиц
Бросает удочкой любовь...

— «Бросает удочкой любовь» — неточно, пожалуй, неверно. — И поэт-ихтиолог, зачеркивая последнюю строчку, пишет:

Наживкой брошена любовь.

У Железнова было:

Мне все равно, в горячке белой
Свезут в тюремный лазарет..

Эдуард Георгиевич «мне» заменяет «ведь» и этим придает строке трагическую обреченность, глубже и решительнее подчеркивая упадочничество беспризорника.

Багрицкий-редактор не терпел отсебятины, хотя бы и са-

мой квалифицированной; стихи он правил с таким расчетом, чтоб индивидуальное не затушевывалось.

У Бобринского — друга и соратника Железнова — были такие строки:

Разве даже на пару минуток
Раньше снилось Кочуге-шпане,
Что смогу я быть близок и чуток
Новой жизни, труду и весне...

В редакции Багрицкого это четверостишие выглядит так:

А в жизни, замешенной круто,
Быть близким труду и весне
Даже на пару минуток
Не снилось Кочуге-шпане...

Большое внимание Эдуард Георгиевич обращал на эпитет. Долматовскому он говорил:

— У вас, как и у других молодых поэтов, нередко встречается два эпитета подряд. Не годится! Надо находить один эпитет, но достаточно полновесный...

По поводу строчек Г. Нагаева:

Хрустели душистые травы
Под тяжестью гулких копыт,
И месяца глаз одичалый,
Казалось, был оспой изрыт —

Багрицкий говорил:

— Эпитет «душистые» — мягковат и легкий. Не лучше ли будет «пахучие»?.. «И месяца глаз одичалый был оспой изрыт»... Неувязка, — подумайте...

Багрицкий умел вживаться в чужое стихотворение, как в свое собственное. Изменяя в строке слово, он придавал ей особое внутреннее обаяние, оттенок новой выразительности.

Конец стихотворения Долматовского:

И мы послали Нинку в трам,
Пускай играет в траме —

Эдуард Георгиевич читал:

Пушай играет в траме, —

приговаривая: «Здесь нужно, чтобы было до смешного просто, а «пушай» — и смешно, и просто»...

Очень чутко относился Багрицкий и к интонации стиха. У Коваленкова в «Мотоциклисте» было сказано:

Ждут победителя.
Он, зернышком мелькая,
В гигантский жернов превращает трек.
Летит сквозь пыль, спины не разгибая,
Приземистый, чугунный человек...

Багрицкий изменил первую строку: вместо «ждут победителя» поставил «где победитель?» Вопросительная интонация обостряет внимание читателя, делает строфу напряженнее.

Таким образом, Багрицкий входил во все детали творчества: образы, эпитеты, стиль, сюжет, композицию. Он учил ощущать слово «на вес и на звон», учил понимать душу песни и песенный размер, учил писать просто о сложных вещах.

Но Багрицкий не был бы верен себе, если бы он останавливался только на частностях, деталях, минуя главное. От частного он шел к общему, требуя, чтобы произведение было пронизано единым дыханием, единой страстью.

Едва ли не самая замечательная черта Багрицкого, как воспитателя литературных кадров, — это редкое умение заражать молодежь волей к труду, к серьезной учебе.

Профиздат прикрепил к Эдуарду Георгиевичу группу молодых поэтов. При первой же встрече с ними он заметил:

— Сажать вас за парту я не стану. Я хочу добиться одной вещи: чтобы вы полюбили поэзию, как я люблю ее...

По меткому выражению А. Штейнберга, Багрицкий «открывал» поэтов.

«Он всегда читал мне стихи, наполняя их своим темпераментом. Он научил меня любить и понимать символистов как литературную школу, а не только как отдельных поэтов. Он открыл мне Вяч. Иванова, Коневского, Балтрушайтиса. Наконец он указал мне на Константина Случевского, который стал одним из моих учителей» (Арк. Штейнберг).

Огромна была любовь Багрицкого к классикам. И кто из нас не заражался этой любовью, слушая мастерскую читку Багрицкого?... Своим страстным чтением Эдуард Георгиевич открывал в произведениях классиков подспудный, далекий неизвестный многим смысл.

Однажды Багрицкий попросил Скороходова почитать вслух «Леди Макбет». Он только начал, но Багрицкий перебил его:

— Ну, знаете, это вам не.....¹! Так Шекспира читать нельзя!

И, выхватив книгу из рук Скороходова, прочел так, что молодой поэт сразу почувствовал гений Шекспира...

Читая Пушкина, Бенедиктова, Языкова и других поэтов пушкинской поры, Эдуард Георгиевич неизменно присовокуплял:

— Люди писали сто лет назад, а какая сила. Нам бы ее, эту силу!..

— А почему бы не попробовать писать вот так? — сказал он однажды, раскрывая томик Тютчева...

Нередко Багрицкий прибегал также к сопоставлениям и контрастам. Развертывая перед молодежью красоты произведений Пушкина, Лермонтова и других классиков, он обращал внимание на великолепную художественную простоту — качество, которое часто менее всего присуще начинающему поэту.

«Багрицкий сказал, что у меня нет простоты, нет лиричности и напевности стиха. При этом он читал Пушкина, восхищаясь его гениальной простотой. И сейчас, когда я выкарабкался «из-под» Маяковского, я особенно ощущаю полезность указаний Эдуарда Георгиевича, который помог мне стать на правильный путь, учась у классиков художественной простоте» (Цигальницкий)...

Призывая к учебе у классиков, Багрицкий всегда подчеркивал вред подражания. Поэт большой культуры, преодолевший в своем творчестве ряд влияний, он прививал и молодежи иммунитет против всякого рода эпигонства.

¹ Багрицкий назвал популярного пролетарского поэта.

Вл. Аврущенко, прежде чем написать стихи «На смерть Калиновского», внимательно прочел еще раз «Илиаду», «Песнь о Роланде», «Слово о полку Игореве» (Плач Ярославны), «В стане русских воинов» Жуковского и ряд других произведений, в которых отображена трагическая смерть народных героев. О проделанной им работе Багрицкий отозвался весьма одобрительно. Однако, разбирая стихи о Калиновском, Эдуард Георгиевич покачал головой:

— До чего у вас получается «под» Жуковского! Наш романтизм не должен быть сентиментальным.

И он безжалостно начал вырезать целые строки.

Когда же Багрицкий дошел до строфы (в конце):

...в небо врезаясь, на крыльях летишь,
На солнечных крыльях Икара,
И танки ломают вечернюю тишь,
То наша и воля и кара, —

он удивленно спросил:

— А как попал сюда «товарищ» Икар? Вы пишете о Калиновском — военном, большевике, и вдруг вспоминаете мифического Икара... Что за странные ассоциации!..

Можно подумать, что консультация Багрицкого носила узко-производственный характер. Это далеко не так. Багрицкий не преподавал идеологических азов; не говорил прописных истин. Он имел дело с поэтами, получившими в комсомоле изрядную политическую зарядку. Однако Эдуард Георгиевич никогда не снимал с себя ответственности за идейно-политический рост поэтов, с которыми он близко общался.

Багрицкий требовал от молодежи показа живых людей и, страстей нашей эпохи, пафоса революции. С какой ненавистью он говорил о версификаторах, которые могут все зарифмовать и которые, по сути, чужды интересам социалистического искусства! Темпераментный поэт революции, неукротимый романтик, Багрицкий не терпел серости, рифмованной скуки, равнодушия. Но не терпел он также «розовой водички» и дешевой экзальтированности. Молодость, здоровье, полнокровие — вот чего искал он у молодых поэтов.

Е. Долматовский принес стихи о неудавшейся любви активиста. Кончались они так:

И на эту тоску о любимой
Не умеет ответить райком...

Багрицкий исчеркал каждое слово в стихотворении, а затем проворчал:

— Если мы будем писать такие стихи, то что же это получится из комсомольской поэзии! Как так «не умеет ответить райком»? Вы сами — райком...

Частенько Эдуард Георгиевич говаривал о том, что поэты-комсомольцы должны давать радостные, захлебывающиеся жизнью стихи. Почему молодежь мало пишет о физкультуре, о стадионе, о военных занятиях?..

— Если бы я был комсомольцем, я непременно написал бы поэму, — или, пожалуй, даже пьесу, — где действие происходило бы на реке или в Парке культуры...

Поэтому-то так тепло отзывался Багрицкий о стихах Сидорова. Ему нравилась в Сидорове непосредственность поэтического выражения. На ряду с этим Эдуарда Георгиевича не удовлетворяла известная примитивность поэзии Сидорова.

Багрицкий охотно и подолгу говорил о достоинствах «Матери» Дементьева, указывая на социальную конкретность и содержательность образов этого стихотворного рассказа, на его философский эквивалент.

Эдуард Георгиевич никогда не замыкался в сфере узколитературных интересов. Он расспрашивал молодых поэтов об их заводской, общественно-политической работе и т. п. С Коваленковым он беседовал об авиации, подчеркивая, что лучшие произведения связаны с работой, с первой профессией.

Неоднократно Багрицкий отмечал необходимость тесного общения с людьми нашей страны и рекомендовал поэтам не просто ездить по необъятным просторам СССР, а участвовать в той или иной работе. Следуя его совету, Аврущенко работал на производстве в Волго-Ахтубинском совхозе, во время коллективизации на Кубани был инспектором Трактороцентра, позже — уполномоченным по заготовкам.

Эдуард Георгиевич не советовал сейчас же писать о том,

что видишь, как то делают некоторые неопытные писатели. Рекомендовал вести дневники. И молодые поэты, воспринявшие тонкие и умные замечания Багрицкого, обзаводились дневниками, записными книжками и т. д.

Все эти скупые замечания не могут, понятно, заменить подробного и полного разбора приемов работы Эдуарда Георгиевича с поэтической молодежью. Но и эти замечания с достаточной убедительностью свидетельствуют, что Багрицкий не был пленником материала, рабом ограниченной формы, — что вся его работа с молодыми поэтами, будучи глубоко идейной и принципиальной в своей основе, оплодотворялась страстной верой в новое, социалистическое искусство, пламенным трубадуром которого он был.

СТАРШИЙ ТОВАРИЩ

Затянется папиросным дымом, откашляется и скажет:

— Ничего стишки, только вот во второй строфе у вас не совсем удачно... И вообще помните, что лучше написать одно хорошее стихотворение, чем пять среднего качества. Черкайте, переделывайте, добивайтесь предельной лаконичности и простоты. Не заслоняйте того, о чем вы пишете, излишней образностью, перечислением красивых, но ненужных деталей...

Посмотрите, как работал Пушкин. Его черновики расскажут вам, сколько терпеливого труда вкладывал он в каждую строку, прежде чем поставить под ней свою подпись.

«Медный всадник» — это образец поэмы, не только в русской, но и в мировой литературе. Нам с вами так не написать!..

И, заметив смущение слушателя, добавлял:

— Да вы не огорчайтесь, это я так, к слову. Стихи у вас совсем не плохие...

Как бережно и осторожно Эдуард Георгиевич относился к начинающим поэтам!

Сядет, поджав по-турецки ноги на своей пестрой тахте и вдыхая дымок зажженного астматолла, слушает внимательно, делая те или иные замечания, — всегда после окончания чтения.

Талантливые стихи слушал с нескрываемой радостью и никогда не скупился на похвалы. Те строки, которые ему особенно нравились, запоминал наизусть и, произнося

их вслух, пропагандировал автора среди своих многочисленных друзей и знакомых.

Память у Эдуарда Георгиевича была замечательная. Я не ошибусь, если скажу, что он мог прочесть, не прибегая к помощи книг, стихи любого более или менее известного русского поэта. Многие мои товарищи впервые познакомились в его комнате с творчеством Батюшкова, Бенедиктова, Дельвига, Баратынского и других, «незаслуженно забытых».

— Отгадайте, чье это? — обращался к кому-нибудь из нас Багрицкий и сразу же, не делая паузы, с задушевной и мужественной интонацией скандировал:

Что ж ты заводишь песню военную
Флейте подобно, милый снегирь...

— Не знаете? Нехорошо. Это — «Снегирь» Державина. Написаны эти стихи по поводу смерти Суворова, больше ста лет назад. А ведь и сейчас неплохо звучат?..

Особенно хорошо Багрицкий читал Блока. И всегда отзывался о нем, как о непревзойденном лирике...

Свои стихи Эдуард Георгиевич читал редко, ссылаясь на то, что старые ему надоели, а новых он еще не написал. Иногда, — только в небольшом кругу людей, которым явно симпатизировал, — он рассказывал о своих планах и читал подготовляемые к печати стихи. Наиболее зрелыми из своих вещей он считал «ТБЦ», «Человека предместья», «Последнюю ночь».

Часто с поэзии разговор переходил на иные темы, и дорожке всего для меня были те часы и минуты, когда Эдуард Георгиевич рассказывал о Черном море, об Украине, годах гражданской войны. Седой, небритый и все еще такой молодой, Эдуард Георгиевич улыбался, прищелкивал языком и стучал кулаком по столу, изображая, как отступали немцы из Одессы, как подскакивали на ухабах махновские тачанки, и буденновские братишки с гроздьями гранат у пояса громили бронепоезда белых...

Собаки, белые мыши, попугаи, щеглы, канарейки были по очереди жильцами его комнаты. Редко показываясь на улицу, он тесно был связан с природой и с интересом расспрашивал о поездках за город, об охоте и рыбной ловле.

— Нужно больше ездить, общаться с людьми, внимательней присматриваться к окружающей жизни, — советовал он. — Поэт, имеющий вторую профессию, всегда найдет интересную тему. Убедительность и правдивость возникают на основе конкретного материала, а это в поэзии — главное. Рассказывайте о том, что вас волнует, и никогда не пишите неискренних, равнодушных стихов...

Сам нуждаясь в деньгах, Багрицкий никогда не отказывал в помощи, и можно сказать наверняка, что не одного меня он выручал в трудную минуту.

Я не помню Эдуарда Георгиевича раздраженным или злым: терпеливость и скромность были его качествами. И недаром все, кого я знакомил с Багрицким, всегда благодарили меня за это знакомство.

Видел я Эдуарда Георгиевича в последний раз 12 февраля вечером, когда пришел прочесть ему свои новые стихи. Дверь открыла домработница Багрицкого, Маша, которая хорошо знала меня в лицо и, не отвечая на вопрос — дома ли хозяин, впустила в квартиру.

В прихожей было очень тихо.

Снимая пальто, я ждал, что на мое «можно?» хрипловатый голос ответит обычным: «Войдите, Саша!»

Сквозь стену было слышно жужжание моторчика, накачивавшего воздух в аквариумы. Я, не постучав, вошел в комнату.

В синем бумазейном халате, подобрав под себя голые ноги, Багрицкий лежал на тахте. Не знаю почему, но я неожиданно испугался и долго прислушивался к трудному дыханию спящего.

Эдуард Георгиевич шевелил губами... Думая, что он устал, я осторожно притворил дверь, оделся и вышел.

15 февраля мне сказали, что Багрицкого в тяжелом состоянии увезли в больницу...

ПОБЕДИТЕЛЬ

Он очень любил нас. Любил большой, настоящей любовью большого поэта — «мэтра», как мы называли его шутя.

Окруженный синими клубами дыма, поджав ноги, как Будда, он проводил последние годы в небольшой комнате. За стеклами аквариумов билось дыхание рыбьей жизни, частицы необъятного космоса, которым дышал он, в котором жил.

Его герои в лихорадку и зной спасали мальков, скакали по степям, засыпали мертвым сном у случайного очага, читали на сон или ужин его стихи и честно работали на коммунизм. Сутулые, небритые, кашляющие, по колено в грязи, оглохшие от хины, стояли его победители, обнажив головы, когда он умер. И всем стало ясно, что умер один из них — поэт, партизан, рыбовод, с которым они часто встречались в своей трудной и замечательной жизни:

Так, вытерев ладони о штаны,
Встречаются работники страны..

Мы были очень молоды. Медленно прорезывался у нас поэтический взгляд на мир. Мы жили в городе и работали на заводах первой пятилетки, занятые штурмами и прорезами. Мы забывали о зябLIках, о цветах, о пульсации жизни, огромной и радостной, которую отвоевываем, которая — конечная цель наших заводов и пятилеток.

Он обучал нас жизни. Почтительно мы приходили на ше-

стой этаж, садились вокруг него и слушали... Уходя, мы не сразу возвращались домой. Всюду — на улицах, в мерцающей звезд над домами, в качке от ветра дуговых фонарей, в самой неподвижности ночи — мы слышали эти строки, мы чувствовали, как огромен и радостен мир, как много работы еще впереди.

Вася Яншин читал запоем. Он брал книги Багрицкого, читал их, вися на трамвайной подножке, и даже засыпал, мы думали, с книжной пачкой вместо подушки.

Мы были молоды и неграмотны. Он не стыдил нас. Он терпеливо снимал с полки Державина, Ломоносова, Фета. Читал он, слегка растягивая слова, мягким, вкрадчивым голосом, который умел греметь на высоких нотах.

Стихи у него оживали, и мы, втихомолку ругавшие Ломоносова за тоску, затаив дыхание, слушали ожившие строки громогласных од, когда он читал их.

Он учил нас: стихи — это красноармеец. Их нужно хорошо подготовить к бою, оттренировать...

Месяцами лежали в ящиках его стола чудесные, неповторимые строки, но он берег их, «отлеживал», не давал печатать. Железное правило Багрицкого хорошо усвоил Шевцов.

На вечере в Комакадемии, перед чтением «Мира», он сказал только одно:

— Багрицкий говорил: пиши, чтоб я за тебя не краснел...

И еще он учил нас неповторимости поэта. Я принес ему «Рамону», — стихотворение, захлебывавшееся от молодости, весны, первой любви. Багрицкий выслушал, кивнул утвердительно, но из каскада восторженных строк выхватил одну:

Солнцем вся Москва напоена.

— Не нравится «напоена», — сказал он. — Стихи не имеют права на повторение. Они должны иметь свое лицо, как шахматная партия...

И, вычеркнув «напоена», он поставил «о г л у ш е н а»...

Учил нас Багрицкий этике поэта. Каким взыскательным и строгим должен быть в жизни поэт!

В нашей памяти он навсегда запечатлен как неутомимый

и строгий труженик. В комнате его было главное для поэта — огромное творческое напряжение, предельная строгость к себе. Сама обстановка располагала к работе. Аквариум, электронагреватели, латинские каталоги рыб напоминали не только поэтическую мансарду «мэтра», но и лабораторию естествоиспытателя.

Помню последнюю встречу — за неделю до его смерти. Мы долго не виделись.. Это были месяцы лихорадочной гонки и штурмов. Яншин был на военной службе. Скороходов уехал на Дальний Восток. Мы не собирались давно.

Как всегда, Багрицкий, пожав руку, спросил прямо, без обиняков:

— Что принес? Читай.

Увидев толстую пачку исчерканных листов, Багрицкий вынул револьвер.

— Молитесь богу, юноша, если вы написали псалом больше чем на две тысячи строк, — прогремел он, потрясая оружием.

Он был, как и прежде, весел и бодр, и только резче выделялись складки у рта.

Исключительно умел слушать стихи Эдуард Георгиевич. Он запрокидывал голову, прищуривался, и, казалось, его глаза сосредоточивались в невидимом фокусе, откуда он умел проникать в самые тайники явлений. Он никогда не принимал стихи «просто так». Какая бы усталость его ни одолевала (Багрицкий признавался, что через его руки проходили десятки тысяч чужих стихов — дурных и хороших), он переживал наши строки сильнее, чем мы. Я видел, как щурились в гневе его зрачки, как вздрагивала пепельная прядь волос, как дрожал подбородок. Он редко улыбался, когда слушал. Улыбка означала одобрение. Это была его радость за нас. Тогда мы преисполнялись гордостью.

Эдуард Георгиевич никогда не перебивал нас. Он воспринимал стих целно, на слух. Это не мешало ему взять потом стихотворение и отчеркнуть плохие места. Редко он ставил взамен зачеркнутого что-нибудь новое, свое. Он приучал нас самостоятельно мыслить, подводил к единственному возможному образу и заставлял закреплять его четкой строкой...

Читая стихотворение, я взглянул на Эдуарда Георгиевича.

Его рука отбивала такт по столу. Казалось, он всем существом вчувствовался в ритм стиха.

Когда я кончил, Багрицкий кивнул одобрительно:

— Подробно поговорим в другой раз. Устал...

В тот вечер мы много говорили о советской поэзии. Тогда в «Новом мире» появилась поэма одного молодого поэта. Багрицкий хвалил стихи, но поэту досталось:

— Он делает биографию. Рассказывает всем, что кулак и теперь перерождается. Кающийся кулак... Какая пошлятина!

Зло иронизируя над этим поэтом, он смотрел на меня в упор, и я чувствовал в этом взгляде его почти отеческую заботу...

Багрицкий учил нас быть настоящими. Он ставил поэзию очень высоко. Он беспощадно отметал литературный хлам и приучал к этому нас. Мы знали, что поэзия была полна для него глубокого смысла — он жил, чтобы помогать рыбоводам, землемерам, мелиораторам. С огромной силой она убивала врага. Мы поражались, с какой смертельной ненавистью ветер, коровы, флюгер — вещи, ожившие под его дыханием, — обрушивались на «Человека предместья».

... Был март — апрель 1932 года. Последние рапповские месяцы. Немало тупых, ограниченных критиков упрекало Багрицкого в равнодушии его природы. Мы как-то спросили его о «биологизме». Эдуард Георгиевич, выпустив клуб дыма и распластав его рукой над столом, сказал:

— Пусть думают! Ведь не они будут читать «Победителей». Их прочтете вы. Стихи научат вас понимать природу и яростнее за нее сражаться...

Помолчав, он упрямо добавил:

— Я буду и дальше так писать!..

У Багрицкого мы научились понимать природу, — ее законы, любовь и ненависть. Общение с ним на всю жизнь оставило в нас его творческую инерцию, какую-то «багрицкую» хватку. Неизгладимы из памяти его образы, освещающие стихотворение изнутри внезапным светом, подобным

взрыву шаровой молнии. Таков образ поезда в «Весне»: чудовищный выюн с фонарем в голове...

Когда он умер, мы встретились в почетном карауле. Не видевшись много месяцев, мы сошлись у подножья гроба, как тогда у комнаты на шестом этаже. Со стены, освещенные прожектором, глядели на нас его строки:

Но если, строчки не дописав,
Бессильно падет рука,
И взгляд остановится, и губа
Отвалится к бороде...

Вузовцы и слесаря глядели на эти строки, не вытирая слез. Они слышали в траурном марше рокот черноморских волн и пионерские песни, и боевые кавалерийские трубы. Каждый клялся быть настоящим, строгим и честным, поэтом...

ПОЭЗИЯ — ЭТО НАУКА

Летом 1933 года из Сибири, из города Бийска, редакция журнала «Пионер» получила стихотворение четырнадцатилетнего Коли Копыльцова. Оно называлось «Смерть Никиты Правдухина».

Стихи поразили меня своей силой, и я позвонил Багрицкому, с которым редакцию связывала давняя дружба.

По телефону я прочитал ему первые строки. Стихотворение было длинное и начиналось так:

Ветер медленно качает
И березы, и дубы,
Никита уж не чаёт,
Что приедет в Шалдыбы.
Шалдыбы — село большое:
Восемь сотен в нем дворов...

Я не хотел затруднять его дальнейшим чтением, но он запротестовал:

— Читай, пожалуйста, дальше...

Тогда я прочитал ему все стихотворение, и он захотел написать автору.

„Дорогой Коля! — писал Эдуард Георгиевич Копыльцову. — Я прочел твои стихи. По-моему, это очень неплохо. Я не исправлял их потому, что считал самым важным свободный ход твоей творческой мысли. Если ты серьезно займешься поэзией (а поэзия — это такая же наука, как математика, география и т. д.), ты сам увидишь недостатки. Желатель-

но бы посмотреть другие твои стихи: о школе, о событиях, происходящих вокруг тебя, о себе.

„Смерть Никиты Правдухина“ — хороши яркостью сюжета и стремительностью стиха. Ты не ищешь застывших форм, вычитанных из книг, — ты стараешься даже историческую тему рассказать своим, сегодняшним языком. Это хорошо.

Больше внимания обрати на рифмы. Например, „конница“ и „станция“ не рифмуются. Если ты это сделал нарочно, это нехорошо, потому что не замыкает стихотворения. Старайся писать сжатей: где мысль и образ можно вложить в четыре строчки, не пиши в десять. Вот и все. По-сылай нам все, что напишешь.

Эд. Багрицкий.

Примечательно, что оценка стихотворения в письме дана гораздо сдержанней, чем в разговоре со мной. Багрицкий не считал нужным передавать четырнадцатилетнему автору свое восхищение, чем обычно литературные мэтры портят молодежь.

Письмо внимательное, теплое, но деловое и трезвое. В этом коротком письме с полной серьезностью выражены взгляды Эдуарда Георгиевича на воспитание поэта. Они подтверждаются его многочисленными беседами с детьми.

Ни к одному из современных поэтов не ходили дети так много и часто, как к Багрицкому, и (насколько я знаю) никто не говорил с ними так душевно, как он.

Когда ребята рассказывали мне, как принимал их и о чем беседовал с ними Эдуард Георгиевич, они обязательно упоминали о рыбках. Возможно, что о рыбах он говорил им не меньше, чем о стихах. Во всяком случае, разговоры о стихах и литературе никогда не замыкались в узко-литературный круг, никогда не были разговорами о ритме и рифме.

Нам удалось застенографировать предназначенный для читателей журнала «Пионер» рассказ Багрицкого о том, как он научился писать.

Эдуард Георгиевич очень просто (так просто, как немногие умеют говорить с детьми), не сюсюкая и не вульгаризуя, передал им краткую историю своей литературной работы и «секреты» своего мастерства.

И здесь взгляды Багрицкого на литературную учебу, на воспитание поэта пронизаны обычным, осторожным и вдумчивым, отношением к личности ребенка. Никакого литературного натаскивания, никакой зубрежки по пособиям «Как научиться писать стихи и рассказы». — Побольше читать и побольше видеть, — вот основной завет поэта, — но видеть жизнь глазами не постороннего, а участника этой жизни.

— Я много ездил по стране, но никогда не был праздным наблюдателем, — говорит он там же...

Обращение Багрицкого к ребятам имеет, на наш взгляд, такое значение, что мы приводим его здесь полностью:

— Стихи я начал писать очень давно, — кажется, с 3-го или 4-го класса. В реальном училище я издавал школьный журнал, из-за которого много раз имел большие неприятности со стороны педагогов.

В 1915 году впервые было напечатано мое стихотворение. Писал я стихи под влиянием знаменитых тогда поэтов: Бальмонта, Брюсова, позже — Маяковского, Игоря Северянина. Стихи были книжные, жизни я не видел. В 1917 году, после революции, я попал на фронт. Из тихой еврейской семьи, где я родился и воспитывался, попал я в казачью среду на персидский фронт. Там я пробыл до 1918 года и вернулся обратно, в Одессу. Началась гражданская война. Одесса была городом непрерывных боев, — городом, в котором жестоко боролись революция и контрреволюция. Несмотря на это, я был настолько отдален от действительности, что стихи мои носили чисто отвлеченный характер: я писал о тиграх, о зверях, о Летучем Голландце — и совсем не отражал явлений жизни.

Впервые я столкнулся с ней в 1919 году, когда поступил в Красную армию. Действительность была очень суровая. Я многого не понимал. Но культурная работа, которую я там вел, меня сильно увлекала. Все же и тогда, — несмотря на то, что мне приходилось близко сталкиваться с красноармейцами, — стихи мои оставались еще книжными.

По-настоящему я задумался над тем, что я делаю,

уже будучи взрослым, уже пройдя опыт гражданской войны и революции.

В 1925 году я приехал в Москву. Я понял, что не в книжном языке дело и не в книжных образах, а что нужно присматриваться к жизни, и это я стараюсь делать до сих пор — по мере возможности.

Я написал «Думу про Опанаса». В ней я описал то, что видел на Украине во время гражданской войны.

Над «Думой про Опанаса» я работал долго, — месяцев восемь. Мне хотелось написать ее стилем украинских народных песен, как писал Тарас Шевченко. Для этого я использовал ритм его «Гайдамаков». Мне хотелось показать в ней историю крестьянина, оторвавшегося от своего класса и попавшего к махновцам. Рассказать о нем и о его гибели. Мне кажется, что мне это удалось, поскольку эта вещь выдержала испытание временем: она была написана в 1926 году и до сих пор еще печатается всюду. Теперь я сделал из «Опанаса» оперу. Правда, мои стихи сложны, и меня даже упрекают в некоторой непонятности. Это происходит оттого, что я часто увлекаюсь сложными образами и сравнениями, но я думаю, что в конце концов я смогу так овладеть материалом, чтобы и о сложных вещах писать просто.

Над стихами я работаю очень много: над одним стихотворением два-три месяца. Я хочу отвечать за каждую строчку, мною написанную.

Учусь я все время. Учусь по книгам. Учусь у жизни. Каждый человек, с которым я встречаюсь, для меня представляет определенный интересный материал. Я много ездил по стране, но никогда не был праздным наблюдателем. Ездил я как охотник, ночевал в деревенских избах, в лесах Тамбовской губернии, в Архангельской тундре. Прислушивался к языку...

У меня была большая практика по работе с ударниками в литературе. Я старался, во-первых, ознакомить их с нашей литературой, во-вторых, приохотить их к чтению и писанию стихов, превратить писание стихов из развлечения в настоящую работу.

Мне приходилось также сталкиваться с бригадой

«Пионерской правды». Эту зиму я провел с ребятами из бригады несколько бесед. Там есть очень способные ребята, которые, безусловно, будут писать хорошие стихи. Нужно только побольше читать и побольше видеть. Мне кажется, что ребята боятся классиков. На совещании с ребятами из бригады «Пионерской правды» выяснилось, что, несмотря на то, что многие пишут талантливые стихи, они не читали такого гениального произведения, как «Медный всадник» Пушкина. Пришлось им его прочитать.

Ребята были недовольны преподаванием русской словесности в школах, и когда они впервые от меня услышали живое слово о Пушкине, они страшно обрадовались. Они увидели, что это не мертвый поэт, что это — поэт живой, что у него еще можно учиться...

Эдуард Георгиевич показал детям Пушкина.

Живой Багрицкий был внимательнейшим учителем поэзии в самом высоком понимании этих слов. Письма его к детям — источник, который должен обогатить наши скудные материалы о литературном воспитании детей.

Мертвый Багрицкий должен остаться живым не только как поэт, но и как учитель поэзии.

ВСТРЕЧИ С БАГРИЦКИМ

Заседание еще не начиналось. Собирались медленно. Редакторы рассаживались на большом кожаном диване, на стульях, громко разговаривали. Я никого не знал, — я впервые присутствовал на редсовете «Федерации». Вытянутая в длину, узкая комната на Копьевском. Лето 1932 года. Жара.

В дверях появился большой, грузный, седеющий человек, в белом летнем костюме. Его я знал, узнал сразу, хотя и не был с ним знаком. Живой, ходячий шарж Кукрыниксов «Почти портреты». Я вспомнил подпись Архангельского.

Это был бард романтизма, почетный рыбовод и птичник, Эдуард Багрицкий.

Пока речь шла о романах, повестях, рассказах, очерках, принимались или отвергались они, Багрицкий почти не слушал, шептался то с одним, то с другим редактором.

Настала его очередь докладывать о прочитанных за декаду стихах. Я услышал его голос, хриловатый, задышающийся, стонущий, рыкающий.

Уже тогда я заметил характерную черту Багрицкого-редактора. Он обладал поистине огромными познаниями в поэзии, обнаруживал глубокое понимание. Но при всем том отвергал только явную писанину, бездарь, графоманство. Если попадалась такая рукопись, Эдуард и в устных и в письменных отзывах был беспощаден, язвителен. Писал очень коротко, десять-двадцать строк, выуживал у автора несколько наиболее нелепых стихов, приводил их в своей рецензии и заключал убийственным резюме.

Но так бывало редко. Всякая рукопись, в которой светились хоть проблески поэзии, заставляла его уже колебаться, а если в книжке находилось с десяток удовлетворительных, свежих, самостоятельных стихов, Багрицкий уже высказывался за издание, брался сам редактировать. Он был слишком мягок в решении вопроса: издавать или не издавать.

Особенно это проявлялось в тех случаях, когда автор имел возможность пойти побеседовать с Багрицким о своих стихах (а кто же не имел такой возможности? — Эдуард принимал всякого и каждого).

Из-за своей болезни Багрицкий очень редко появлялся в редакции. Большей частью он присылал письменные отзывы, написанные характерными и весьма неразборчивыми, стремительными загогулинами, которые коллективно, по складам, «пальчиком водят», зачитывались на редсовете.

Поэты ходили к нему полчищами. Одни были с ним знакомы. Они несли к нему свои рукописи, зная, что он редактирует в «Федерации» (а позднее — в «Советской литературе») поэзию. И только получив апробацию, уже с его рецензией несли книжку в издательство. Других он приглашал сам, чтобы вместе редактировать, «делать» уже одобренную им рукопись. Третьи, прочитав в издательстве письменный отзыв, не удовлетворялись этим и требовали беседы с рецензентом. Приходилось направлять их на квартиру.

Все они вместе и каждый в отдельности терзали и насиловали Эдуарда бесконечно, и сколько раз случалось, что, махнув рукой и не выдержав атак и приставаний особенно назойливых авторов, Багрицкий пропускал ранее отвергнутую им книгу.

Иногда в таких случаях он сам звонил в издательство и предупреждал, что он принял плохую книгу, чтоб отвязаться от автора, и просил ее не издавать.

Зная его мягкость и неумение противостоять атакам, мы вынуждены были частенько принятые им рукописи, вызывающие почему-либо сомнение, давать на пересмотр более защищенным, «поэзостойким» рецензентам. И когда те отвергали книгу, Эдуард обычно охотно соглашался и даже радовался, что его избавили от того или иного автора.



Матрос
(Рис. Э. Багрицкого, 1933 г.)

Заметив это, я раза два взял его «на пушку». Получив от Багрицкого подписанную им к изданию рукопись сомнительного по тем или иным признакам качества, я, не читая ее, звонил:

— Послушайте, Эдуард Георгиевич, вы тут прислали книжку стихов такого-то. Зачем вы ее приняли? Ведь стихи-то очень неважные!

— Поймите же, Левин, — стонал и хрипел Эдуард, — он меня замучил. Он каждый день ко мне ходит, по три часа сидит, уже третью неделю.

— Так гоните его! Это безобразие. Послали бы его ко мне, а меня предупредили по телефону. Наконец я дам кому-нибудь другому. Ну, а стихи-то все-таки каковы?

— Стихи — дрянь. Я ему указывал и помогал, он правил. Все равно — дрянь.

— Ну, конечно. Шлите его ко мне!

Так иногда приходилось выяснять подлинное мнение Эдуарда.

Сколько драгоценного времени, сколько сил отняла у Багрицкого эта литературная вобла, от которой он, прикованный к своей тахте, не мог и не умел отделаться! Сколько прекрасных стихов, быть может, просто не успел написать Багрицкий, растратив свое время на этих самовлюбленных, надоедливых, бездарных и докучливых людей!

Но зато и скольким поэтам он по-настоящему помог, поработал с ними, обучил и воспитал их!

Многие обязаны Багрицкому больше, чем даже они сами думают. Каждую фальшивую, неверную ноту он замечал сразу, каждую настоящую поэтическую строку, слово схватывал на лету. Как немногие, на память знал он почти всю русскую поэзию. Как редкие поэты, он не знал чувства зависти и радовался каждому поэтическому успеху, — всякому удавшемуся произведению. И с этой стороны Багрицкий был неоценимым редактором поэзии, знатоком ее и энтузиастом, беспристрастным в смысле групповщины и страстным во всех смыслах ценителем.

Эдуард не был узко-поэтическим критиком, не рассматривал стихи в плане чисто формальном, не брал поэзию изолированно, как собственно литературу. У него был широкий горизонт. Он сам прошел сложный поэтический путь,

все больше приближаясь в своем творчестве к насущным темам и проблемам нашей революции. И вопрос о содержании рецензируемых стихов был всегда тесно связан в его отзывах с вопросом об их поэтическом качестве, о форме выражения.

Вот характернейшая выдержка из его рецензий:

«Начинается книга колхозной идиллией. Встреча на лугу, осыпанном ромашками, поцелуи под ветлой, и труд — легкий и радостный. Когда же героине поэмы захочется отдохнуть, она:

В культпалатке отдыхая,
Книжку красную прочтет...

Собственно о колхозе ничего в поэме не говорится, — все это могло бы происходить в любом хозяйстве, а случайные термины в поэме роли не играют. Даже во второй части, где автор пытается рассказать историю колхоза — это получается неубедительно, неинтересно и ничего не объясняет.

Классовая борьба в поэме выражена всего двумя строками. Эта поэма показательна для всего творчества поэтессы, когда она пытается говорить о современности. Непонимание автором сегодняшнего дня, неумение выразить свои мысли — доходят иногда до комизма...

Таким образом все 2500 строк никакой литературной ценности не представляют. Это — собрание более или менее удачных домашних стихотворений женщины, живущей в стороне от сегодняшнего политического и поэтического дня...»

Можно было бы процитировать немало других подобных отзывов, — однако в рецензиях отразилась только малая частица Багрицкого-редактора. Ведь рецензии эти писались коротко, предназначались только для внутриредакционной информации.

Во весь свой рост Эдуард-редактор вставал именно в тех беседах с авторами, которые он вел у себя дома, «делая» с ними книгу.



С Багрицким я встречался редко. Большею частью разговаривал по телефону. Может быть, поэтому каждая встреча хорошо сохранилась в памяти.

Вспоминаю заседание редколлегии поэтического альманаха на квартире у Багрицкого. Злополучная судьба была у этого альманаха. Собирали его больше года. Замысел был очень претенциозен: дать новые, нигде не опубликованные стихи всех основных советских поэтов, лучшего подрастающего поэтического молодняка. Дать образцы поэтической критики. Одним словом, показать лицо советской поэзии сегодня. В конце концов книга эта не осуществилась. У многих крупнейших поэтов не оказалось новых, не напечатанных стихов. Авторы не соблюдали поставленных условий, одновременно давали свои стихи в газеты и журналы. Альманах по кусочкам собирался и по кусочкам же растаскивался по страницам всевозможных изданий. Произведения, предоставленные альманаху, поэты включали в сборники своих стихов, которые успевали выйти в свет, а альманах все еще не мог сформироваться. Приходилось выбрасывать, заменять, ожидать новых вещей. Сказалась тогдашняя неорганизованность, разобщенность поэтической среды.

Альманах постепенно захирел окончательно и света не увидел.

Но тогда редколлегия работала усиленно, хотя и никогда не могла собраться в полном составе. Из пятнадцати членов ее на заседание являлись сначала одни, принимали и отвергали, на второе заседание приходили другие — и все заново пересматривали...

Собрались у Багрицкого по его просьбе. Поступившие произведения он зачитывал сам, пока не замучился. Чтение прерывал всякими лестными и нелестными для авторов замечаниями. Иногда вдруг начинал пародировать совсем уж неудачные строки.

Свое мнение Эдуард отстаивать не стремился, легко соглашался, когда ему в чем-либо возражали, но по существу оценки своей не менял и потом вдруг, по другому поводу, снова ее высказывал. После заседания он с несколькими оставшимися говорил более свободно, — сказал, между

прочим, что с такой пестрой и многочисленной редколлегией альманаха не составить, и в будущем, вместо громоздкого синклита, нужно, чтоб была тройка, которая все отберет и решит.



Очень запомнился мне один вечер, который мы просидели вдвоем. Он несколько раз просил зайти к нему поговорить. Наконец я собрался. Началось с «Матери» Н. Деметьева. Этот превосходный рассказ в стихах только что появился в «Правде». Багрицкий с восторгом прочел мне его вслух — от начала до конца. Он был очень возбужден и доволен. Затем он стал расспрашивать меня об издательстве, о моей работе над Белинским.

В этой связи заговорили о Бенедиктове. Эдуард заявил, что Белинский слишком развенчал этого поэта, что у него есть превосходные произведения.

Он тут же на память стал читать мне «Матильду» и другие стихи.

— А Державин! Ведь у нас совсем не знают Державина. Вот я его перечитываю... Послушайте!

Он снял с полки том Державина и, захлебываясь от удовольствия, прочел мне «Ласточку».

Затем, почти без перехода, Багрицкий стал читать мне «Спор» Лермонтова.

— Вы только послушайте! — восклицал он. — Ведь это все школьное, а разве школьнику оценить это!

Читал он замечательно. Давно знакомые, с детства заученные стихи оживали и заново звучали в его передаче.

Дойдя до строк:

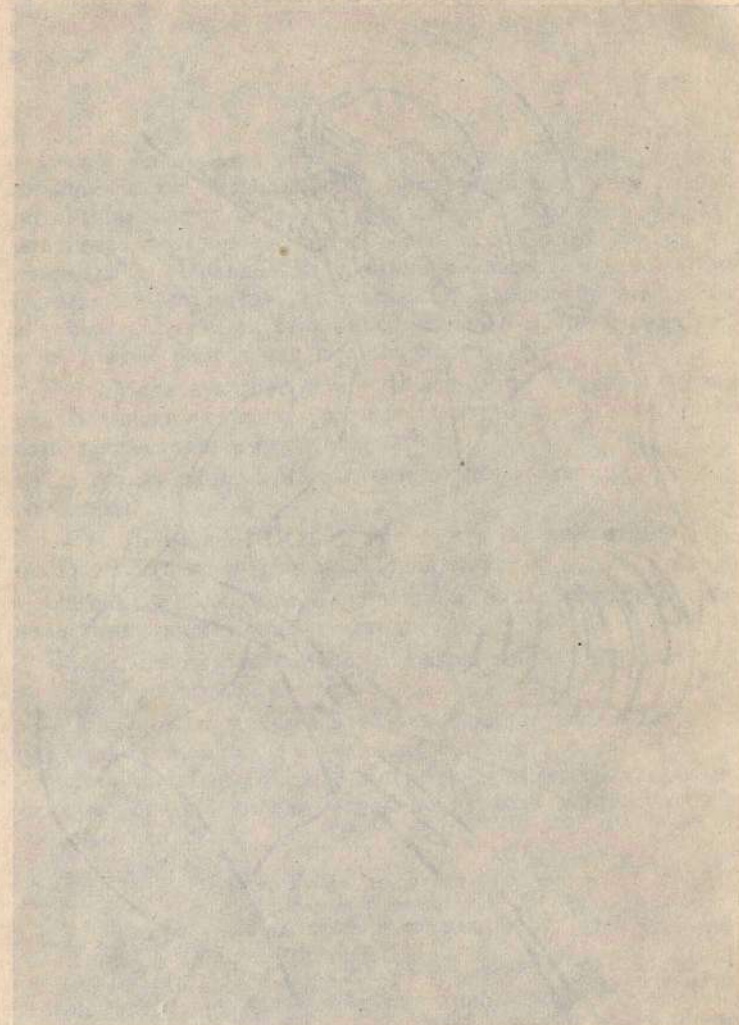
От Урала до Дуная —
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки... —

Багрицкий вдруг запел. Он пел хриплым, задышающимся, прерывистым голосом, на какой-то свой мотив, в темпе марша, и отстукивал такт.



Рис. Э. Багряцкого (1933 г.)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILL. 60637



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILL. 60637

— Как это замечательно:

И испытанный трудами
Бури боевой!..

Тогда я особенно ясно понял, что для этого человека поэзия была альфой и омегой всего его существования.

Уже под конец беседы мы обсудили вопросы издания «Думы про Опанаса» с иллюстрациями Граббе.

Иллюстрации эти очень нравились самому Багрицкому, — он хотел, чтобы все они были даны в книге...



Это было уже незадолго до смерти. Багрицкий позвонил мне, просил обязательно притти: у него ко мне важное дело. Я пришел к нему в тот же вечер. Он долго говорил о том, о сем, расспрашивал о чем угодно, но о деле молчал. Наконец начал:

— Я пишу поэму. Поэма эта о себе самом, о старом мире. Там почти все правда, все это со мной было. Вот я вам почитаю куски, а там, где пропуски или не доработано, расскажу...

Багрицкий вытащил тетрадки. Это была поэма «Февраль». Черновики были в большом беспорядке, много было перечеркнуто, переправлено. Отдельные строки он сам с трудом разбирал. Чтение все время перебивал замечаниями: «Это плохо, это я переделаю! — Здесь пропуск. — Тут будет песня»...

Недостающие места поэмы он рассказывал. В известном теперь, не законченном варианте поэмы пропусков осталось уже немного, — главным образом лирические вставки, песни. Фабула вся налицо.

— Все это со мной так и происходило, как я пишу, — и гимназистка эта, и обыск. Я тут совсем немного приврал, — смеялся Багрицкий. — Но это нужно для замысла. Во-первых, в этом доме бандитов, которых мы искали, на самом деле не оказалось.

А во-вторых, когда я увидел эту гимназистку, в которую я был влюблен, которая стала офицерской проституткой, то в поэме я выгоняю всех и лезу к ней на кровать. Это, так

сказать, разрыв с прошлым, расплата с ним. А на самом-то деле я очень растерялся и сконфузился и не знал, как бы скорее уйти. Вот и все...

— Ну, как, хорошо? Нет? Вы скажите, вам нравится? — настойчиво спрашивал Багрицкий. — Нет, вы серьезно, без комплиментов!

А вы посмотрите, как я над ней тружусь. Я тут до сотни синонимов выписываю на листочках. А потом выбираю, ищу самый лучший, примеряю, отбрасываю...

Я подивился этой кропотливой, героической работе, огромной требовательности Эдуарда к каждому своему слову. Вот почему он так мало стихов опубликовал за всю свою жизнь. Он редактировал самого себя строго и беспощадно. Это был исключительный пример для того поэтического молодняка, который, не успев написать, тащит еще горячее и совсем сырое произведение в редакцию. А ведь у Багрицкого часто даже отвергнутые варианты были блестящи!

На другой день я прислал ему для подписи договор на «Февраль»...

В годовщину смерти Багрицкого я председательствовал на вечере в память его, в Доме советского писателя.

В конце первого отделения, когда последний оратор еще говорил, я нажал кнопку звонка, ведущего в особую комнату. Оттуда включили «голос Багрицкого», записанный на радиопленку. Сквозь тихое шипение механический голос диктора объявил, что у микрофона — поэт Эдуард Багрицкий. И вслед затем из черной тарелки рупора возник Эдуард...

Он читал «Шаги командора» Блока:

Тяжкий, плотный занавес у входа
За ночным окном — туман.
Что теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон-Жуан?..

Я снова видел его, сидящего, с подвернутой ногой, на кушетке, — седеющий вихор свисал над густыми бровями. Я снова слышал его чтение, этот густой, прерывистый, стонущий и рычащий голос.

И в самом конце вечера он снова читал нам свою «Смерть пионерки». Уже мертвый, он вновь обрел голос, он продолжал жить своей любимой поэзией, как всю жизнь. Он читал нам стихи, — что же еще должен делать поэт, даже после своей смерти? Слушая голос Багрицкого, я видел его живым...

Это была моя последняя встреча с Эдуардом.

**12 ЧАСОВ 1 МИНУТА
16 ФЕВРАЛЯ 1934 ГОДА**

В высокой пустой комнате, насыщенной утренней голубизной, улыбаясь, остывал труп.

Я нагнулся над ним и близко-близко увидел знакомые иронические губы, такие выразительные, живые, точно вот-вот раскроются и запоют с чисто-багрицкой интонацией:

И на что мне язык, умевший слова
Ощущать, как плодовый сок?
И на что мне глаза, которым дано
Удивляться каждой звезде?
И на что мне божественный слух совы,
Различающий крови звон?

Я видел мертвого Есенина и мертвого Маяковского. Первого я знал очень мало. Со вторым у меня были мучительные дружественно-воинственные взаимоотношения. Но обоих еще при жизни их я воспринимал в историко-литературном преломлении.

Багрицкий для меня был всегда живей живого. Как ни любил я его спелые, мокрые от сока стихи; как ни торжественна и церемонна была в них традиция старомодной английской школы кумберлендцев, — никогда Эдуард не казался мне переплетенным в тисненую кожу с портретом автора.

Слишком близки мы были по работе, слишком насущны интересы, слишком злободневны задачи.

Позвонишь ему. Подойдет и спросит женским голосом: кто говорит? Но, узнав своего, переходит на естественный бас с хрипотцой и, привычно покашливая, жалуется, что телефоны одолели. Мы вместе посмеемся его маскировке — и приступаем к суги.

И вдруг — вот он лежит, серо-седой, зеленоватый, величавый, недостижимый. И я кажусь себе рядом с ним маленьким и жалким... оттого, что я жив.

Почему мертвецы как-то сразу вырастают над нами? Лежит роскошный, небрежный, праздничный — и ты робеешь перед ним, как бедный родственник. Важный. Никого не узнает.

Я стараюсь вспомнить нашу юность. Группа конструктивистов. Внутри нее различные сочленения: была «Большая Медведица» — семь поэтов, а в ней триумвират — Багрицкий, Луговской, Сельвинский.

Но вот стою я. Вот Володя. А Эдуард лежит — чужой, нелюдимый... Это он-то нелюдимый? Нет, это не тот. Тот был Эдя, встрепанный, грузный, иронизирующий, обаятельный, с попугаями, рыбами, песнями, «хохмами»...

А этот — однофамилец. ПОЭТ ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ (1895 — 1934). Классик.

Я снова близко нагибаюсь к лицу своего друга. И снова обретаю его. И десятки знакомых до боли строк, ставших близкими и родными, как пословицы, возникают в слухе, точно звон в ушах...

Если не по звездам — по сердцебиенью
Полночь узнаешь, идущую мимо.

О, мать-революция! Не легка
Треугольная откровенность штыка.

Жеребец подымет ногу,
Опустит другую,
Будто пробует дорогу,
Дорогу степную.

Пунцовый рак, как рыцарь в красных латах,
Как Дон-Кихот, бессилен и усат.

Кто из любящих поэзию людей не знает этих строк, вошедших в нас, в самую консистенцию нашей эстетической культуры?

Мне вспоминается, как в декабре 1933 года хоронили мы в Бухте Провидения у Берингова моря водолаза Сватейкина, погибшего под килем корабля во время работы. Кто-то говорил речь:

—Товарищ Сватейкин погиб на своем посту, как и подобает бойцу революции. Но на смену ему выйдут новые бойцы, которые доведут до конца дело завоевания Арктики...

Я повторяю эти слова сейчас, стоя у тела Эдуарда и принося их к нему.

Да, на смену Эдуарду придут новые поэты революции, вооруженные не менее мощно. Но Багрицкого больше не будет...

А под кувшинками в жидком сале
Черные сомы месяц сосали...

Этого уже не скажет никто. Скажут другое, новое, скажут не менее ярко и изумительно. Но этого-то уже не скажут, поймите!

Лопасть винта, так и не снятая т. Сватейкиным, будет снята т. Григорьевым. Но не дописанных «Египетских ночей» не допишет никто, как, в сущности, не дописал их и Брюсов.

Я выхожу в коридор. Почему-то запомнились мне орбиты. Коричневые, просторные итальянские орбиты с крепко опущенными веками. Как замечательно умели видеть эти глаза! Каким активным процессом было зрение для этого человека! Какое огромное наслаждение испытывал он от зрелища мира, и как много радости получали те, кто смотрел его глазами...

Видели мы — и поглядка прибыль! —
Узких лисиц, золотых как рыбы.

Я процитировал ему как-то мысль Бунина о том, что поэзия возникла тогда, когда появилось слово «лиловый». Эдуард смущенно улыбнулся и пожал плечом: «Не знаю. Я не пишу оттенками».

Это верно. Он не любил смешения красок:

И пред ним, зеленый снизу,
Голубой и синий сверху,
Мир встает огромной птицей,
Свищет, щелкает, звенит...

Как добросовестно, наивно и вместе с тем эпически величаво!

Нет, второго Багрицкого больше не будет. Смерть поэта непоправима. В этом — его бессмертие...

Я вспоминаю вкусы, симпатии, оценки Эдуарда. Человек он был деликатный и нетерпимый. Отсюда происходила огромная трудность работы с ним в группе. Суждения его всегда были категоричны, но стоило вступить с ним в спор, он тут же со всем соглашался — и вопрос казался решенным. Но как только оппонент выйдет за дверь — он снова повторит все то, от чего только что отказывался. Убеждения его были прочности необычайной, но он никому их не навязывал и не любил защищать их.

Багрицкий отличался необычайной строгостью оценок и часто упрекал меня в излишней мягкости к таким, например, поэтам, как Алтаузен или Уткин.

Хвалил он редко. Понимал многое...

— Какая архитектура у наших поэм? — говорил, бывало, Эдуард, привычно выдвигая три крупных и каких-то бескостных пальца. — Какая архитектура у наших поэм? Пишут, как выходит. А нам нужны поэтические здания с башнями, колоннами, мансардами. Поэзия не должна быть планиметрией. Вот, например, «Онегин»: там и четырнадцатизатаянная сонетообразная строфа, мансарды эпиграфов, и балкончики из песен девушек, и лестницы из номеров якобы выпущенных глав. Как? Моя поэзия? А что вы думаете? Я пишу так же плохо, как и все.

... У нас принято ругать Заболоцкого. А это замечательный поэт. Да-да, замечательный. Но с ним какая-то ошибка. Причислили его к издевающимся — и точка. Я в нем не могу разобраться, и в чем там дело, чорт ногу сломит. Но в стихах я кое-что понимаю. Во всяком случае больше, чем наши критики в политике. Так вот я уверяю вас, что у Заболоцкого никакого издевательства нет. Это просто аберрация стиля. Вы увидите, что это когда-нибудь разъяснится, как разъяснится и то, что многим бездарностям выгодно, чтобы талантливые люди ошибались. Они на этом имена наживают. Бред!..

Подходит врач и говорит что-то о кремации. Возвращаюсь к постели Эдуарда: через два дня от Багрицкого останется несколько килограммов извести...

Эдуард любил жизнь. Он любил ее с такой силой, что некоторым критикам это начинало казаться уклоном.

Но где-то в низовьях его басов, сквозь щекот, свист и звон идущих походкой Диделя «по Тюрингии дубовой, по Саксонии сосновой, по Вестфалии бузинной, по Баварии хмельной», где-то в придонных глубинах его психики просачивалась погребальная мелодия.

И вот что интересно. Возьмете ли вы его стихи, датированные 1918 годом, как «Птицелов», или «Вмешательство поэта», написанное десять лет спустя, — отношение к теме жизни остается, в сущности, неизменным.

Не то с темой смерти. Она проходит в его стихах редким пунктиром с глубокими паузами, но этот пунктир не простая линия итога: он изгибается, подымается, он отмечает свой ход отточенными эпитафиями, и вот по этим-то эпитафиям с большей характерностью, чем в фламандских его натюрмортах, утверждается у Багрицкого не только тема жизни как таковая, но и становление революционной философии Эдуарда.

1918 год, год величайших социальных потрясений. Багрицкий пишет своего «Тия Уленшпигеля», заканчивая его так:

Когда ж усталость овладеет мной,
И я засну крепчайшим смертным сном,

Пусть на могильном камне нарисуют
Мой герб: тяжелый ясеневый посох
Над птицей и широкополой шляпой.
И пусть напишут: «Здесь лежит спокойно
Веселый странник, плакать не умевший.
Прохожий! Если дороги тебе
Природа, ветер, песни и свобода,
Скажи ему: «Спокойно спи, товарищ.
Довольно пел ты. Выспаться пора...»

Это была эпоха, наименее сонная из всех, когда-либо существовавших. Но в это время Эдуард называл себя еще «певец без лютни, воин без оружия»...

Наступает 1926-й. Багрицкий пишет свою знаменитую «Думу про Опанаса». Эта поэма также заканчивается надгробной надписью самому себе:

Так пускай и я погибну
У Попова лога
Той же славною кончиной,
Как Иосиф Коган!..

Иосиф Коган — коммунист, расстрелянный бандитами. Это уже не тот поэтический бродяга, которому «выспаться пора». Здесь у Багрицкого неясная, анархообразная «свобода» конкретизируется в образе борца за нее, имеющего имя и фамилию.

Но еще и здесь Эдуард остается воином без оружия. И недаром, обращаясь к убийце Когана, махновцу Опанасу,

...верещит бездомный копец
Под облаком белым:
С безоружным биться, хлопец,
Последнее дело...

И вот, наконец, стихотворение «ТБЦ», написанное уже в 1930 году. В нем Эдуард Багрицкий голосом Феликса Дзержинского произносит себе последнюю эпитафию, вырастающую до подлинно-большевистского мировоззрения:

Да будет почетной участь твоя:
Умри побеждая, как умер я...

Да, участь Эдуарда почетна. Он в муках и страданиях
вытравил из себя нищего Диделя-птицелова. Он научился
мастерски владеть оружием революции. Он знает вес «трех-
гранной откровенности штыка» и, умирая, передает эту от-
кровенность молодняку, сопроводив ее знаменитой фразой:

Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги!» — солги,
Но если он скажет: «Убей!» — убей.

Эдуард умер, как умирают победители.

СОДЕРЖАНИЕ

Д. Мирский. Творческий путь Эдуарда Багрицкого.	5
Корнелий Зелинский. К характеристике Багрицкого как поэта и человека	24

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

От редактора	47
Суворов	55
Танцовщица	57
Славяне	59
Враг	61
Осень	63
Песни	65
Сказание о море, матросах и Летучем Голландце	71
Большевики (отрывки из поэмы)	80
Тиль Уленшпигель (монолог)	86
Трактир (опыт лиро-эпической сатиры)	91
Монолог из „Volpone or the fox“	109
Дума про Опанаса (песни к либретто оперы)	115
Тарас Шевченко (песня к радиокomпозиции)	121
Февраль (поэма)	123
В. Тренин, Н. Харджиев. Послесловие к „Февралю“ . . .	143
Хронологическая канва для биографии Э. Багрицкого	145



ВОСПОМНАНИЯ

А. Селивановский. Сила жизни	151
И. Бабель. Багрицкий	160
Юрий Олеша. Личность и творчество	162
Вал. Катаев. Встреча	171
Б. Скуратов. Ранние годы	184
Зин. Шишова. 1917—1921 годы	190
В партизанском отряде	205
А. Адалис. Нас вел Эдуард	211
Марк Тарловский. Багрицкий и животный мир	219
С. Бондарин. «Харчевня»	229
С. Гехт. Вечера в железнодорожном клубе	235
К. Паустовский. Молодость	244
Татьяна Тэсс. Дальницкая, 3.	250
Я. Бельский. Эдуард в Николаеве	256
Михаил Голодный. Из записной книжки	266
Е. Трощенко. Как писалась „Дума про Опанаса“	270
Н. Огнев. Из жизни поэта	279
В. Шкловский. О надежде—воспоминание о будущем . .	295
Мих. Зенкевич. В углу за аквариумами	299
И. Рахтанов. Рассказ по памяти	307
Я. Шведов. Белая бойцовая	310
Павел Антокольский. Поэт	320
И. Толчанов. Таким я знал его	324
Вера Инбер. Поэзия была для него всем	331
А. Сурков. Солдат пролетарской армии	335
Мих. Беккер. Работа Багрицкого с молодыми поэтами . .	342
А. Коваленков. Старший товарищ	352
А. Кацнельсон. Победитель	355
Б. Ивантер. Поэзия—это наука	360
Ф. Левин. Встречи с Багрицким	365
Илья Сельвинский. 12 часов 1 минута 16 февраля 1934 года	378

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Э. Багрицкий (неопубликованное фото, 1931)	2
Э. Багрицкий в 1899 году	33
Автограф Э. Багрицкого (из поэмы „Февраль“)	50— 51
Рис. Э. Багрицкого „Профессор“ (1911)	173
Рис. Э. Багрицкого „Рыцарь“ (1911)	179
Э. Багрицкий в реальном училище (1911)	193
Э. Багрицкий в 1917 году	203
Листовка Э. Багрицкого „Воззвание“ (1919)	206
Листовка Э. Багрицкого „К оружию“ (1919)	207
Справка о пребывании Э. Багрицкого в Отдельной стрелко- вой бригаде (1919)	209
Рис. Э. Багрицкого к стих. „Папиросный коробок“ (1927) . .	273
Рис. Э. Багрицкого (1928)	281
Рис. Э. Багрицкого „Эскиз обложки для второго издания „Юго-Запада“ (1929)	285
Рис. Э. Багрицкого (1932)	303
Э. Багрицкий на охоте в Северном крае (1929)	321
Рис. Э. Багрицкого „Матрос“ (1933)	367
Рис. Э. Багрицкого (1933)	373

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
16	18 св.	в висок	о висок
18	16 „	искусственно	искусно
74	12 св.	тот окрашен	а тот окрашен
87	3 св.	новых	новым
104	11 св.	желчь	желчью.
184	3 „	1909—1914	1907—1912

Технические редакторы
А. Макеев и А. Березницкий

Уполномоченный Главлита Б 14012.

Тираж 5.200 экз. С. П. № 13.

Сдана в производство 17.IX—35 г.

Подписана к печати 20.I—36 г.

Бумага 82×110¹/₃₂ д. л. Печ. лист, 24¹/₄.

Типо-литография им. Воровского,
ул. Дзержинского, 18. Н. 501.

Цена 7 руб. Переплет 1 р. 50 к.

ЧИТАТЕЛИ!

Издательство просит сообщить отзыв об этой книге, указав Ваш точный адрес, профессию и возраст.

Просьба к библиотечным работникам—организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов о ней.

Все отзывы и материалы направлять по адресу: Москва, 9, Большой Гнездицкий переулок, д. № 10. Издательство
„СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ“



2010480089